



ДАНИИЛ  
РОМАНЕНКО



ЕРОУЕЙ ХАБАРОВ



РОМАН

854372

ВОЛОГОДСКАЯ  
областная библиотека  
им. И. В. Бабушкина

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ  
1969

## ОТ АВТОРА

Своеобразие России XVII века состояло в том, что формирование государственности и рост национального, патриотического сознания происходили в условиях феодально-крепостнического строя, чреватого идейными и социальными противоречиями. Самое дикое варварство уживалось с передовыми устремлениями и установлениями, сплачивающими народы России в единое государство.

Самодержавие, не теряя своего сословно-дворянского и феодально-крепостнического характера, вынуждено было вступать на путь осуществления ряда реформ и начинаний, которые ставили Россию в равноправное положение с государствами Европы, укрепляли ее могущество.

«Москва чувствовала в себе нетерпеливую силу помериться с Западом». Добровольное присоединение Украины к России, освоение русскими предприимчивыми людьми громадных просторов Сибири вплоть до Ледовитого океана, Охотского моря и берегов Амура, включение в состав Русского государства многих иноязычных народов Сибири, начало организации регулярной армии, развитие промыслов и книгопечатания — вот те положительные события и преобразования, которые народ считал своим кровным делом. Он не мог больше мириться с лихоимством и дикостью бояр: одни уходили в низовья Волги, на Дон, в Сибирь, другие брали топоры и поднимались на обидчиков.

Это интересное и сложное переплетение событий, народных судеб и характеров автор пытался воспроизвести в своем романе, первое издание которого появилось в 1946 году.

Две силы действовали в то время на великих сибирских просторах: промышленники и «прибыльщики», типичным представителем которых был Ерофей Хабаров, и «правдоискатели», искатели «воли и лучшей доли», такие, как Илейка Жук и его названный отец Томило Довбач.

Поход Ерофея Хабарова на берега Амура — один из заключительных этапов освоения русскими обширной области на севере Азии, вошедшей в состав России под общим названием «Сибирь». Освоив Приамурье, Русское государство достигло своих тепереш-

них пределов. Миру открылась из мрака неизвестности значительная часть Азиатского материка. Для этого понадобилось всего лишь семьдесят лет. Если принять во внимание неблагоприятные условия, порожденные Смутным временем, то нельзя не признать, что это — явление феноменальное, можно сказать, беспрецедентное в мировой истории.

Когда роман впервые вышел в свет, некоторые критики упрекали автора в том, что он якобы вольно обращается с историей.

Что можно сказать по этому поводу?

Роман не биография Хабарова, не историческая хроника, но и не вымысел. Автор стремился создать панораму типических событий и атмосферу общественной жизни того времени... Особенность сибирской истории видится ему в том, что здесь наиболее отчетливо сформировался воевода-самовластец, который имел полномочия «делать всякие дела по своему высмотру и как бог на душу положит». Под покровительством воевод, поощряемые государством, действовали промышленные и торговые люди. Они возглавляли экспедиции и походы в неведомые земли. Чаще всего это были смешанные отряды.

Некоторые из воевод и «прибыльщиков» возвышались до понимания государственных интересов. Сама жизнь подводила их к этому. Они понимали, что без поддержки могучего и сильного Русского государства им не обойтись, понимали и атаман Ермак, начавший освоение Сибири, и Семен Дежнев, открывший пролив между Азией и Америкой, проложивший путь из Ледовитого океана в Тихий, и Ерофей Хабаров, открывший берега Амура и завершивший дело Ермака. Это были люди недюжинного ума, неудержимых желаний, не останавливающиеся ни перед негостеприимной и суровой природой, ни перед многими неизвестными опасностями и лишениями. Они были патриотами и горячо любили Россию, Родину. Претворяя в дело свои желания и мечты, землепроходцы опирались на гулящих людей, на подневольных, которых манила Сибирь свободными землями и вольным житьем. Сквозь вековую мглу глядит на нас удивительный образ искателя «воли и лучшей доли», бесконечно выносливый, стойкий и отважный правдоискатель-землепроходец, которому не было жизни на родине от многих податей, от великих непомерных правей, от непосильных поборов и жестокостей помещиков и бояр. Правдоискатель-землепроходец мечтал о «воле и лучшей доле», боролся за нее. Но мечты эти никогда не сбывались, а борьба была безуспешной.

Обманутые в своих надеждах, казаки и служилые люди брались за топоры. Тому доказательство — бунт служилых людей в

Томске (1637—1638 гг.), бунт казаков на Амуре у Хабарова (30 сентября 1652 г.), восстание полка Михаила Сорокина в Верхоленском остроге (1655—1656 гг.), убийство илимского воеводы Обухова казаком Никифором Черниговским (1655 г.), его бегство с сообщниками на Амур и основание им поселения беглых в Албазине, заговор служилых людей в Нерчинске под руководством конного казака Василия Пешкова о побеге на Амур и острова Великого океана (1687 г.), красноярский бунт (1695—1698 гг.).

Некоторые бунты, казалось бы, достигали своей цели. Служилые люди из Томска во главе с Михаилом Сорокиным в полном составе добрались до Амура и здесь сложили свои головы. Вожаки нерчинского заговора имели план восстания и программу мирской жизни на островах Великого океана без воевод и царей. Но заговор был раскрыт и заговорщики казнены. Бунт у Хабарова — показатель расслоения в среде самой казачьей вольницы.

Восставали казаки, служилые люди и коренные народности Сибири. Они отказывались платить ясаk, не желали признавать как «белого царя», так и своих князьков и родовых старшин, часто сотрудничавших с воеводами.

Автор не мог не считаться с жизненной исторической правдой. Опираясь на «отписки» самого Хабарова и на труды историков, он дал волю своему воображению и на его крыльях стремился постигнуть правду жизни того времени. Ерофей Хабаров — собирательный литературный тип. «Вольности», допущенные в романе, не противоречат исторической возможности и жизненной правде. Так могло быть. В художественном произведении о землепроходцах эти «вольности» необходимы, иначе получился бы пересказ «отписок» и донесений того времени.

Симпатии автора, как это увидит читатель, на стороне «искателей воли и лучшей доли», хотя ему понятна и важная роль тех, кто возглавлял походы, снаряжал их в дальний и трудный путь.

Известно, что поход Ерофея Хабарова обошелся якутскому воеводе Францбекову в 30 тысяч рублей. По тому времени это большая сумма. Деньги воевода собрал всякими правдами и неправдами. Одну часть он взял из государственной казны, а другую — из карманов менее удачливых промышленных и торговых людей, которые, не получив обещанных прибылей и долгов, восстали в Якутске против него. Царь вынужден был отозвать Дмитрия Францбекова в Москву, где он, вероятно, и умер в опале.

То, о чем мечтали правдоискатели на протяжении столетий, сбылось только после Великой Октябрьской социалистической революции, в годы Советской власти. Более ста наций и народностей живут ныне в дружбе, строят новый мир. Народности Сибири об-

рели свой голос, равноправно живут и работают в Союзе Советских Социалистических Республик.

Мрак старого мира дрогнул и отступил. Принятые в годы Советской власти меры привели к быстрому росту промышленности и подъему сельского хозяйства в Сибири. Ныне она занимает видное место в народном хозяйстве нашей страны. Промышленность опирается на мощную сырьевую базу, возможности которой неисчерпаемы.

На Сибирь приходится значительная часть запасов древесины, разведанных залежей каменного угля, запасов нефти и газа. Огромны энергетические ресурсы сибирских рек. В Сибири находятся богатые месторождения золота, олова, никеля, слюды...

Советский народ под руководством Коммунистической партии успешно претворяет в жизнь ленинские замыслы о развитии производительных сил Сибири. Десятки тысяч людей разных национальностей ежегодно отправляются в Сибирь и там оседают на постоянное жительство. Они становятся сибиряками.

Хорошо зная прошлое, мы глубже поймем великое значение настоящего и грядущего. Несомненно, что и в будущем продолжится великое освоение сибирской земли. На ее просторах появятся атомные электростанции. Горячие моря под Тобольском и тунгусские угли дадут добавочную энергию, мощные гидроэлектростанции украсят Лену.

Строя коммунизм, не лишне вспомнить о первых отважных русских землепроходцах, чей подвиг заслуживает благодарной памяти потомков.

Настоящее издание переработано и дополнено новыми главами, расширяющими социальный фон и углубляющими характеры действующих лиц. В работе были использованы первоисточники и труды историков, которые, к сожалению, из-за обилия их я лишен возможности перечислить.

3 июня 1968 г.



**ЧАСТЬ  
ПЕРВАЯ**



...Из века в век  
Шел крепкий русский человек  
На дальний север и восток  
Неудержимо, как поток.

. . . . .  
Он шел в неизвестные края  
Через тундры, реки и хребты,  
Через быстрину и высоты,  
Пока в неведомой дали  
Он не пришел на край земли,  
Где было некуда идти,  
Где поперек его пути,  
Одетый в бури и туман,  
Встал необъятный океан.

*Из старинного стихотворения.*

Глухарь вытянул голову, взъерошил перья и тихо зашелкал. Отозвалась иволга, засвистали рябчики, с громким клетотом поднялся в небо с горной вершины орел. Неспешно махая крыльями, высоко над лесом пролетели журавли. Глухарь прислушался, зашипел и заходил по ветви. Он часто перебирал ногами, круто поворачивался, вытягивался и, затаясь, смотрел вниз. Под лиственью бродила пятнистая глухарка. Она искоса глянула на него; он поймал ее взгляд и шумно слетел с дерева...

Человек вышел из чащи и быстро огляделся. Тропа, по которой он шел, вилась по склону горы, терялась в распадке. На ней сохранились отпечатки козлиных копытцев и след широких медвежьих лап. Пригибаясь к земле, человек стал щупать следы. На нем была куртка из лосиной кожи мехом наружу, широкие шаровары из синей пестряди и круглая остроконечная шляпа из бересты; ноги обуты в легкие сыромятные олочи<sup>1</sup>. Он пошел по следам и, вдруг свернув с тропы, стал легко и быстро подниматься таежной целиной в гору. Он ступал на носки, слегка наклонясь вперед и поддерживая правой рукой берестяные ножны с большим охотничьим ножом.

То был илимский рудознатец Илейка Жук.

Было очень росисто и холодно. В густых зарослях ольхи и черемухи шумно журчал ручей. Над ним клубился туман.

Из-за горного кряжа брызнул и покотился палевый луч. Ярко и молодо зарозовели вершины деревьев. Четко обозначились серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты багульника и лиловые хвойные чащи на склонах гор. Все по-утреннему заликовало и запело. В кустах гомозились птицы, хоркали белки, трепетали бабочки.

<sup>1</sup> Олочи — легкая охотничья обувь из сыромятной кожи.



Потянул свежий долинный ветер. Тайга заволновалась: звенели яркой зеленью сосны, шептались ели, чутким листом дрожала осина.

Когда Илейка поднялся на вершину горы, мир сразу раздвинулся перед ним, и все, что было кругом, вверху и внизу, ринулось ему навстречу. Илейка снял шляпу и обтер рукавом вспотевший лоб. То смутное, что прежде его беспокоило и радовало, теперь определилось в могучее желание: самому перекопать и перетрогать все скалы и долины, до конца проявить свое упорство и силу. Не жмурясь, посмотрел на зарево восходящего солнца.

Над утесами летали орлы. Они кувыркались в воздухе, подолгу останавливались на одном месте и, чуть трепеща крыльями, зорко высматривали на земле добычу. Потом отлетали в сторону, опять кружили и вдруг, сложив крылья, камнем падали вниз, но, едва коснувшись травы, снова быстро взмывали вверх. По камням скользили их продолговатые тени.

С восхищением и завистью Илейка следил за полетом орлов, но, вспомнив о деле, спохватился и, подвязав покрепче олочи, начал торопливо спускаться по северному склону горы.

Вдали, на голубом фоне неба, тянулись горные хребты. Вершины их, покрытые снегом, ярко сверкали. Вблизи сквозь редкие просветы между деревьями темнели утесы. На одном из выступов стояла легкая козуля. Ее большие уши настороженно вздрагивали, а розовые ноздри расширялись и суживались. К ней подбирался медведь-шатун. На его спине дыбилась бурая шерсть, острые короткне уши были плотно прижаты к лобастой голове, а глаза горели жадным и злым блеском.

Илейка остановился. Лицо его стало серьезным и строгим, губы крепко сжались. Козуля растерянно заметалась по утесу. Медведь обхватил передними лапами валежину, поднялся на дыбы и бросил ее. Валежина сшибла козулю, но, отскочив, сучком зацепила под заднюю ногу и самого медведя, столкнув его под обрыв. Он кувырнулся через голову, увлекая за собой камни. Снизу раздался рев, эхо глухо прокатилось в горных ущельях. На миг наступила тишина.

Илейка набрал много воздуха в легкие, заложил два пальца в рот и громко засвистел. Когда он подбежал к подножию утеса, медведя там уже не было. Пошатываясь

и прихрамывая, зверь уходил в лес, окрашивая кровью траву и кусты. Козуля неподвижно лежала на большом мшистом камне, меркли и тускнели ее широко раскрытые глаза.

Илейка выпотрошил козулю, съел дымящуюся печень, затем смастерил из трех длинных валежин сошки, свил веревку из тальника и подвесил дичину. Для отпугивания волков и ворон возле сошек он разжег небольшой костер. Таков был обычай зверовщиков.

Запомнив все приметы счастливого места, Илейка, не задерживаясь, пошел вдоль ручья, вниз по течению. Он шел на поиски болотной железной руды.

Ручей привел его к обширной пади. Ветер поднимал на ней травяную зыбь. В буйной зелени густо пестрели белые, красные, оранжевые лилии, темно-фиолетовые колокольчики, желтый курослеп, бледно-голубые ирисы и белоголовник. Пахло луговой прелью. Над цветами кружились дикие пчелы. По краям пади, блистая белизной стволов и яркой зеленью, толпились березы. Над ними плыли редкие облака.

Прыгая с кочки на кочку и раздвигая траву, Илейка увидал на воде ржавую плесень. Он лег грудью на кочку, попробовал воду на вкус и, связав траву для приметы в узел, пошел к роще. Выбрав гладкоствольную березу, он сделал вдоль ствола надрез и, постучав рукоятью ножа по коре, стал снимать бересту. Кора отставала с легким шипеньем. Из желтого ствольного слоя выделялся сладкий сок. Клейкие листья березы вздрагивали и лоснились...

Продолбив у комля желобок, Илейка сделал из куска бересты туюсок и подставил его к стволу. Березовый сок стекал в посудину.

Остаток бересты Илейка взял с собой, подошел к травяному узлу и сунул ее в мшистую воду. Продержав там бересту некоторое время, он вытащил, внимательно осмотрел ее. Нижняя, ствольная сторона бересты покрылась ржавчиной. Под мшистым болотом лежала руда.

Большая удача обрадовала Илейку. Он вернулся к березе, выпил сок из туюска, снова подставил его к стволу и пошел обратно.

Впереди маячил иссеченный глубокими морщинами утес. У его подножия лежала каменная россыпь, заросшая жидкими кустами ивняка и багульника. Камень выпирал

отовсюду: серый, красный, коричневый и черный с блестящими серебристого цвета. По утесу струились красно-бурые жилы. Мшистый зеленый ковер пестрел розовыми узорами цветущей моховки, голубицы и брусники.

Идти было легко и приятно. Илейка находился в том возбужденном, деятельном состоянии, какое всегда бывает после неожиданной удачи. Он оглядывался кругом, стараясь все заметить, запомнить. Мысль о болотной руде не покидала его. Место было недоступное, работа по добыче предстояла трудная. Это беспокоило Илейку; взгляд его остановился на красно-буром камне. Сходство камня и болотной руды пробудило в нем новые мысли. Он взял камень, осмотрел его, сел на валежину и задумался. Камень лежал у него на коленях. Илейка снимал и надевал шляпу, ерошил волосы, вздыхал. Внезапная мысль поразила его и обрадовала. Мысль была о сухой добыче железной руды. Илейка разгадал таинственную силу камня и ясно представил выгоды, которые заключал в себе камень для кузнецов Илима, страдающих от недостатка болотной руды.

Илейка встал и зацокал языком. Глаза его повлажнели. Рудознатец еще раз любовно посмотрел на камень и бережно положил за пазуху: он хотел показать чудесный камень своему названому отцу — Томиле Довбачу. Вера в удачу придавала ему силы. Он зашагал как победитель, сильно размахивая руками.

На вершинах гор шумел ветер, но в распадке было тихо и по-весеннему радостно. Илейка пьянел от лесных запахов. Незаметно для себя подошел он к тому месту, где оставил дичину. Горбатый ворон сидел на скале и хрипло каркал. То была плохая примета. Илейка ускорил шаги, радость его потускнела. Он осмотрел сломанные сошки и, не найдя добычи, громко выругался. Ворон взмахнул крылами, закружился над утесом. Илейка осмотрел камни, кусты ивняка, склоны гор. По наклону травы и кустов определил направление следов и, не раздумывая, кинулся по ним. Иногда он останавливался, нюхал воздух и присматривался, затем снова бежал, остро чувствуя, что расстояние между ним и похитителями быстро уменьшается. Конные следы огибали горный краж. Илейка помчался напрямик, через гору.

Взбежав на вершину горы, он мигом осмотрел скалы и долины. У подножия Лысой сопки заметил верховых,

прикинул расстояние на глаз и легкой побежкой оленя помчался в обгон...

На белом коне ехал человек внушительного вида. Был он собою невелик, но кряжист и жиливат, как смолевое дерево. Дремучая борода почти скрывала лицо. Из-под нависших бровей виднелись небольшие острые глаза. Луч солнца играл на блесках его охотничьего кафтана, на самоцветных горошинах пистоля и серебряном наборе узды.

Илейка Жук сразу узнал чернобородого. Это был Петр Головин, воевода Илимского и Якутского острогов<sup>1</sup>, а с ним трое челядинцев. Переметные сумы челядинцев были пусты, лишь из одной свисала голова козули. Ярость затуманила голову Илейки. Не думая о том, что делает, Илейка вышел из чащи и остановился против воеводы, хищно наклонив голову. На лбу его появились складки, а губы сжались. Он весь подобрался, будто выслеживал зверя: один глаз широко открыт, другой чуть прищурен.

Головин привстал на стременах и, подняв брови, уставился на него. Конь, всхрапывая, бил копытами землю, косил злым глазом. Затаив дыхание, молчали челядинцы. Илейка вдруг оробел. Но было уже поздно. Головин взмахнул витой плетью, гневно прозвучал его голос:

— Кто таков?! Шапку ломать надо! На колени!

Илейка неохотно опустил на колени и удивленно посмотрел на воеводу.

— Дозволь слово молвить?

— Говори!

— Я — рудознавец и зверовщик. Ищу у тебя защиты и милости.

— Недосуг мне, говори проворнее.

— Злые люди нарушили обычай зверовщиков и украли мою добычу. Великую обиду терплю.

Дьяк Фролка, сощурившись, посмотрел на козулю, подъехал к воеводе.

— Батюшка, морочит тебе голову самовольщик. Видать по обличью — беглый.

---

<sup>1</sup> Острог — крепость, укрепленное место. Около острога обычно возникал торговый посад, слободы; постепенно все это сливалось воедино, и с течением времени образовывался город. Илимский острог основан в 1630 г. на правом берегу реки Илим. В 1672 г. переименован в город Илимск.

Верхняя губа у Головина дрогнула, усы зашевелились. Обращаясь к челядинцам, он строго сказал:

— Пошто зенки цялите? Взять, скрутить и в башню доставить!

Челядинцы соскочили с коней и дружно накинлись на Илейку, сшибли его с ног, начали вязать руки. Илейка почувал острую боль и сделал последнее усилие, чтобы доказать свою правоту. Он рванулся и, высвободив руки, вытащил из-за пазухи рудный камень. Челядинцы в страхе метнулись от него прочь.

Головин закричал:

— Хватай смутьяна!

Илейка вновь упал на колени и, держа перед собой в вытянутых руках рудный камень, сказал:

— Я мудрость железную понимаю. Зацахнут без меня ковали Илима, и твой прибыток убавится.

— После узнаем, кто ты есть таков. Вяжи!..

Челядинцы снова скопом навалились на парня, отобрали у него нож, схватили руки и завернули их на спину. Фролка ударил его кулаком по лицу, но испугался Илейкиного лютого взгляда и отбежал в сторону.

— Сатана блажной!.. Погоди, уже выжмут из тебя прыть клещами!

Головин велел положить рудный камень в суму и тронул коня. Илейку подсадили на седло к дьяку, а чтобы не сбежал, притянули ремнями за пояс. Сидел Илейка, покачивался, тыкался лицом в тощую спину дьяка. У него стучало в висках, сохли губы. Каждый шаг коня отдавался тупой болью.

## 2

Над Илимским острогом клубилась пыль. За деревянной рубленой стеной с угловыми пузатыми башнями возносились тесовые верхи воеводской избы с хозяйственными службами: поварнями, погребями, скотскими хлевами, хлебными амбарами. Тускло поблескивали слюдяные оконца. У главных ворот сияла луковица колокольницы храма Нерукотворного спаса. Из стенных амбразур глядели медные дула пушек и пудовых пищалей. В сторожевых шалашах, на башнях, дремали стрельцы.

Возле стены дымила кузнечная слобода. В черных кузницах дышали горны, грохотали молотки. Тут выдывались сабли, охотничьи ножи, наконечники копий, крючковатые снасти для рыбной ловли, замки и дверные петли.

На пологом берегу Илима, у гостиного ряда, стоял царский кабак. Рядом высился бугор, на нем крест над усопшим. Неслышно катила река свои воды. Рыбаки проверяли переметы, собирали дневной улов. Возле кабака гуртовался разный люд. Тут были стрельцы, ямщики, пахари, охотники, гробовщики, кабацкие женки и мастера пьяного дела, приглашающие всякого испить веселящего зелья. Много было охотников потешить себя, но долг кабаку считался государевым долгом: всякого, кто не платил, заставляли платить силой. Добро, какое было, отбиралось в пользу воеводы, а должник попадал в кабалу<sup>1</sup> к целовальнику, который продавал его купцам в работные люди. Тяжела была расплата за утешенье.

Вблизи кабака, на бойком месте, пестрела лавка устькутского промышленного человека Ерофея Хабарова. На засиженных мухами полках лежали золотистые калачи, серебрилась в закромах соль, на стенах висели сочные, душистые стебли дикого чеснока — черемши<sup>2</sup>.

Перегнув тонкий стан через стойку, приказчик Андрей Грызов выхвалял товар:

— Хлеб продаем, соль даем! Черемшой угощаем! Подходи, у кого деньга не щербата! Эй, навались, у кого деньги завелись!

В дверях кабацкой избы, широко расставив ноги, стоял известный всей илимской стороне резвый гуляка Степан Поляков. Был он без рубахи. На смуглой его спине перекрещивались давние багрово-синие рубцы от кнута. Под гладкой кожей, на руках и груди, играли мускулы.

Кабацкий ярыга отчитывал его и устрашающе сжимал кулаки.

<sup>1</sup> Кабала — долговое обязательство, долг; кабальная задолженность обычно превращалась в пожизненную; она прекращалась только со смертью хозяина. «Кабальные люди» впервые упоминаются в духовной грамоте 1481 г. князя Андрея Васильевича Меньшого.

<sup>2</sup> В Сибири квашеную черемшу употребляют в пищу. Хорошее противоязвительное средство.

654372

ВОЛОГОДСКАЯ  
областная библиотека  
им. И. В. Бабушкина

— Эх, ни стыда у тебя, ни совести! Выпил бочку, а платить не хочешь.

— Стыд не дым — глаза не выест.

— Плати, а то худо будет — прибьют до смерти! — не унимался ярыга.

— Семи смертям не бывать — одной не миновать!

Ярыга остервенился и, подступив к нему ближе, замахнулся кулаком, но был он мал ростом и с досады только взвизгнул. Степан Поляков сплюнул сквозь зубы, медленно поднял ярыгу одной рукой за пояс, показал кабацкой голи и бросил на пыльную землю.

— Ах ты, гнида, приказная совесть! Я шутейно, а ты — в драку!..

Люд зашумел и задвигался. Степан Поляков не торопясь выгреб из кармана широких штанов медные деньги, пересчитал на ладони, кинул ярыге под нос.

— Чтоб тебя, лешака, за мою гривну колесом переехало!

Ярыга схватил деньги и завопил:

— Я тебе, смутьяну, рот заплавлю! На правеж<sup>1</sup> сведу!

Размахивая руками, подбежал бойкий малолеток. Сквозь лохмотья резко обозначалась его худоба. Один из толпы спросил:

— Тебе чего, малец?

Малолеток, заметив у него в сумке хлеб, запрыгал на одной ноге и сказал:

— Дай хлебца, скажу!

Человек бросил корку. Малолеток поймал ее на лету и крикнул:

— Скажу такое — не возрадуетесь!

— Не глумись над старшими, сказывай!

— Воевода едет, везет самовольщиков в башню. Сердитый — страсть!..

— Экой ты варнак! За такие вести лохмы драть!

Малолеток потянул носом и резво побежал, показывая репчатые пятки. Толпа замолкла. Ярыга, показав Степану Полякову дулю, метнулся в дверь.

А челядинцы уже врзались в людскую гущу, стегали ближних плетьюми, кричали:

— Пади! В ноги пади!

---

<sup>1</sup> *Правеж* — наказание, битье батогами по ногам за неплатеж долгов и другие провинности.

Толпа повалилась наземь. Приказчик Андрей Грызов спрятался за стойку. Целовальник пробежал по спинам лежавших ниц людей и остановился возле воеводы, опустив голову.

Головин нахмурился:

— Пошто питухов отгоняешь?

— Оскудели, батюшка! Вино хлещут, а денег не платят.

— погоди! Кабак заведен не вчера, и до тебя много целовальников перебивало, но не жалобились, а ты вместо прибýtка норовишь и старое потерять. Лежебока!

Головин нарочно при людях срамил целовальника, чтобы отбить охоту к воровству и лени.

— Поручаю тебе смотреть накрепко, чтоб доход перед прежними годами собран был непременно с прибытком. Чтобы нашему илимскому кабаку недобора не было.

У целовальника краснела шея, на лбу выступал крупный, зернистый пот.

Пока воевода бранил целовальника, а челядинцы, наострив уши, слушали, Илейка всматривался в спины лежавших ниц людей, ища знакомых, чтобы передать весть о себе матери и Томиле Довбачу. У него отекали до боли связанные в ключицах руки, на щеках и на лбу цвели багровые подтеки. Степан Поляков заметил его, приподнял голову и сказал внятно:

— Эк, разукрасили. Вот псы!

Илейка натужливо улыбнулся, подмигнул ему. Челядинец кинулся было на голос, но Степан Поляков плотно припал к земле.

Головин велел поднимать народ. Целовальник, не разгибаясь, попятился от него. Челядинцы начали хлестать плетьюми по спинам. Люди вскакивали, срывали шапки и прятались друг за друга.

— Пошто вино не пьете? — строго спросил Головин.

Кто-то дальний глухо ответил:

— Все мы одождали и обнищали. Впали в нужду.

Воевода пронизал толпу взглядом, но не нашел того, кто сказал откровенное слово. Люди тяжело задышали и придвинулись к нему.

Степан Поляков вышел вперед, бесстрашно глянул на воеводу. Челядинцы насторожились.

Хмурясь, Головин спросил:

— Что надобно?



— Слово молвить хочу.

— Говори!

— Вино — один разор: день погулял — и в одних портах остался. К тому же и вино плохое, что вода в Илеме.

— Как плохое?

— Так плохое — живот пучит.

Петр Головин тяжело сапнул и взмахнул плетью. Змеей обвилась плеть вокруг голой спины Степана Полякова, огнем обожгла. Но он только крикнул и повернул в кабак глушить вином обиду. Толпа загудела. Головин дернул поводья и, отъехав, строго закричал:

— Я смутьянов и самовольщиков пуше зноя пеку и холодной мороза зноблю! Всех порешу за такое!

Задрезжали колокола. Головин прислушался, прекрестился, но вдруг по лицу его пробежала хмурь.

— Фролка, какой ныне праздник?

— В святцах не прописано. То Савватей Храп озорничает. Бьет в колокола ради пьяной забавы.

— Позвать для расспросу!

Фролка подъехал к храму Нерукотворного спаса, задрал голову кверху:

— Эй, батя, слезай!

Савватей Храп перегнулся через перильца, плюнул на дьяка и срамно выругался. Челядинцы захохотали к нему по ступеням, снесли с колокольницы, протащили волоком по земле, поставили на ноги перед воеводой.

— Нажрался, идол!.. — крикнул Головин.

Савватей Храп глядел не мигая, слегка ухмылялся. Изрытое оспой лицо краснело, вздрагивали выцветшие брови и клочковатая борода. Он икал, стоять ему было трудно. Фролка оговаривал его:

— Батька по все дни пьян. Пастырское облачение пропивает, с женками кабацкими блудит, в зернь играет. По острогу в непотребном виде является. Дюже поп сей беспутный.

Савватей Храп часто замигал, подал голос:

— Человече! На Руси веселие есть пити...

Воевода строго глянул на Храпа, спросил:

— Пошто озорничает, пошто в будни народ звоном полошишь?

— Для бога стараюсь, услаждаю его звоном...

— Скрутить и для ума кнутом отстегать!

Савватей Храп поднял глаза к небу:

— Человече, не позволено глумиться тебе над слугой боговым.

Фролка изловчился и стеганул попа плетью. Савватей простонал:

— Господи, укроти его... человече, побойся бога, сидящего во херувимах.

Челядинцы скрутили попу руки и вместе с Илейкой погнали на воеводский двор.

Душа Храпа плакала, ему было не по себе: могло объявиться грехопадение, сулившее лютую кару. Посланный монастырем для сбора с мужиков денег для уплаты государевых податей, он не удержался и пропил все сборные деньги, а за те пропитые им деньги с крестьян взяли подать вторично. Добавочный побор сильно поколебал у мужиков веру и пробудил совесть Храпа. Когда, промотав деньги, он явился в монастырь с повинной, его простили.

Жить бы в дружбе и в сговоре со всей монастырской братией, но Храп соблазнился исканием истины; он заметил, что иеродьякон Иосаф и казначей Иона живут не по чину. Будучи опальным, Храп не мог жаловаться, ему могли и не поверить. Не сумев побороть свою зависть и неудачу, он напился до бесчиния и учинил мятеж в церкви, понося иеродьякона и казначея бранными словами, называл их ворами. После мятежа последовала доносная челобитная. Иосаф писал:

«...Подступил ко мне во время пения Савватей Храп и стал звать в алтарь для питья вина. Но я по тому зову не пошел, полагая, что непотребно служить богу в подпитии. А после того вторишно он же, поп Савватей, ночью ко мне пришел и, поколотясь, разбудил меня от сна и стал звать неотступно. И тогда я, обувшись, к оному Храпу пришел. И меня поп знатно так упоил, что и ноги меня не понесли... А он, видя мою слабость телесную, бил меня и увечил. И у правой руки перст зубами закусал, и кафтан изодрал, и бороду вырвал, и кукишки мне показывал. И тем меня, сироту, изувечил и обесчестил напрасно...»

Заплетаясь ногою за ногу и опустив голову, Храп тащился за челядинцами, увертываясь от ударов.

— Помяни, господи, царя Давида и всю кротость его,— шептал он.

Илейка сочувственно посматривал на попа.

У челобитной избы толпились кабальные холопы, торговые люди, жалобщики от лесных людей с поклонными соболями и сухим мясом. Всяк просил учинить по его делу сыск и указ, оказать милость и пощаду. Зевая и крестя рот, челобитный дяк выглядывал из оконца. Уши у него, как лопухи, глаза мутные, ноздри заросли волосами. Из-за ушей, словно рога, торчали гусиные перья. Он принимал кульки со снедью, вяленую сохатину<sup>1</sup> и меха. Челобитные читал медленно, важно ставил пометы, откладывал в сторону.

Ясачный человек — тунгус Кырса — пробивался сквозь живую гущу к оконцу. Висели на нем поклонные соболи и бобры. Стрелецкий сотник расправил усы, покосился на меха ясачного человека, шагнул к нему, молча схватил его за пояс и поволок за угол челобитной избы. Кырса болтал руками, говорил покорно и часто:

— Ничего не слышал... Ничего не видал... Все ладно.

— Замолкни, сыроядец, а то хуже будет.

Кырса смекнул, чего хотел от него сотник; сорвал лучшего соболя, протянул в дар.

— Ничего не знаю... Все ладно.

Сотник взял соболя, сунул за пазуху, пнул челобитчика носком сапога под мягкое место, скрылся в шумливой толпе. Кырса поднялся, отряхнул пыль, снова стал протискиваться к оконцу. Вдруг сразу во многих местах закричали дозорные стрельцы. Челобитный дяк прислушался и объявил:

— Мне нынче недосуг. Ступайте с богом!

Челобитчики задвигались, зашумели и разом устремились навстречу воеводе. Кырса всех опередил, упал в растяжку перед воеводским конем.

— Чего тебе? — сбоченившись в седле, спросил Головин.

— Приходят к нам от одного государя двойные люди: одни с Илима ясак<sup>2</sup> берут, другие из Верхоленска... Жен, детей бьют, в полон берут... Как же нам, малым людишкам твоим, под государевой рукой быть?

Кырса то привставал с земли, то снова падал. Соболи

<sup>1</sup> В Сибири сохатым называется лось. Сохатина — лосина.

<sup>2</sup> Ясак — натуральная подать, налог.

на нем вздрагивали, как живые. На хребтах бобров серебрилась легкая проседь.

Глаза у Головина разгорелись. Он любовался мехами, прикидывал в уме их цену и, увлеченный подсчетами, плохо слушал жалобы старого тунгуса. Однако честь ронять он не мог. Сознание, что он — воевода — ответчик перед богом и царем, заставило его все же принять участие в судьбе Кырсы. Он сказал:

— Фролка, рассуди! Скажи жалобщику, что раденье нашему великому государю забвенно не будет и чтоб впредь жалоб не приносил.

Кырса лежал, затаив дыхание. Фролка подмигнул сотнику, а сам ловко соскочил с седла и забрал поклонную рухлядь<sup>1</sup>. Сотник приказал стрельцам поднять тунгуса и вывести за острожные ворота. Стрельцы брякнули саблями, подхватили его под руки и повели: Кырса плакал навзрыд, просил о пощаде и милости.

Челобитчики бросились врассыпную. Головин подъехал к приказной избе<sup>2</sup>. Фролка услужливо открыл перед ним дверь: жалобно пропели ржавые петли.

Склонясь над столами, локоть к локтю, сидели писцы. Они писали без точек и запятых, присыпали написанное золой. В нос Фролке ударил тяжелый дух. Он трижды чихнул, сотворил молитву:

— Слава Иисусу и царице небесной.

— Аминь! — отозвался хриплый голос.

Как только Головин ступил на порог, приказный дьяк мелкой трусцой подбежал к нему, отвесил земной поклон. Писцы перестали скрипеть гусиными перьями, встали.

— Изволь выслушать, батюшка?

— Добро, дьяче!

— В стольной хоромине ждет тебя знатный иноземец с указом от великого государя.

Головин отстранил дьяка и заспешил в приказную избу. Фролка и стрелецкий сотник последовали за ним.

Едва воевода вышел, писцы снова принялись скрипеть перьями. Приказный дьяк уселся на стол, подогнул под себя ноги и свирепо уставился на писцов.

Сотник, проводив воеводу, вернулся к задержанным и погнал Илейку Жука и Саватея Храпа в пузатую на-

<sup>1</sup> Поклонная рухлядь — меха.

<sup>2</sup> Приказная изба — канцелярия.

угольную башню. На обитой войлоком двери висел тяжелый замок. Ключ болтался на поясе у стрельца, который сидел тут же на пне, прислонив к стене бердыш<sup>1</sup>. Заметив сотника, он встал, лениво и привычно открыл дверь.

— Теперь ужо поговорят с вами. Покажут кузькину мать! — сказал сотник, развязывая веревки на руках страдальцев.

Савватей Храп ухватился за полу его кафтана:

— Человече...

— Уймись, поблуда!

Сотник вырвал полу и втокнул обоих узников в башенную дыру. Стрелец запер тяжелую дверь.

В башне было сумрачно и глухо. Из одинокого, забранного решеткой оконца скупое сочился свет, обозначая развешанные по стенам снаряды: топор, крюк для подвешивания за ребра, кривой серп с ручкой шириною в два пальца, игольчатые клейма. Савватей поглядел на все, что было тут, и застонал. Ноги у него подломились. Он прислонился к столбу, в цепью и медленно сник к земле. Илейка припал к оконцу, ухватился за кованые решетки и затих в раздумье.

На краю неба, над горами, гасли багровые струи зари. Узкая туча перерезала их пополам. Мимо башни, гремящая цепями, шли кандалники. Гнали их в новый, Якутский острожек. Были они в рубище, полунагие, с клеймами на лбах, иные с отрезанными ушами, с разорванными ноздрами.

Одни просили подавания, другие пели. И песня, сливаясь со звоном кандалов, звучала как тягучая жалоба.

Сожалейтесь, наши батюшки,  
Сожалейтесь, наши матушки,  
Заключенным, Христа ради!

Звенели и лязгали цепи. Скрипели на несмазанных петлях двери курных изб: выходили люди с милостыней. Кандалники брали подавание, кланялись в пояс и пели:

Мы сидим во неволюшке,  
Во неволюшке, во тюрьмах каменных.  
За решетками за железными,  
За дверями за дубовыми,  
За замками за висячими.  
Распростились мы с отцом, с матерью,  
Со всем родом своим, со племенем.

---

<sup>1</sup> *Бердыш* — копые с топориком в виде полумесяца.

Прошли кандалники. Еще тягостнее стало на душе у Илейки. Страшная мысль о неволе потревожила его душу. В оконце он видел горы, там — воля, размах, простор, а тут — тюрьма, кнут, великая скорбь и тягость.

«Эх, уйти бы!..»

Темнело в башне. С гор налетел ветер, начал лизать железные решетки. Свернувшись в клубок, у столба с цепью хмельно спал Савватей Храп. Волоча бердыш по земле, ходил возле башни стрелец.

Илейка стоял у решетки и тяжело вздыхал. Он осуждал себя за горячность, сожалел, что сам погубил свое счастье, но считал себя по-прежнему правым, и это немного подбадривало его. Подложив руку под голову, он незаметно уснул.

Приснилась Илейке девушка. Были у нее горячие глаза, соболиные брови, яркие губы. Она подошла и улыбнулась. Легкой зыбью задрожали у нее ресницы.

«Ох, радость!.. Вассушка!»

Он протянул руки, чтобы обнять, почувствовать ее. Лицо девушки затуманилось, исчезло. С влажной решетки на руки ему упали холодные капли. Скрипнула дверь...

Илейка открыл глаза. Перед ним стоял в длинном кафтане и высокой шапке стрелецкий сотник.

— Выходь живее!

Илейка послушно пошел к выходу. Сотник повел его к воеводской избе. Шли молча. Начинало светать. Мерцая, угасала последняя звезда. В распадках клубился туман, заглаживал горные морщины.

Илейка взмошел на крыльцо. Сотник звякнул саблей, открыл дверь и пропустил Илейку в избу, а сам почти тельно встал у порога.

В избе еще горели свечи. Играли на серебряных чашах с вином блики, качались по стенам лохматые тени. Облокотясь на стол, Головин задумчиво глядел в глаза иноземцу, стараясь его разгадать. Тот сидел в атласном темно-вишневом кафтане, подбитом соболями. Лицо его выражало надменность. Перед ним лежал рудный камень.

Смутная догадка озарила Илейку. Он тяжело грохнулся на колени. Головин боднул головой, лицо сделалось мягче, глаза ожили и подобрили. Он протянул Илейке руку для поцелуя и встал.

— Хотя ты и достоин кары лютой за продерзости, но жалую тебе все твои вины. Будешь отныне работным че-

ловеком и те вины свои заслужишь перед великим государем рудными премудростями своими.

Илейка хотел было возразить, но слова воеводы были так властны, что у него не повернулся язык.

Иноземец взял рудный камень, повертел в руках и, обращаясь к Илейке, ломанно сказал:

— Вины заслуживать. Как это говорится, в землю глядеть. Железо показывать.

Илейка стоял не шевелясь, сознавая с болью, что в жизни его случилось нечто непоправимое.

— Ну, радуйся,— сказал воевода и сам поднес ему полную чашу вина.

Илейка молча выпил.

Вошел конюший и доложил, что кони снаряжены. Головин приказал Илейке верно указывать дорогу к рудным залежам.

К ступенчатому крыльцу подвели оседланных коней. Стрельцы окружили Илейку и приготовили арканы на случай побега рудознатца. Последним вскочил на коня стрелецкий сотник.

Они миновали острожные ворота, проехали возле кабака, мимо пьяных бездомовных гуляк, лежавших на земле; с большой дороги свернули на тропу и скрылись в ущелье. Впереди, то исчезая, то снова появляясь в просветах между деревьями, пробегала тропа. Тянулся, переливаясь из низины в низину, туман. На листьях и хвое дрожали холодные слезы росы. Глухо бурлил ручей, в чаще щебетали о чем-то счастливые птицы.

Илейка томился в смутном страхе. Иноземец мурлыкал непонятную песню. Глаза воеводы слепила дремота. Он то и дело вскидывал голову, но голова упрямо склонялась на грудь.

...Когда солнце подошло к полдню, всадники уже возвращались в Илимский острог. На гостином дворе происходило великое шумство. Кричали сбитенщики. В горшечном ряду переругивались бабы. Жалобно скулил нищий. У кабака дрались бродяжки. Купцы вели торг: продавали сукна, миткаль, красную и синюю пестрядь, ратную сбрую, моржовую кость. Увешанные мехами, сутились лесные люди. Из харчевного ряда несло запахом тухлой рыбы и убоины. Возле мясной лавки, подобрав ноги под себя, покорно сидели тунгусские женки. Одноглазый купец ввиду отъезда продавал их по сходной цене.

Иноземец ехал важно, вывернув локтем вперед упертую в бок руку. Он хмурился на солнце и вслух высказывал свои думы:

— Богатая земля. Веселая жизнь. Глупые люди.

Головин молча злился на иноземного рудознатца, досадовал на царя, который поручил столь важное дело не ему, а немцу без роду и племени.

Сотник недружелюбно косился на толпу. Стрельцы, усердствуя, пробивали в людской гуще дорогу.

Возле приказной избы их встретили все дьяки и подьячие. Головин сухо поздоровался с ними и, подозревав Фролку, велел созывать народ, а чтобы показать спесивому иноземцу свою власть и расположить народ к послушанию, приказал высечь Жука и Храпа на кобыле. У Илейки глаза вспыхнули и погасли. Он склонил на грудь голову и, затаив злобу на воеводу, побрел за сотником в башню.

#### 4

В сыродутном горне на древесном угле Томило Довбач обжигал болотную руду. Жидкий шлак стекал на дно горна, а зерна железа, спекаясь, медленно охлаждались. Получался плотный железный каравай, годный для выделки мечей, котлов, пик, алебард, кремневых ружей и даже булатных мечей.

Помогал Томиле Довбачу в плавильном деле Илейка Жук. Он послойно насыпал руду и древесный уголь, а затем ручным мехом подавал воздух. Томило Довбач подхватывал крицу клещами и нес к наковальне.

Ковал Довбач смело. Ударял молотом ловко и легко. Постепенно ком железа получал нужную форму, на нем появлялся блеск и мудреный, витиеватый рисунок.

Последней работой Томилы был меч, над которым он провел много времени. На матовой струе меча ветвились узоры, подобные тем, какие рисует зима на морозном окне. Меч гнулся и выпрямлялся вновь, как пружина. Добротный был меч!

Радуюсь удачно завершенной работе, Томило Довбач испытал крепость меча, ударив им по дереву. Знакомый звон коснулся уха, пробудил далекие воспоминания.

— Эх, опочил булатный меч-крушитель,— сказал он, садясь на обрубок.



Более пятидесяти лет тому назад был Томило Довбач в отважной ватаге Ермака. Но погиб атаман сибирской дружины, сгибли его казаки от кучумовой хитрости. Не раз заглядывал в лицо смерти и Томило Довбач. Есть, что вспомнить...

Ветер пел тогда лихую песню. Падали могучие сосны. Косой дождь хлестал по челу утеса. У обомшелых каменных глыб мятежно бесновались волны. В заводи бились друг о дружку бортами казачьи струги, стонали на них снасти. Пучину ночи то и дело прорезала молния. Грохотал гром. Молния походила на огромный, внезапно сломанный меч. Казалось, будто невидимый богатырь ударял этим мечом по хребтовине грозного чудища.

Под лиственничным корьем, в обнимку с фитильными ружьями, спали казаки. Дождь барабанил по их защите. Словно конь, всхрапывал во сне Ермак. Под корою лиственки, вблизи его шатра, спал крепким, молодым сном Томило Довбач. Он проснулся от тяжести, которая внезапно обрушилась ему на грудь. То был рослый татарин, случайно наступивший на него. Томило Довбач стряхнул его с себя и сильным ударом меча развалил ему голову надвое. Молния осветила казачье становье. Он увидел мятущихся людей, услышал крики, не раздумывая, кинулся к шатру и распахнул полог.

— Беда, атаман! Лютуют вокруг нас сибирцы!

Ермак вскочил и, взмахнув мечом, зычно крикнул дружине:

— Сюда, братья-казаки! Бейтесь, не щадя голов! В пень рубайте!

Голос его потонул в столах, в криках, в грохоте. Слышно только было, как звенели мечи. Не желая сдаваться в плен, казаки бежали к обрыву и, не задумываясь, бросались вниз.

— Постоим за головы свои, братья-казаки!

Никто не откликнулся на зов атамана. Сверкнувшая молния осветила золотого орла на его кольчуге и медные опушки на рукавах и подоле. Сибирцы наседали. Томило Довбач булатом крошил врагов. Не отставал от него и Ермак Тимофеевич.

— Эх, руби плеча, не жалея меча!

Жаркая была сеча. Ручьями лилась кровь, но не убавлялась сила врагов. Запах крови взъярил их пуше, смелее налезали они, мстя за прошлые поражения и обиды.

Томило Довбач занес меч и промахнулся, задел за выступ скалы. Брызнули искры и осколки. Он подмял под себя врага, схватил его за горло, стукнул головой об землю и кинулся к обрыву.

— За мной, атаман!

Под ним разверзлась шумливая пропасть. Холодная вода лизнула разгоряченное тело и разом остудила кровь. Отдуваясь и пыхтя, выбрался Довбач из пучины, увидал почти рядом Ермака, обрадовался. Переливчатым светом заиграла молния на гребнях волн.

— Держись, атаман!

— Де-ержу-усь...

С утеса сыпались на них стрелы, доносился победный рев. Почти у самого берега захлестнула волна Ермака Тимофеевича.

— Где ты, атаман?

Глухо забурили волны, за клубились пеной. Томило Довбач еще раз крикнул и, не получив ответа, почувствовал знобящий холод и усталость. Напрягая последние силы, едва прибил к берегу. Растянулся на песке и впервые за свою жизнь заплакал...

Томило Довбач провел день в таловых зарослях. По-волчьи выглядывал из кустов, смотрел на вражеское пиршество, а когда стемнело, связал плотик и поплыл по Иртышу к Тобольскому острогу. В пути его захватили татары. Около двух лет протомился он у них в плену, а когда стало невозможно, решил испытать свое счастье и убежал, убив сторожевого татарина.

Тобольский воевода Глухов принял Довбача неласково. Выслушав весть о гибели сибирской дружины, он испугался и велел таскать хлеб из воеводских житниц на дощаники, чтобы плыть в отступ. Был в ту пору в Тоболе великий голод. Служилые люди собирали милостыню. Посадские и пашенные люди стонали от оброков: платили десятую рыбу с рыбных ловель, по гривне с коня, восемь денег пошерстного, пятьдесят веников на воеводскую баню. Не вынес тяжелого лихоимства Томило Довбач. Пригляделся к осторожной жизни и подал челобитную о великой скудости государевых людей; просил выдать хлеб и снизить оброки. Прочитав челобитную, Глухов схватил посох, гнался за Томилой до самых ворот острога. Но быстр в беге был Томило Довбач. Он сшиб кулаком дозорного стрельца и махнул в немереную степь,

проклиная воеводу и безвольную покорность оскудевших людей.

После Ермака другие повели его дело. Много нашлось людей, которым на Руси было тягостно и тесно. Манили воля, богатые земли. Шли землепроходцы ошупью, натывались на новые реки, плыли по ним, осваивали новые места, и плыли дальше. По их следам шли воеводы и боярские дети, приводили сибирцев к присяге и облагали ясаком, а для устрашения строили городки и острожки. На север и на восток тянулись большие и малые промышленники с нанятыми людьми, осматривали земли, примечали, что можно взять, гонялись за пушным зверем, выменивали на грошовые товары собольи меха с гладкой шерстью и легкой проседью. Пустынные земли закреплялись вольными и невольными насельниками. Огнем и топором очищали они таежные земли под пашню, сеяли на них хлеб. Вставали на угодливых местах села, слободы и посады.

Убежав из Тобольского острога, Довбач попал в бурлаки к торговому человеку Чуриле Тулумбасову. Десять человек тянули груженный хлебом и солью дощаник. Сермяги у всех — в клочьях. Брели мокрые и отошальные по пустынному берегу реки Илим. Хрустели под лаптями облизанные водой камни, шумела и пенилась вода на перекорах, покрикивал с дощаника Тулумбасов:

— Эй, робята, не дремли, кабак близко!

Он был похож на жабу: короткий и толстый, лицо сытое и довольное. Тулумбасов радовался, что благополучно миновали коварные пороги. Бурлаки налегали грудью на лямки. Шли, раскачиваясь, уронив головы, опустив руки. Злобу и усталость глушили песней.

Тянул бурлацкую лямку и Томило Довбач. Ноги его распухли от воды и стужи, покрылась язвами грудь, ныла спина. Седина побелела голову. Резче выступили кости, ослаб голос. Большой выпуклый лоб избородили морщины. Только в глубине огромных зеленоватых глаз все еще горело непокорное удадьство. Он шел угрюмо, без ропота.

В Илимском остроге Чурило Тулумбасов рассчитал бурлаков, выдал по два четвертака на душу. В тот же день деньги были пропиты в кабаке. После гульбы бурлаки стали думать, куда податься. Решили сбить плот и плыть на понизовье, искать нового хозяина.

— Мне с вами не путь. Иным делом кормиться мыслью,— сказал Томило Довбач. Он простился с товарищами и пошел на берег Илима додумывать думу о кузнечном деле, которое постиг у бухарца в кучумовом городке<sup>1</sup>.

Он сидел на мшистом камне у самой воды и ковырял мозоль на ладони. Над головой его ползли тучи. Дул ветер. Темнела и пенилась река. Гуляли по ней волны, курчавилась на них пена. Было холодно, бесприютно и одиноко.

Лодка-берестянка неслышно подплыла к берегу и ткнулась в песок. Томило Довбач услышал голос, поднял голову. К нему подошла тунгуска с сыном. Ветхая меховая одежда свисала клочьями, обнажая ее тощее тело. Было видно, что холод пробирал ее до костей. Широкоскулое лицо тунгуски морщилось, а губы мелко дрожали. Горячи были только одни глаза. Сын, переступая с ноги на ногу, разглядывал незнакомца. Был он смугл и черноволос, широк в плечах и чист лицом. С матерью его роднили только чуть косоватые, такие же горячие глаза.

Захотелось Томиле Довбачу тепла и покоя. Он поселился в Илиме и связал с тунгуской свою судьбу. У сына тунгуски не оказалось имени, и Томило Довбач назвал его Илейкой Жуком в память погибшего друга своего, ермаковца. Жили ладно. Мальчик возмужал и окреп, был силен и ловок, быстро постиг кузнечное дело. Томило Довбач полюбил его как родного сына...

С того утра, как ушел Илейка на поиски железной руды, прошло трое суток. Томило Довбач сидел суровый и грозный. Мысль, что с Илейкой случилась беда, мешала думать о другом.

Когда спустились сумерки и в остроге зажглись редкие огни, Томило Довбач воткнул меч в закоптелую стену кузни и пошел в горы. Матери Илейкиной, Бимбе, ничего не сказал, боясь попреков и нареканий.

Он рыскал по таежным урочищам всю ночь: обошел все рудные и зверевые места, которые знал. Звал и сви-

---

<sup>1</sup> Кучумов городок — Кашлык (по-русски Сибирь) — столица сибирского хана Кучума. Развалины города в 15 километрах от Тобольска известны под названием Искер, т. е. «старое место».

стел. В ответ глухо шумели деревья, рыдала сова в горных расселинах.

Вернулся Томило в Илим сам не свой. У кабака встретился ему Степан Поляков.

— Здравствуй! Чего смутной?

— Про Илько не слышал ли?

— Илько твой, видно, воеводу не ублажил. Вечор в башню повели его.

Довбач шагнул от Полякова, сорвал с себя шапку, швырнул ее наземь и пошел в кабак.

— Эй, друже, шапку подыми, пригодится! — крикнул Степан Поляков.

Довбач остановился, посмотрел на него, поднял шапку.

— Может, поблазило?

— Сам видел.

Томило Довбач завернул в кабак, выпил два ковша вина; закусил черемшой и пошел угрюмый на воеводский двор.

## 5

Грохнула набатная пушка. Размахивая бердышом, пробежал глашатай. Люди устремились на указную площадь.

Подгоняемый толпой, побежал и Томило Довбач. Работая локтями, он пробирался к живой изгороди бородастых стрельцов.

Посреди площади возвышался помост. По нему важно расхаживал, колебля доски, заплечных дел мастер Митрейка Сыч. Он был росл и широкоплеч, а несоразмерно малая голова походила на редьку. Клином лежала на его груди рыжая борода. Слезилась красные, выпученные глаза. В ухе болталась медная серьга. Волосы были подстрижены под казацкую скобку и жирно смазаны лампадным маслом. Широленные шаровары из синей пестряди подпоясывал широкий крученный пояс из узорчатой материи. Огнем горела на Сыче красная кумачовая рубаха. Народ смотрел на него жадно, но боязливо. Издали казалось, что ходил он по головам сбитых в кучу людей.

— Кат! Кат!

— Орлом выглядит.

— Нишкни, услышит!

Сыч остановился, сдвинул брови: шепот смолк.

Среди пестрой толпы пробиралась Вассушка. Она останавливалась, робко посматривала на помост; вид Сыча приводил ее в трепет, она громко шептала молитву.

— Не дребезжи!.. Без тебя смутно,— строго сказал Томило Довбач, но, узнав девушку, смягчился.

— Возле меня держись: сомнут.

Вассушка, покрасневшись, послушно стала возле него. Митрейка Сыч засучил по локоть рукава. В одну руку взял плетъ, в другую — пузатую оловянную чашу с вином, небрежно посмотрел на людей. К помосту подошли два подручника, сели на ступени.

В толпе закричали:

— Ведут! Ведут!

Частым дождем посыпались и зазвенели монеты. То кидали заплечному мастеру жертву, чтобы не лютовал. Митрейка Сыч деловито собрал деньги, сунул за складки пояса, не торопясь сошел с помоста. На его голове вздыбился тощий пучок волос.

— Раздайсь, люд!

Народ расступился. Образовалась живая улица, которая волной смыкалась вслед за проходившими. Впереди в малиновом кафтане, в собольей шапке шел Петр Головин. Справа от него — иноземец в бархатной шапчонке, слева — Фролка со свернутой в трубку государевой грамотой. Сбивая друг друга, спешили дьяки и подьячие. Стрельцы вели Илейку Жука и Савватая Храпа.

Судья взошел на помост и, сглатывая слова, прочитал судейский указ. Головин взмахнул белым платком. Блеснули перстни на его пальцах. Митрейка Сыч жадно оглядел Илейку, схватил его за руку и, втащив на помост, крикнул:

— А ну, поспешай! Кланяйся люду!

Настала тишина. Илейка поклонился на все стороны и сам подошел к пятнистой от следов крови кобыле — наклонно лежавшей доске, с выемками для шеи и рук, с отверстиями для ног.

Подручные Сыча свалили Илейку на доску и, сдернув порты, прикрутили ремнями к доске руки и ноги. Чубатая голова Илейки бессильно повисла. Митрейка Сыч показным взмахом занес плетъ.

— Берегись, соловья спущу!

Плеть зачатила, расписывая алыми рубцами кожу. Томило Довбач крикнул из толпы:

— Крепись, Илейко, казаком будешь!

Стиснув зубы, Илейка молчал. Его упрямство злило Сыча, растравляло самолюбие ката. Палач тиранил его, как мог. Изредка Илейка поворачивал голову. Взгляд его встречался с угрюмым взглядом Томилы Довбача и задерживался на Вассушке. Она с замирающим сердцем смотрела на него. Потом что-то дрогнуло у нее под бровями, она тяжело задышала, всхлинула и закрыла рукой глаза.

Люд затаился. В недобром молчании был слышен только свист плети и сильный голос подручного, считающего удары.

— Двадесять... Тридесять... Четыредесять...

В дальних рядах глухо зароптали. Послышалось подавленное бабье причитание, снова раздался голос Томилы Довбача:

— Крепись, сынок, крепись!

Стрелец повернулся на голос.

— Не позволено! На кобылу захотел?

— Ермаковцу позволено.

— Но-но! Молкни, знай!

Подручный, задыхаясь, выкрикнул:

— Полно-о!

Митрейка Сыч бросил плеть, стал вытирать подолом рубахи потное лицо. Подручные сняли ремни, помогли Илейке натянуть порты, свели с помоста и, дав по затылку, шепнули:

— Иди, сердечный, не гневайся...

Илейка, перемогая боль, выпрямился и шагнул в толпу, торопясь уйти от проклятого места. Вассушка, не стыдясь, обхватила его шею руками, прильнула к нему и разрыдалась. Томило Довбач покосился на нее, сказал:

— Девка ты глупая. Ну, чего виснешь? Дай погляжу и я, каков он есть, поротый?

Жалельщики столпились возле них и стали перешептываться. Илейке сделалось не по себе, он ответил Довбачу с притворной веселостью:

— Каков был, таков и остался. Только ума прибавилось.

— Добре сказываешь... Добре! Кличет тебя правда несысканная.

А на кобыле секли Саввatea Храпа. Костлявая спина его подергивалась, он извивался, как червь. Далеко были слышны хриплые крики попа.

— Тяжелый крест несуд! Ой, братушки!

Лицо его стало землистым, в углах почерневших губ показалась пена.

— Простите, православные, раба христова!..

И только один голос взметнулся над притихшим людом:

— Бог простит тебя, батя! Бог наградит!

Митрейка Сыч откинул плеть и устало потянулся. Затем выпил вино и, закинув руки за спину, зашагал по ступеням вниз.

Петр Головин и знатный иноземец поднялись на помост. Дьяки и подьячие образовали полукруг.

— Фролка, кричи указ!

Дьяк вышел вперед и распустил свиток, на котором была большая печать из черного воска с орлом и подпись царской руки. Он выпятил грудь и, гнусавя, начал читать, наливаясь натугой:

— «От великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси самодержца, в Сибирь, в Илимский острог, стольнику нашему и воеводе Петру Головину. Ведомо нам, великому государю, учинилось: холопишки твоего острога промышляют железо. А тое железо на рати дороже злата, а при жизни нашей важнее всякого иного богатства. В нашем, великого государя, наказе, каков тебе дан на Москве, написано: будучи тебе на нашей, великого государя, службе в Илимском, нам, великому государю, службу свою и раденье во всем и ко всем и по всяким делам рассмотрение показати, и отыскивать те подземные, втуне лежащие сокровища и то место досмотреть и построить на том месте железорудный завод для знатной прибыли твоему государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу. По нашему, великого государя, указу для построения завода и выплавки руд послан с Москвы иноземный рудознатец и плавильного дела мастер Карл Сельбот приставником. Поручаю ему смотреть накрепко за твоими людишками и велю приписать их к заводу со всеми женами, и с братьями, и с племянниками, и со всем их борошном<sup>1</sup> безлетно же и беспово-

---

<sup>1</sup> Борошно — имущество.



роотно. И ты, с правдою усмотря, ленивых по вине сам наказывай батогами, плетьюми, железами — только в той мере, чтобы чрезмерной жесточью врозь работных людешек не разогнать и не навесьть бы тебе на себя правых слез в том и обидного воздыхания. А если кто учинит противность сему нашему, великого государя, указу, и тем нелегитимное всем истязание будет и казнь смертная».

Фролка передохнул, угодливо посмотрел на воеводу и объявил указному крику конец. Петр Головин встал, сказал строго:

— Быть по воле государевой. Домницы ваши велю затушить, кузни сломать, а вам всем велю строить тот государев рудный завод.

Карл Сельбот одобрительно мотнул головой. Томило Довбач вслух высказал свою думу:

— Мы, ковали, люди вольные; от добычи пропитание имеем. Подати платим исправно.

Петр Головин шагнул на край помоста, перегнулся и сузил глаза.

— Вы на моей земле живете! Царь с меня спрашивает! Не позволю злоязычничать!

Томило Довбач повертел головой, лицо его злобно покривилось.

— Не быть заводу рудному на Илимее!

Стрелецкий десятник в коричневом кафтане подвинулся к нему, звякнул саблей.

— Не чини супротивны. На кобылу сведут! Чуешь? Илейка тронул отца за плечо:

— Брось зря спорить, побредем-ка восвоеси, подумать надо, чуешь?

Томило Довбач зло поглядел на десятника, склонил голову и зашагал, расталкивая людей.

Из-за гор надвинулись густые лохматые тучи; они опускались все ниже и ниже, стало тише; вдруг капля упала на пыльную землю и подпрыгнула, другая разбилась, зачастил крупный дождь.

## 6

Неохотно занималось утро. В мутном рассвете сновали по кузнечной слободе стрельцы, стучали бердышами в стены курных изб, кричали:

— Эй, выходи, кто жив! Выходи на работу государеву!

Другие в это время ломали кузни и горны, собирали заступы, кирки и молоты. Всех, от мала до велика, сгоняли на рудный кочкарник, к подножию утеса. Стонал и голосил кузнечный люд.

В горном распадке началась постройка государева железорудного завода. Долина стала похожа на растревоженный муравейник. Туда и сюда сновали работные люди. Одни углубляли и расширяли густо заросшее талами русло ручья, другие носили камни для запруды, забивали сваи, долбили ямы для домниц. Мужики-топорники рубили на склонах гор лес, волоком тащили в низину и затем, взвалив на плечи, несли к ручью. Мастера делали воздуходушные мехи, обшивали дерево кожей, сооружали водяное колесо для подъема молотов и дутья.

Женщины, подобрав платья выше колен, ногами месили глину. Дети носили песок и подсыпали его в жидкое глиняное месиво. Завод опоясывали стеной, насыпали земляной вал; на валу делали деревянные палисады, рогатки, караульные избы. Были тут илимские кузнецы, кабальные мужики, кандальники, ямщики и беглые. Все они стали работными людьми самого государя. Управлял строительством приставник железорудного промысла — немец Карл Сельбот. Нерадивых и дерзких бил кожаной тростью со вставленным железным прутом, ругался при этом на трех языках сразу.

Дни текли однообразно и хмуро. Работали все, праздных не было. Работала и мать Илейки тунгуска Бимба. Она месила глину, Вассушка подносила воду. У Бимбы набухли и посинели ноги, ломило в суставах. Все чаще и чаще останавливалась она, сгибалась и стонала. Под конец силы ей изменили. Она повела мутным взором вокруг и с тяжким вздохом упала на мокрую глину. Вассушка помогла ей выбраться на сухое место.

Случилось в ту пору проходить мимо Карлу Сельботу. Он выругался и ударил Бимбу тростью. Вассушка вступилась за тунгуску. Сельбот хотел ударить и ее, но между ними, тяжело дыша, встал Илейка. Лицо его побелело, ноздри расширились.

— Пошто мать и любошу тиранить?

Карл Сельбот позвал стрельцов.

— Взять, как это говорится, полосовать! Полосовать, бить, сечь!

Стрельцы схватили Илейку, повалили и, подвернув под живот руки, начали бить. Били не торопясь, обливали водой, чтобы рубаха прилипала к телу, и снова били. Причмокивая, ходил возле них Карл Сельбот.

## 7

Прошла зима. Распустились деревья, забурлили ручьи, звонко запели птицы. Горы, поросшие цветущим багульником, стояли, как в розовом снегу. Все пробуждалось и радовалось, только работные люди проклинали все на свете.

Усталый и голодный возвратился Илейка с работы. Осторожно открыл дверь своей лачуги. Бимба лежала на меховой подстилке, изнемогая от болотной трясучки. Ходить она не могла: ноги покрылись гнойными язвами, лицо высохло и почернело, глаза запали, воспалились веки. Она медленно, тяжело умирала.

Чтобы не потревожить мать, Илейка тихо прошел мимо нее и откинул доску, закрывавшую оконце. В дыру упало густое лунное пятно, ворвался свежий воздух. В глубине неба светились звезды. Заливисто квакали лягушки. В горной расселине кричала сова. Из ночного сумрака донеслась певучая жалоба:

Эх вы, ночки, ночки темные,  
Надоели вы мне, ночки, да наскучили...

Впервые всем сердцем уразумел Илейка тягостный смысл неволи. Не у одного него, Илейки, горемычный рок, а у всех кузнецов Илима, всех работных людей общее круговое горе. Рудный камень, который нашел он и считал камнем счастья, обернулся для него великими бедами.

Бимба ворохнулась и застонала, приподнялась на локоть, позвала слабым голосом.

— Я тут, мама.

— Согрей меня...

Илейка подошел к ней. Она дрожала.

— Ты почему не спишь? Усни, и тебе станет легче.

— Я совсем скоро усну, мой сын.

Он прижался к ее мокрому от слез лицу. Она почувствовала себя счастливой.

— Ты плачешь, мама?

— Нет, я не плачу, а сердце мое плачет о тебе, мой сын. Скоро мои губы не будут звать тебя...

Ее высохшая рука легла на его плечо. В полутьме ее глаза искали его взгляда.

— Томило еще не пришел?

— Отец в кабаке...

Она некоторое время молчала. Было так тихо, что Илейка слышал даже торопливые удары ее сердца.

— Послушай, сын... Тяжело мне. Я скоро умру, — медленно заговорила она.

— Мама, зачем ты говоришь?

— Не мешай. Слушай и запоминай все, что скажу. Тебе это надо знать. Слушай!

Она передохнула.

— Давно это было. Очень давно. Жил-был старик, очень старый. Имел старик дочь — красивую девушку. Такую красивую, что девки завидовали, а парни из-за нее дрались. Был у девушки жених, лучший охотник. Девушка его не любила. Она не хотела быть его женой. Два коня жених имел, сохатых бил, соболей выюками возил — все это богатство дарил невесте. Приехали в ту пору на стойбище сборщики ясака. Вышли из юрт охотники. Каждый охотник ясак в руках держал и кланялся. Взяли сборщики ясак, стали отдыхать. Был среди сборщиков смелый и сильный казак. Пробовали лучшие и самые ловкие охотники бороться с ним — всех валил под себя. Имел казак кожу белую, похожую на кору березы, и светлые глаза. Далеко видели его глаза. Случилось зайти ему к старику в юрту. Девушка вскочила; мясо сварила, угостила гостя.

Жить стали. Девушка полюбила белого казака. Казак полюбил девушку. Хорошо было им. Однако стали сборщики собираться в обратный путь. Навьючили они коней, а конь казака остался ненавьюченным. Не захотел казак в свой край вернуться. Он спрятался в зарослях. Сборщики, товарищи его, поискали, погоревали, подумали — медведь задрал, и уехали. А казак остался жить вблизи стойбища. Жил один, промышлял зверя. Он был сборщиком ясака, его мог убить каждый тунгус. Трудно ему было, однако не сдавался. Девушка приходила к нему.

Утешала его, терлась щекой об его щеку. Однако обычаи тайги крепче горного камня. Нужно было уходить казаку из таежных урочищ, а девушку выдать жениху. Раз ночью обнимались они, ничего кругом себя не замечали. Подкралась к ним черная тень. Стрелу отравленную в грудь послала. К звездам, на небо понеслась душа казака.

Бимба тяжело вздохнула и опять помолчала. Илейка не мог понять, зачем она говорит, когда ей так трудно, но огорчать мать ему не хотелось, и он слушал. Бимба продолжала:

— ...Девушка плакала на груди у любимого и клялась отомстить черной тени. Ядовитую стрелу выдернула она из груди любимого, в рукав спрятала, вернулась на стойбище. Она приоткрыла полог в юрте отца. Жених сидел на медвежьей подстилке, ел вяленую сохатину. Лук лежал у его ног, рядом с луком — каленые стрелы с орлиными перьями. Кругом сидели старики. Жених ел и хвастался удачей, говорил о ночной охоте. Старики слушали. Девушка на стрелу свою посмотрела, потом на стрелы жениха. Не раздумывая, кинулась она в юрту, вонзила стрелу в горло жениха.

Старики избили девушку, полумертвую вынесли из юрты, бросили в болото на съедение комарам и волкам. Но девушка ожила: живучая была. День ходила, два ходила, много дней ходила, — жалобилась духам лесным на злых людей своего рода. Не помогли духи. Осталась она со своей любовью. Однако любовь без любимого похожа на птицу без крыльев. Вскоре родился у нее сын, и ей опять стало хорошо, потому что сын был похож...

Бимба не успела сказать, на кого был похож сын. Она закашлялась.

— Жестко мне... Жестко... Илько!

Он склонился над нею и стал поправлять подстилку. Бимба приподнялась на локте, хотела что-то сказать, но рука ее подломилась, и она запрокинулась навзничь.

— Что же дальше? Мама, я слушаю!

Бимба не ответила. Илейке стало вдруг холодно и страшно. В голове его помутилось. Придя в себя, он поцеловал шершавый лоб матери и прикрыл шкурой медведя ее тело.

— Я все понял, мама, — сказал он тихо.

Ему захотелось рассказать о своем большом горе Томиле Довбачу, но, вспомнив, что тот в кабаке, Илейка

махнул рукой и вышел из лачуги. У воеводской заставы он упал на землю. словно ящерица, проволочился на животе возле дозорного стрельца. Стрелец его не заметил. По высохшему руслу ручья Илейка уполз в лес. Там он встал. Над горами клубились тучи. Изредка показывался из-за них диск луны. Скрипели, покачиваясь, черные лиственницы.

Илейка шел не раздумывая. Был он теперь бобылем. Не было у него ни кола, ни двора, ни отца, ни матери. Да и самого его как будто бы не было вовсе, потому что был он в бегах.

Много дней Илейка брел по звериным тропам, сваливался в пади, поднимался на хребты, продирался через таежную чащу.

Однажды он заснул на большом плоском камне, и через него переползла змея. Его мучил голод. Он ел корни сараны<sup>1</sup>, ягоды, подбитых камнями птиц. Он слабел.

Наконец Илейка увидел озеро. На нем сипло, с присвистом, покрякивали утиные выводки. Вокруг озера стоял камыш. По пестрому лугу бродили олени. В лиственной заросли чернели юрты. пылал костер. На тагане висел котел с дымящимся варевом. Возле огня, на корточках, дремал тунгус. Над его лохматой головой кружились искры. Около юрты двое охотников свежевали сохатого. Облизывалась собака.

Илейка ускорил шаги. Собака бросилась к нему навстречу с громким лаем. Тунгус встал, посмотрел в сумеречную даль, успокоил собаку, пригласил гостя к огню.

— Я хочу есть,— сказал Илейка.— Я давно не ел.

Старик достал из котла губы сохатого и молча протянул ему. Илейка стал есть вареную свеженину. Он был до такой степени голоден, что от жадности у него тряслись руки. Тунгус разглядывал его, удивленно цокал языком. Глаза его сузились.

— Я знаю тебя. Ты из Илима... Я тебя видел. Я был там...

Илейка перестал жевать, пристально взглянул на старика. Это был тунгус Кырса, ясачный человек белого

---

<sup>1</sup> Сарана, саранка — сибирская красная лилия. Луковица сараны похожа на чесночную головку, сладковата на вкус; народностями Сибири употребляется как лакомство.

царя. Он позвал охотников. Те подошли, сели возле огня, внимательно выслушали рассказ Илейки.

— Я знаю его давно,— сказал Кырса.— У него мудрая голова. Пусть живет с нами.

— Пусть живет...

## 8

Илейка Жук лежал в меховой постели, угревшийся и довольный. Кырса разводил огонь, готовил пищу. Охотники собирались на охоту. Доносились их оживленные голоса. Илейка лежал, наслаждаясь праздностью. Он старался не думать о себе. Сначала думал о Вассушке, о том, как добыть волю и для нее, потом о Томиле Довбаче и о заводе. Думая о себе, он невольно заинтересовался жизнью Кырсы, потом жизнью всего становья и устыдился своей праздности. В нем возникло желание хоть чем-нибудь отблагодарить людей, спасших его от голодной смерти. Но прежде чем он успел сообразить, что нужно для этого предпринять, в юрту вошел Кырса, держа в руках кусок вареной сохатины. Илейка сел в постели и смутился. Кырса, взглянув на него, сказал:

— Возьми и ешь. Мы хорошему гостю рады.

Илейка понял, что его любят. Он начал есть, громко чавкая от удовольствия. Теперь он уже знал, что надо делать. Он встал, взял топор и пошел в чащу, там вырубил смолистый корень лиственницы для лука и несколько тонких березок для стрел. Когда солнце стало садиться, вернулся на становье усталый, но довольный.

— Видно, и ты промышлял раньше зверя? — спросил Кырса.

— Я промышлял железо,— ответил Илейка.— Но кое-что понимаю и в зверином деле.

Кырса с восхищением посмотрел на него и предложил свою помощь. Он сшил для него новые олочи, рассказал о всех зверевых местах, которые знал.

Охота увлекла Илейку. Он ходил промышлять: ставил капканы на выдр и бобров, без промаха попадал стрелой белке в глаз. Тунгусы относились к нему с уважением и восхищались его ловкостью.

— Ай, лоча<sup>1</sup>! Лоча все знает, все умеет!

---

<sup>1</sup> Лоча — так звали тунгусы и орочи русских.

В свободное от охоты время Илейка лежал у костра, слушал рассказы про тунгусскую жизнь, думал о своей матери-тунгуске... Кырса сидел на корточках, согнув черные, худые колени; рассказывая, обжигал на огне стрелы. Жизнь, про которую он говорил, была беспросветна.

— Прежде лучше жили ясашные люди. Кормили доволно, поили огненной водой, давали корм на дорогу. Теперь злая жизнь пошла.

Илейка лежал на спине, смотрел в бесконечную путошь неба.

А Кырса рассказывал:

— ...Послали меня в острог. Хотел я до белого царя дойти. Дали мне сорок добрых соболей, пять седых бобров, две выдры. Не дошел до царя. Плохо обошелся со мной воевода Головин.

Когтила сердце Илейки жалость и обида, повернулся на бок и сказал с досадой:

— Ты белых людей не тронь. У меня отец белый. Он научил меня избы теплые строить и железо ковать. Ты перестань жалобиться, гляди веселей, будет и у нас жизнь.

— Я не могу говорить добрые слова. Мой язык загрубел от горя, мой голос ослаб. Наша жизнь — плохая жизнь.

«Не понимает меня старик», — думал Илейка с болью. Он думал о многом и жалел, что не находил верных, доходчивых слов, таких, как у Томилы Довбача.

Однажды перед рассветом собака залилась лаем и, поджав хвост, кинулась к юртам. Страшный гик и улюлюканье обрушились на становье. Закинув рога на спины, широко расставляя ноги и вытянув шеи, олени понеслись в чащобу. Тунгусы повыскакивали из юрт и бросились наутек. Конные сборщики ясака ворвались на становье.

Илейка подбежал к озеру, сломил трубчатую камышину, сунул в рот конец ее и погрузился в воду. Он сидел там, уцепясь руками за корневища водорослей.

Когда Илейка вылез из воды, над юртами клубился дым. В недобром затишье чудилась Илейке смерть. Он посмотрел на пожарище, склонил голову и побрел в таежную глубь.

Была уже осень. На ясном холодном небе не было ни одного облака. Лес разукрасился в багряные, голубые,



желтые и коричневые цвета. Березы тихо роняли блеклые листья, ломились в сухую сердцевину лиственнок дятлы. Курлыкая, летели на юг журавли, пронзительно кричали по ночам гуси, залезали в дупла белки, медведи ладили берлоги. Только Илейка голодным волком скитался один, думал о счастье, которое не давалось.

Тайге не было конца. Вывороченные корни деревьев поднимались вверх, как скрюченные руки. Илейка огляделся вокруг, припал к старой дуплистой сосне и навзрыд заплакал. Все вокруг него жило своей жизнью, а его жизнь где? Лишь в этот миг он отчетливо уразумел тревогу своей матери: «Мое сердце плачет о тебе, сын мой».

В тайге сделалось сумрачно. Исчезли полосы света между деревьями. Протяжно и гулко зашептались деревья. Летучая мышь беззвучно подлетела к Илейке и затрепыхалась около его чуба. Он поднял голову и вздрогнул. Сквозь кусты в упор глянули на него горящие глаза волка. Илейка бесшумно отделился от сосны, пошел в гору искать более безопасное пристанище.

На вершине горы Илейка остановился — и не поверил своим глазам. В низине, как шкура седого бобра, серебрилась река, другая вливалась в нее. На стреле, образуемой реками, стояло несколько изб, а почти у самой горы маячила изба с высоким крыльцом. Вблизи нее кучились ометы соломы. В распадке, словно огромные черепахи, гуртовались амбары.

Илейка подавил в себе робость, крадучись подошел к омету, залез на его вершину, зарылся в солому. Тут было тепло. Он нащупывал необмолоченные колосья, растирал их и кидал в рот. Вдруг, почти рядом с ометом, послышались голоса. Илейка осторожно посмотрел вниз. Двое несли бочонок, а третий распорядился. Подойдя к омету, он сказал:

— Кладите тут!

Те, что несли, разгребли солому и сунули туда бочонок. Кто-то из них густо засмеялся.

— Теперь собьем спесь с Ярофейки!

Они ушли. То были выведывальщики тайной винной продажи. Илейка сполз с омета, отыскал кладь, вытащил пробку, налил вина в ладонь и понюхал. Острый запах защекотал ноздри.

Илейка несколько раз глотнул из ладоней, почувствовал приятную свежесть в голове и легкость в теле. Он счастливо усмехнулся. Ему даже захотелось петь. Потом его озарила смелая мысль. Глотнув для храбрости из бочонка, он направился к избе, взошел на крыльцо и постучал. Внутри избы слышались возня, шарканье, вздох.

— Ты, Андрейка?

— С добром! Впусти, не скаешься.

Брякнула щеколда. Со скрипом распахнулась тяжелая дверь. Могучий, широкоплечий человек глянул в упор. Из расстегнутого ворота его рубахи темнела заросшая густыми волосами грудь. Во всем его облике было много здоровой и грубой красоты. Перед ним стоял сам Ерофей Павлович Хабаров.

— Ну, проходи,— гостем будешь.

Он посторонился и смело впустил Илейку в избу. Тускло горел светец в отверстии печи. Строго глядели с полки суровые лики святых в закоптелых складнях, светились медью кресты, врезанные в деревянные доски. Окна были затянuty тонко оскобленным оленьим пузырем, но рамы можно было сдвигать на сторону — открывать. Большая печь была с трубой — изба не курная.

Хабаров запер дверь, прошел к печи, подкинул в светец смолья.

— Что молвишь?

— Уморился без людей. Забрел с добром к тебе.

Илейка, не таясь, рассказал правду о своей жизни. Хабаров слушал внимательно, остро прощупывая взглядом его неказистое обличье. Большие глаза смотрели из-под темных бровей бесстрашно и умно, чуть вздрагивала смоляная борода.

— Видать, горюн ты?

— Я сказал правду.

— За правду жалею милостью. Хочешь ли быть у меня приставником соляного промысла?

— Рад бы!

— Мне человек бойкий нужен. С тобой мы лапти сплетем и концы схороним.

Доверчивость пленила Илейку. Он с жаром поцеловал руку Хабарова, выражая готовность служить ему.

— Как звать?

— Илейка, прозвище Жук.

— Хорошее имя. Ну, веди, показывай клад.

Не мешкая, сходили они к омету, взяли вино, понесли в избу к солеварам. Грохнув бочонок оземь, Хабаров закричал:

— Эй, ухари, вставай живей! Знатная будет гульба.

Солевары испуганно подняли головы, начали протирать сонные глаза и, поняв в чем дело, повскакивали с нар, затем окружили хозяина и, немало дивясь щедрости, стали подставлять берестяные кружки и чашки. Пили, кричали, утирали бороды и вновь пили.

— Эх, крепко, да подносят редко!

— Пей, гуляй!

— Подлей-ка еще, хозяин!

— Будя! Заморили червяка, и довольно!

Ерофей Хабаров выпрямился, схватил Илейку за пояс, поставил на бочонок и поднес ему ковш.

— Ухари, жалую вас новым приставником. Люб али не люб?

— Люб нам приставник!

— Ну, а коли люб, обмоем его. Пей не жалей!

Илейка взял ковш в обе руки, осушил одним махом.

— За силу и за волю! — крикнул он.

Ерофей Хабаров налил и себе ковш, выпил.

— За удачу и за прибыль великую!

— Здрав буди, хозяин!

И снова пошла хмельная гульба. Шум, хохот, ералаш поднялся, как на торжище. Никогда еще не знали рабочие люди Хабарова такой веселой гульбы. Люди, на угрюмых лицах которых редко скользила улыбка, притоптывали ногами и вздрагивали плечами. Ерофей Хабаров, гордо подбоченившись, сам выступил вперед и пустился вприсядку, позабыв про все свои дела.

...В полдень пришли в избу Хабарова выведывальщики. С ними приказный человек Усть-Кута, боярский сын Еполей Бахтеяров.

Еполей сказал:

— Ведомо мне, хранишь тайное вино, убавляешь государеву прибыль.

— Нет у меня тайного вина и допреж не бывало. Я человек промышленной: хлебом и солью промышляю.

— Не скоморошничай, знаем доподлинно.

— А коли ведомо — ищи, — съязвил Хабаров. — Только с уговором: найдешь — я плачу двадцать червонцев, а не найдешь — ты мне. Зря порочить имя не дам, буду царю жаловаться.

— Добре!

Порыскав по избе, Еполей Бахтеяров предложил сходить к омету. Подойдя, жадно втянул ноздрями воздух, ухмыльнулся.

— Что у тебя тут, винокурня аль питейный погреб? Добренько что-то пахнет.

— Ищи, узнаешь, — в тон ему ответил Хабаров.

Давно собирался Хабаров свести счеты со спесивым приказным человеком и был доволен своей выдумкой. Выведывальщики дружно накинулись на солому, стали разметывать ее в стороны. По мере того как они трудились, лица их мрачнели. Еполей Бахтеяров забегал, загорячился.

— Поворачивайтесь! Ищите зорче... Эх вы! Ну, чего стали!

— Нет вина...

Ерофей Хабаров прятал в бороду ехидный смешок. Он только и ждал этой минуты.

Еполей Бахтеяров подбежал к нему и развел руками.

— Видно, бес попутал. И впрямь вина нет.

— Я за беса не в ответе. Давай червонцы!

## 9

Ерофей Хабаров стоял у раскрытого окна. На нем была рубаха из красного атласа и плисовые шаровары, вправленные в сафьяновые сапоги. Завитками кудрявился чуб. Подле него юлил и божился Андрей Грызов, приказчик соляной и хлебной лавки в Илимe.

— Гроша не утаил. Все чисто, как перед богом. Оскудела торговлишка твоя. Житья не стало от воеводского лихоимства. Намедни накинулись, словно псы голодные, воеводины служки на твою лавку, расхватали безвозмездно калачи, черемшу и соль, а меня за бороду отдрали и смертью пригрозили. А еще ведомо мне, сам воевода сюда жалует. На тебя обиду имеет: Еполейка, видно, цаябедничал.

Хабаров слушал жалобу приказчика, морщился, смотрел на свои тучные пашни из-под гари, на водяную мельницу, на соляные варницы. Возле соляных ключей спорилась работа. Взбодренные хозяйской щедростью, старались покрученники<sup>1</sup>. Одни рыли колодцы, другие поднимали бадьями рассол и выливали его в железные котлы, а затем испаряли воду, третьи выгребали соль в большие сковороды и просушивали на легком огне. Сухую соль ссыпали в лубяные кули, грузили в амбары. Управляя работой приставник соляного промысла Илейка Жук.

Хабаров чувствовал себя счастливым и сильным. Все, что он видел перед собой, принадлежало ему, возвышало его над всеми.

— Ты, Андрейка, не скули! — упрекнул он, оборотись к нему. — Не оскудеет мошна у Хабарова. Эвон, добра сколь!

Андрей Грызов посмотрел в окно и, льстиво заглядывая в глаза хозяину, сказал:

— Богатство дивное, глаз радует.

— А богатство и камень режет, и голову ест. Чуешь?

— Чую... Да все мы царева работники и под началом у воеводы ходим.

— Ты в голову много не забирай, мозги разбухнут. Знаю не хуже тебя. — И, подумав: — Ступай-ка в Илим и купи бочицу вина. Будет у меня разговор с воеводой.

Дело предстояло трудное и рискованное. Грызов съехался и взмахнул руками.

— Плетью обуха не перешибешь. Может статься, потеряешь и то, что нажил.

У Ерофея Хабарова задвигались брови и побагровело лицо. Грызов сказал правду, а ему не хотелось сознаться, что воевода сильнее его, обидно было, что приказчик говорит ему об этом.

— Перешибу я обух или нет — не твоя печаль. Ступай, исполни, что тебе приказано.

Когда Андрей Грызов ушел, Хабаров долго не мог успокоиться и ходил из угла в угол. Сообщение о приезде воеводы встревожило его, но эту тревогу он хранил про себя. Он знал, что воевода завидует его богатству и давно ищет удобного случая поживиться за его счет. Хабаров решил позвать воеводу в гости и узнать его намерения.

---

<sup>1</sup> Покрученники — батраки.

Все готовились к встрече знатного гостя. Неотрывно хлопотала хабаровская девка Алексашка у жарко пылюющей печи: жарила и варила пиршественную снедь. Несколько дюжих парней помогали ей. Одни резали поросят, другие потрошили рыбу, третьи расставляли столы и скамьи.

Андрей Грызов был послан с приглашением к воеводе, который накануне приехал и остановился у Еполея Бахтеярова.

К вечеру все в избе у Хабарова преобразилось и приняло праздничный вид. Посреди избы стояли столы, застланные каемчатыми скатертями; на столах высились груды горячих и холодных яств. В глиняных жбанах пенилось вино. В красном углу для воеводы было поставлено мягкое кресло, украшенное темно-синим бархатом. На широких скамьях чинно сидели покрученники: им было велено тешить во время пира знатного гостя. Они жадно поглядывали на столы, глотали слюну, но прикасаться к еде не смели.

Хабаров, потирая руки, весело обозревал свою трапезу, наслаждался счастьем богатого хлебосола.

— Ублаготворим, ухари, воеводушку? Потешим гульбой душу?

— Потешим, хозяин! Доволен останешься нами!

Андрея Грызова ждали с большим нетерпением. Он вскоре вломился в избу, пыхтя и отдуваясь. Огромная багровая шишка цвела на его лбу.

— Чуть уволок ноги, — сетовал он, всхлипывая. — Я переступил порог, попросил его на пир, а он посохом вытянул... Ажно искры из очей посыпались. Чуяла душа моя недоброе.

Покрученники начали было смеяться, но глаза Ерофея Хабарова сверкнули нехорошим блеском, и все замолчали. Лицо его стало угрюмым. Взмахом руки он пригласил начинать пиршество. Сам налил себе в ковш вина и выпил без единого выдоху. После него потянулись к вину гости. Разговоры стали звончее, несвязнее и веселее.

Ерофей Хабаров пил молча, досадовал на себя и злился на воеводскую спесь. От вина и злости лицо стало бледным, только концы ушей налились кровью. Он кинул

ковш на пол, поднялся во весь рост и, сжав кулаки, крикнул:

— Заткни глотки, ухари, говорить буду!

Все замолчали и стали пристально смотреть на него.

— Спесив наш гость нынче, да не беда; найдем ему замену. А путе-ка, бегите в закут, волоките свинью. Ну, живей!

Дружный хохот встретил его слова. Послышались здравицы хозяину за веселую выдумку. Визжащая свинья была втащена в избу. Хабаров встретил ее отменной лаской; велел посадить в красный угол, привязать к креслу. Сам униженно прислуживал ей: потчевал лучшими кусками, поил вином, величал воеводским чином.

— Ешь, воеводушка, да не гневайся!

Свинья жадно хватала подносимые куски; пьянела от вина, повизгивала и охала.

А в этот же час бежал к воеводе приказной выведывальщик. Он бежал не щадя ног; рванул дверь и упал Петру Головину в ноги.

— Батюшка!.. Промышленной человек Ярофейка сотворил ноне срамной пир и на том пиру глумится над твоим чином и кощунствует...

Воевода не дал ему договорить, ударил тяжелым посохом об пол.

Под потолком зажужжали разбуженные мухи.

— Немедля позвать мне того Ярофейку! Доставить живого или мертвого.

Охранные стрельцы кинулись выполнять приказ. Изогнув стан, подошел Еполей Бахтеяров.

— Ярофейка оброка не платит, беглых самовольщиков емлет и сам к изменному делу склонность имеет. Много раз поносил он тебя матерной бранью и похвалялся, что ты ему не страшен. Об этом слал я тебе челобитную.

Петр Головин встал и заходил из угла в угол, постукивая посохом.

Со связанными руками Ерофея Хабарова ввели в приказную избу. Хмель еще играл в его голове. Он смело глянул на воеводу. Петр Головин подскочил к нему и задрожал, задыхаясь от гнева.

— Я воевода государев! Захочу и всех выведу... Убью и ответа не дам ни царю, ни богу за тебя, злоязычника!

Он ударил Ерофея Хабарова посохом и, утолив злость, начал допрашивать:

— Пошто оброк не платишь! Пошто беглых людишек государевых емлешь? Пошто над моим чином глумишься?

Удар несколько отрезвил Хабарова. Он поднял голову, заиграли желваки на скулах, глаза метнули недобрые огни.

— Оброк плачен исправно. Подушные деньги за покрученников внесены. Десятая часть жатвы свезена в государевы житницы. Я хозяин — что хочу, то и делаю.

— Я тебе не рублевый гость, а царский слуга. Я из тебя дурь выблюю! Вместо десятой давай пятую.

— Эй, воевода, на мое добро не зарься. Не тобой нажито, не тебе и счет вести. Я тоже радею государеву делу. Я и на тебя управу найду.

Петр Головин выронил посох, схватил Хабарова за бороду, вырвал клоч, бросил себе под ноги.

— Вот тебе за продерзости! Вот тебе!.. Вот!

Побежав по избе, он взял из рук Бахтеярова посох, постучал им в иступлении и снова стал перед Хабаровым, важно запрокинув голову. Он хотел запороть Хабарова на кобыле, но, вспомнив царский указ, переменил решение.

— Достоин ты кары лютой, — сказал он, — но в людишках терплю оскудение. Велю взять тебя с покрученниками твоими и за то великое глумство к заводу рудному приписать, а борошно в казну государеву забрать.

Ерофей Хабаров страшно повел глазами, шагнул к воеводе и плюнул в лицо. Стрельцы схватили его и поволокли в холодную клеть.

Утром погнали знатного жителя Усть-Кута, промышленного человека Ерофея Хабарова, со всеми покрученниками в Илим. Шел он гордо, дерзко глядел по сторонам и молча, с болью, прощался с нажитым добром. С ним рядом шагал илимский рудознатец Илейка Жук.

Над ключевым распадком клубился дым. Сохли от него деревья. Там, где прежде колыхались под ветром буйные травы, мутнело озеро. Кочки вокруг него чернели, как лохматые головы. На плотях суетились люди, чер-



пали болотную руду ковшами и на сухом месте складывали кучи из мелких рудных орешков. Возле утеса стучали и звенели кайлы. Здесь ломали и дробили рудный камень.

На горных склонах, дымя, тлели высокие, обложенные дерном углевые костры. Дни и ночи не отходили от них закоптелые углежогои. У плотины толчейщики и промывальщики размельчали и промывали руду, очищали ее от пустой породы. Носильщики насыпали очищенную руду в ивовые корзины, несли к горнам и засыпали руду вперемешку с древесным углем.

Вода по желобу текла на лопасти большого колеса. Крутилось водяное колесо медленно и шумно. Тяжело пыхтели воздуходувные мехи. Глухо стучали, поднимаясь и опускаясь, отжимочные молоты.

Делали на заводе соболиное железо, клейменное сибирским гербом: двумя стоящими на задних лапах соболями. За дурное поведение, за лень и непослушание секли работных людей, за побег заковывали в цепи и направляли на самую тяжелую работу. Для ловли гулящих людей и самовольщиков по всем дорогам и рекам были расставлены сторожевые. Не стало ни проезда, ни прохода.

Работа начиналась за час до восхода солнца и кончалась через час после заката. Стрельцы ходили по заводу с плетями: следили, чтобы между работными людьми не было крика, празднословия и нареkania на рудознатного мастера и воеводу.

Возле сыродутного горна, в дыму и копоти, хлопотал мастер плавильного дела Томило Довбач. Борода его пожелтела, стала клочковатой. Лицо пропеклось, осунулось, избороздилось морщинами, — было оно холодно и покорно. Вся одежда его состояла из пестрядинной старой рубахи и таких же штанов. Ворот рубахи был открыт, словно старик хотел насквозь прогреть свою широкую костистую грудь.

Томило Довбач расплавлял руду, затем ломом мешал железное месиво, сгущал в форму ядра, выворачивал из горна, обламывал шлак, разделял ядро на несколько комьев и, захватив длинными клещами, передавал ноздреватые куски под обжимочный молот. Степан Поляков подхватывал грузные комья такими же клещами, нес к наковальне, чтобы удалить жидкий шлак, оставшийся

между частицами вываренного железа. Степан едва передвигался. За непокорство и дерзость на три дня надели на него рогульку: ноги сковали железными, на шею навесили двухсаженную цепь с тяжелым деревянным чурбаком.

Обжимочный молот напоминал собой стойку дляковки лошадей. От водяного колеса тянулся деревянный вал с шишками наподобие кулаков. Вращаясь над молотовищем, они поднимали и опускали молот, который ударял по железу.

Обжатую молотом крицу<sup>1</sup> Степан Поляков снова передавал Томиле Довбачу на варку. Обработка длилась до тех пор, пока железо не приобретало нужной плотности.

Ритмично покачиваясь, Вассушка двигала рукоять воздухоудувного меха. Под глазами у нее резко выделялись лиловые круги. Рубаха на ней пропотела и обтягивала плечи, словно вторая кожа.

Дробный звон колокола возвестил о шабаше. Весь мокрый и закоптелый, Томило Довбач бросил лом, вытер шершавой ладонью пот с лица и, подозвав Вассушку, послал по воду. Поддерживая чурбак, подошел Степан Поляков, сел на него, достал из-за пазухи краюху хлеба и разломил на три части. Вассушка поставила берестяной тues с водой, взяла хлеб.

Ели молча. Торопясь откусывали жесткий хлеб, поочередно запивали ключевой водой. Отобедав, Томило Довбач долго мялся, кряхтел, потом уперся взглядом в землю и, не поднимая глаз, сказал:

— Ты... того-этого, оставь мех — другая на твое место будет. Ты натрудилась довольно. Сам Сельбот тебя жалует милостью. Стрелец наказывал передать: к себе зовет.

Вассушка побледнела. Она скорбно посмотрела на Степана Полякова, и ясные глаза ее замутились вдруг слезами.

— Умру — не пойду. Знаю, зачем кличет.

Степан Поляков забренчал цепью и крякнул, потом легко положил ей на плечо руку и лукаво подмигнул.

— Иди, не брыкайся! Ты девка пригожая, сумеешь растопить сердце. А растопишь — не зевай. Ну, иди!

---

<sup>1</sup> Крица — руда после обжига.

Вассушка заплакала, но звон колокола не дал ей выплакать свое горе. Она беспомощно оглянулась и побежала к плотине. Томило Довбач стоял, закусив ус, хотел сказать девке ласковое слово, но только рукой махнул и пошел к горну. Степан Поляков взял свой чурбак в руки, побрел за Томилой.

Вассушка долго глядела на свое темное, дрожащее отражение в прозрачных струях и не узнавала себя. Она чувствовала, как эта дрожь передавалась ей, холодила кровь. Она закрыла глаза и стала клониться к воде, но, спохватившись, торопливо умылась и посмотрела на взгорье. В зелени утопал домик приставника Карла Сельбота. У ворот сияли на солнце две медные пушки.

Вассушка пошла прямо на них...

Она переступила порог, опустилась на колени и склонила голову. Вдоль ее спины, извиваясь, легла шелковистая коса. Через открытое окно врывается ветер, шевелит мелкие пушистые завитки на висках и смуглой шее. Карл Сельбот поднял ее и, сделав шаг назад, не спеша стал разглядывать девушку, любясь ладным телом и красотой лица. Он спросил, как зовут, но, не получив ответа, предложил жить прислужницей в его доме.

— Очень хорошая жизнь. Приятно работать. Весело, как это говорится, коротать дни.

Не поднимая головы, Вассушка чуть всхлипнула. Карл Сельбот недовольно насупился. Он подошел к ней вплотную, взял за подбородок. Его обожгли яркие, слегка припухлые глаза, блестящие слезами, просьбой и молодостью.

— Ух, дикие глаза! Как это говорится, дикость... Люблю дикость!

Затаив дыхание, Вассушка молча вытягивала шею. Ее лицо выражало страх, а губы вздрагивали. Карл Сельбот схватил ее и поцеловал. Он почувствовал теплоту ее губ и холодок ровных белых зубов. Лысина его густо покраснела, глаза загорелись, он задышал часто и тяжело.

— Приятная девушка. Как это говорится, огонь девушка!

Вассушке стало жарко, она коротко вскрикнула, уперлась руками в бритый подбородок, укусила за щеку, рванулась из рук его и выпрыгнула в окно. Чьи-то цепкие пальцы схватили ее за косу. Сердце у нее быстро заби-

лось и вдруг остановилось, — до сознания дошел хриплый голос сторожевого стрельца:

— Не уйдешь, касаточка... Не уйдешь! Эх ты, сердешная! Ну, будя биться-то, будя...

## 12

Завод окружала высокая деревянная стена. В небо упиралась двухъярусная караульная башня. Вход замыкали грузные створчатые ворота. Пока стрелецкий десятник перекликался со сторожевым стрельцом, Илейка успел разглядеть на воротах девичью косу, припечатанную к доске воском, с крупной меловой надписью. Гневом дрогнуло сердце Илейки. Он стоял не шевелясь, с широко открытыми глазами, лицо его наливалось кровью, губы вздрагивали.

Ерофей Хабаров нетерпеливо переступал с ноги на ногу. Опустив головы, задумчиво стояли его покрученники.

Загремел засов, распахнулись ворота. Илейка встряхнулся, глухо произнес:

— Мою любошу опозорили...

— Ну, не томись! Проходи знай! — закричал стрелец, замахиваясь на него бердышом.

Люди зашевелились и пошли в заводские ворота. Стрелецкий десятник вслух пересчитывал.

Гнали их на самую тяжелую работу: долбить рудный камень. Илейке легче было бы принять казнь, чем увидеть Вассушку на площади, стриженую и в рогатке. Она сидела в клетке, утыканной железными остриями. Сидела покорно и молчаливо. Только в глазах, хотя и помутневших, была жизнь. Когда она увидела Илейку, то схватилась вдруг за решетки и забилась.

— На тебя только и надеюсь я крепко и твердо! Где твоя дума, там и моя, где твое слово, тут и мое, всегда я буду в воле твоей! Пожалей, да не оставь, всеми покинутую и забытую, лапушка и любонька мой!

Илейка шагнул к ней. Внезапный холодок дошел до пальцев на ногах. Потрясенный, он искал для нее слово ласки, но, не найдя, склонил голову и побрел, проклиная неволю. Долго слышался ему голос Вассушки:

— Убей меня! Ну, чего же ты?.. Илько!..

У Илейки не хватило сил оглянуться.

Илейка долбил рудный утес. Изредка разгибал спину, смахивал мокрые волосы с потного лба и снова долбил, стараясь заглушить обиду и боль. Ему захотелось пить, но более того еще раз взглянуть на Вассушку. Когда пошабашили, он бросил кирку и взбежал на пригорок, но Вассушки на площади уже не было. Илейка побрел к плотине, свесив голову на грудь.

— Друже, отколь бредешь? Вот не чаял тебя тут зрети!

Томило Довбач схватил его, поцеловал в губы, завертел вокруг себя.

— Ну, чего же ты молчишь? Сказывай!

— Душа моя больше не играет. Жизнь опостылела...

И он поведал о жизни в бегах, о своем горе, о позоре Вассушки.

Облизнул жесткие усы старый казак, раздумчиво покачал головой.

— Эх ты, мягок дюже. Много еще неправды на свете, а ты не горюй. Голову держи выше и гляди веселей. Ну!

— Рад бы, да не властен. Пойду к воеводе, испытаю счастье.

— Брось, Илейко! Уж какой я резвый был, а и то уломали.

— Я еще потягаюсь! Я доишусь! Я до самого царя дойду!

— Баран с волком тягался, один хвост остался... Да сходи уж, утешь душу.

Шабаш кончился, стрельцы стали поторапливать людей на работу. Илейка надеялся разжалобить сердце воеводы, работал с усердием, а когда стемнело, прямо с работы пошел к Петру Головину с челобитием на приставника.

Фролка встретил его бранью и угрозами, не пускал в неурочный час.

Илейка отпихнул его от двери, вломился в опочивальню воеводы и растянулся на полу.

— Дозволь, батюшка, челом удариться?

— Говори, рудознатец.

— Обременил приставник Сельбот людишек твоих непосильной тяготой. Баб и девок берет к себе на потребу. Любошу мою опозорил, мать извел, через то и я в бегах обретался. Нет житья мне, на тебя одна надежда.

Петр Головин приподнялся на локоть с низкого широкого ложа, зевнул, позвал дьяка. Фролка мягко подошел, сложил на животе руки.

— Дьяк, что молвишь по сему делу?

— С правдою усмотря, не вижу в том обидного воздыхания. Дюже сей челобитчик озорной и дерзкой.

Петр Головин насупился, поскреб под мышкой. Лесть Фролки была ему неприятна. Дьяк не понимал всей сложности дела, жил корыстно, для себя. Справедливость жалобы Илейки не вызывала сомнений, но озлоблять царского приставника ему не хотелось. Дело было не только в этом. Железородный завод стал целью жизни, его надеждой. В заводе таилась большая сила, будущее воеводства, его слава. И как только Головин подумал об этом, замолк голос его совести: жалоба Илейки показалась ему и несправедливой и дерзкой. Он повелел:

— Фролка, жалобщика прогони, а девку его за блудство предай раскаянию. В монастырь ушли.

Дьяк набросился на челобитчика и вытолкал за дверь. Пошатываясь, Илейка побрел, не раздумывая. Ноги сами вели его в царский кабаk.

— Я доищуь его головы. Я доищуь правды,— шептал он, шагая и спотыкаясь во тьме о рытвины и корневища.

У кабака, уткнув лицо в землю, лежал пономарь Африкан Шука. Саватей Храп мазал ему виски дегтем. Когда Илейка подошел, Храп обернулся к нему и сказал:

— Опился раб сей господен хмельного питья, и вселился в него сатана блажной. А я, грешный, стою возле него и маюсь: от хмеля к жизни привожу.

Африкан Шука пробовал подняться, чихал, скрежетал зубами, охал.

— Ишь разбирает!..— сокрушался Храп.— Дюже лик его теперь непотребен, и велика мука душевная. Ну, да пусть его мается. Побредем, молодец!

Они вошли в кабаk. Никто не поднялся, никто не взглянул на них. На шестке вздрагивал жировик. За стойкой, в дымном чаду, стоял целовальник. За питейными столами пировали на свои скудные гроши кабальные люди, отводили смутные души. Из кабака никто и ни за что не смел их взять, потому что это могло помешать приращению царской прибыли. Отдельно, за круглым большим столом, сидели работные люди; среди них были Томило

Довбач, Ерофей Хабаров и Степан Поляков. Савватей Храп, заметив их, обрадовался и подсел к ним. Илейка остался стоять у порога.

Опустив голову на край стола, дремал отставной стрелец, потом неожиданно очнулся и крикнул:

— Ох, грехи мои! Водки!

Кабацкий ярыжка подбежал к нему с глиняным жбаном, сорвал с пояса оловянный ковш, учтиво сказал:

— Рони деньгу, тешь душу!

Стрелец бросил ему на ладонь деньги, понюхал вино и уставил на него горячие злые глаза.

— Эх, погиб я душой и телом!

— А ты не смутничай. Пей — полегчает, — отозвался ярыжка на его обидчивый голос.

Слепой старец сидел на бочке в углу, ворочая мутными белками глаз. На его впалой груди висел на шнурке железный крест. Он перебирал струны кобзы, вслушивался, о чем речь.

Степан Поляков выпил, оглянул всех тоскующим взглядом, замотал чубатой головой.

— И похожено, и поброжено, а не чаял, что на родине заполонят.

У Илейки заблестали глаза, лицо налилось кровью, резко обозначилась на лбу глубокая морщина.

— Оттого родина мачехой стала, что иноземцы нашу землю осквернили. У Сельбота в руках наша воля. Немец с воеводой в сговоре.

Все обернулись на его голос. Целовальник перегнулся через стойку и сказал:

— Эй, молодец, такого не мысли! Чуешь?

— Чую!

Томило Довбач поднялся со скамьи и, узнав Илейку, покачиваясь, пошел к нему навстречу. Илейка был не похож на себя.

— Полно горевать тебе, ты поспел в самую пору. Садись с нами да выпей.

Довбач усадил его на скамью возле себя и наполнил ковши вином.

— Мне теперь в дружбе только и радость, — вздохнул Илейка. — Я теперь сам не свой.

Хабаров мельком взглянул на него, встал и, обращаясь к гулякам, сказал:

— Ухари, выпьем за дружбу!

Поднялись чаши, раздался глухой звяк, на минуту все затихло, потом все разом загалдели и заспорили.

Старец поднял незрячие глаза кверху, заговорил:

— Соизвольте выслушать, люди добрые, словеса немудрые, вестные, как в стары годы прежние жили люди старые...

— Скажи, скажи, вещун, послушаем твою брехню.

— А и то-то, родимые, были веки мудрые, народ любящий. Живали старики не по-нашему, по-заморскому, а по-своему, христианскому. Вставали раным-раненько, с утренней зарей, умывались ключевой водой со белой росой. Молились всем святым угодникам, кланялись всем смелым людям от востока до запада. Выходили на красен крылец со решеточкой, созывали верных согласников на добры дела. Старики суд рядили, молодые слушали. Старики думывали крепкие думушки, молодые бывали во посылушках. Бывали радости шумные на велик день, бывали и беды со кручинами на великое сиротство. А что было, то бывьем поросло, а что будет, тому быть уж не по-старому, а по-новому. Дай же, боже, добрым людям долгое житье, а родимой стороне и доле того. Поднесите, люди, чарочку слепому и сирому певуну.

Ерофей Хабаров поднес старцу чашу.

— Выпей, ведун, ублажи душу. Выпей за потеху знатную и за песни веселые.

Савкатей Храп сглотнул слюну, и льстивая улыбка сбежала у него с лица. Он просто и серьезно сказал:

— Смутно и мне жить стало, побежал бы и я, братушки, сам не знаю куда. Налей, добрый человек, и мне чарочку.

— Ну, уж коли к нам пристал, выпей и ты.

Слепой старец выпил вино, вернул чашу и, ударив по струнам кобзы, запел:

А кое ж' море всем морям отец?  
И который камень всем камням отец?  
Ах, Латырь-море всем морям отец.  
И Латырь-камень камням отец.  
Почему ж Латырь-море всем морям отец?  
Почему Латырь-камень всем камням отец?  
Потому Латырь-камень всем камням отец:  
Лежит он посреди моря, посреди синего,  
Идут по морю много корабельщиков,  
У того камня останавливаются.



Они берут с него много снадобья,  
Посылают по всему свету белому.  
Потому Латырь-море всем морям отец,  
Потому Латырь-камень камням отец.

Степан Поляков грохнул кулаком по столу. Загудели и смолкли струны кобзы.

— Я знаю, где то море!

Все придвинулись к нему, жадно вытянули шеи.

— А ну, скажи?

— Надо плыть Леной-рекой до самого Студеного окиян-моря. По морю тому до высокого камня ехать. А тот камень в море прошел далеко стеною, а конца его никто не знает и объехать не можно: льды великие не пропускают. Там льды шатаются, трутся краями, идет по морю шум и вал такой, что рядом друг от друга голоса не слышно. Много по берегу морскому рыбьей кости и слоновового рога. А оберегают добро сыроядцы, рыбьегокожие люди. Они закона не знают, идолам поклоняются, духа воинского не имеют. Жрут они всякую скверну, ездят на псах. На долгую ночь прислоняются к дереву и погружаются в спячку, а весной воскресают. И тогда происходит среди них великое шумство и гогот. Если проплыть то Студеное море, миновать царство стужи и мрака, откроется страна райская. Там вечно светит солнце, там — радость и счастье.

Все слушали его, зажмурив глаза. Во всей красе вставала перед ними обетованная земля, сулила волю и богатство. Слова, как острие ножа, впивались в сердце Ерофея Хабарова, мutilи и будоражили ум. Доводилось и раньше слышать ему о стране сокровищ, но пути он не знал.

— Так по Лене плыть, сказываешь?

— По Лене, до самого Студеного моря и морем до той страны. А сухопутом пройти не можно. Нет там ни дерева, ни камня, ни земли, а ледяная накипень. Не может устоять на ней нога ни человека, ни коня. Потому и пользуются для своих надобностей сыроядцы псов с когтями великими.

Ожили, засверкали глаза у Илейки, учащенно забились сердце.

— Эх, попытать бы счастья!.. Все, кажись, отдал бы, чтобы взглянуть на счастливую землю.

— И то не худо,— поддержал его и Томило Довбач,— по новым местам и я затомился. Охота дознать: живут

ли где люди советно да вольно, давно хочу посмотреть на счастливых людей.

Даже целовальник и тот не выдержал. Складность выдумки восхищала его.

— А брешет ладно... Без вина от бреху опьянеешь. На него цыкнули. Старец вздохнул.

— Эх, смутники! Суета суетствий и всяческая суета.

— А сколь до той страны ходу? — спросил Савватей Храп.

— Ходу, батя, столь, сколь до чертей броду. Мерил черт да Тарас — и веревка оборвалась. Тебе не доплыть, батя.

Степан Поляков остудил разгоряченные головы гуляк. Пошли толки и споры. Хабаров облокотился на стол и закрыл глаза. Он сидел неподвижно, его беспокойное и жадное воображение рисовало ему то мрачные, то радужные образы. Хабаров был твердо убежден, что страна изобилия и плодородия, о которой ходило множество заманчивых слухов, существует на самом деле.

И был готов к любым испытаниям.

Пока он думал о далеком и трудном походе, о людях и снаряжении, в душу его ворвалась мысль о воле, о мести. Он припомнил все обиды на воеводу, все несправедливости и унижения.

Гуляки накинулись на него, требуя, чтобы и он сказал свое слово. Хабаров встал, глаза его сверкнули.

— Есть медок, да засечен в ледок. Надо, други, не языки чесать, а из неволи вызволяться.

Кабацкий ярыжка, проходя мимо, задержался и насторожил уши. Степан Поляков сердито его спросил:

— Чего стал? Родню, что ли, признал?

Ярыжка засеменял прочь. Старец ударил по струнам и запел про смелых корабельщиков.

Савватей Храп икнул, завистливо посмотрел на крутые мускулы Степана Полякова.

— Стоит, братушки, град пуст, жителей в нем нет. А растет в нем куст, и пути к нему нет. Ох, плачет душа моя.

— Ты лучше бы помолчал, батя.

— Пошто душу растревожил? Пошто душевного покоя лишил?

— Отстань, поп!

Гуляки переглянулись, теснее сбились возле стола. Ерофей Хабаров склонился и, наливая чаши, зашептал:

— Давай сообща разнесем Илимский острог, двор боярина, всех подручных его — и айда по Лене ватажить!

Дума Хабарова многим пришлась по сердцу. Томило Довбач поднял чашу.

— То правда! Зло злом выгонять надо. Давно и моя дума о том.

Илейка восторженно с ним чокнулся.

— Лучше погибнуть, чем в неволе жить!

### 13

Бунтовской круг собирался в лесу. Под покровом ночи обсуждали работные люди свои тайные дела. Была это уже по счету пятая дума.

На старом лишаистом пне сидел Ерофей Хабаров. Окружив его, на прелой листве полулежали его согласники: Томило Довбач, Илейка Жук и Савватей Храп. Степан Поляков советовал тайно пробираться небольшими ватагами на Лену к торговым людям, плыть с ними в найме до удобного места, затем, скопившись, ограбить суда и на них плыть к морю.

Ерофей Хабаров предпочитал действовать открыто и решительно.

— Али в стремя ногой, али в петлю головой. Бояться нам не пристало.

Он предлагал Савватею Храпу в условленный час ударить в колокола храма Нерукотворного спаса и по набатному звону кинуться всем на Илимский острог, убить воеводу и Карла Сельбота, ограбить боярских детей и других пожиточных, служилых и промышленных людей, а затем всем скопом пойти на Лену и, захватив богатый караван судов купца Якова Ярлыкова, плыть вниз по Лене до моря — и до теплой страны.

Томило Довбач слушал его с восхищением, а когда тот кончил, бросил шапку, поднял и вновь бросил.

— Добре сказано! Возьмем ломы, кайлы и топоры. Кому не хватает того-этого, пусть наберут камней. За волю! Пусть соединит нас святая клятва на этом слове!

Вблизи заголосил филин. Крик его был похож на крик ребенка.

Ерофей Хабаров встал. Под его ногами треснул сучок, и все вздрогнули.

— Видно, нет таких, кто не хотел бы вольным казаком быть? — спросил Ерофей Хабаров.

— Таких нет! Но будет трудно, — засомневался Савватей Храп.

— А тепло любить, надо и дым терпеть. Биться будем, не щадя голов, добудем волю. Ну, а если сомнут нас, так ляжем костями все до единого. Согласны? — горячо произнес Хабаров.

— Правда твоя, — заключил Томило.

— Расходитесь остерегательно. Завтра в ночь ждите набатного звона.

Люди поднялись и, осторожно раздвигая кусты, разбрелись по лесу. Илейка шел с Томилой Довбачом. Предчувствие чего-то неизведанного, страшного закралось ему в душу. Вместе с тем он ощущал в себе легкое, радостное чувство.

— Тебе не боязно? — спросил он, смущаясь.

Томило Довбач замедлил шаги, взглянул на Илейку.

— Бояться мне нечего. Больно я жизнью взыскан. Всяко бывало: вкривь и вкось, наг и бос, бит и в неволю брит. Мне теперь, сынок, ничего не страшно.

Илейка схватил его за большую, узловатую руку и в первый раз по-настоящему понял, насколько ему близок и дорог человек, которого Бимба величала названным его отцом.

## 14

Всполошил ночью тишь набатный звон. Вмиг открылись двери работных лачуг, и повалил подневольный люд на воеводский двор добывать счастье. Прорвалась злоба, бежал люд со всех сторон. Одни были босые, другие в олочах.

Стрельцы бросали бердыши, многие присоединялись к бунтовщикам. Кто не отдавал оружия добром — отнимали силой. Стрелецкого сотника схватили и, повалив, забили ногами до смерти. Митрейку Сыча разорвали на куски. Ерофей Хабаров бежал впереди, подогревая ярость.

— Круши псов! Бей недругов!

— Ай-ай-ай...

Гуляки выкатывали из кабака огромные бочки с вином, выбивали днища и черпали, кто чем мог: чашами, шапками и даже ладонями. Пили, как воду.

Савватей Храп покинул колокольницу и присоединился к гулякам.

— Пей, не вались!

— Братаны, душа зашлась! Ой, нутро жжет!..

Африкан Шука опился и умер тут же возле бочки, но никто не обратил на него внимания. Степан Поляков завернул в кабак и вскоре вынес на руках целовальника. Он остановился среди гуляк и высоко поднял его над своей головой. Целовальник болтал руками и ногами, молил о пощаде.

— Спасите, крещеные! Ой, да за что же мою душу губите?! Ой, детушки! Ой, православные!

Поляков подержал целовальника перед толпой, затем поднес к бочке и сунул головой в вино.

— Нас поил, теперь сам пей!

Толпа приостановилась и, жадно глаза на вздрагивающие ноги целовальника, затихла.

— Чего глаза пялите? Айда на воеводский двор!

Люди снова зашумели, закричали, кинулись к воеводским избам. Томило Довбач взбежал на крыльцо первым, поплевал на руки и, широко расставив ноги, со всего маху начал бить кузнечной кувалдой в запертую дверь. Дьяк Фролка не выдержал грохота и, глянув в оконце, забился под широкое воеводское ложе.

— Господи, спаси и помилуй мя, грешного!..

Его заметили в окно. На дверь навалились и выдавливали ее плечами.

— А ну, вылезай, дьяче!

Илейка схватил его за космы, вытащил, поставил на ноги. Хабаров подступил к дьяку.

— Где воевода? Указывай, не то карачун тебе будет!

— Для сбора пошлин и производства суда по ясашным зимовьям поехал, — жалобно прохрипел Фролка и повалился в ноги. Томило Довбач взял его за перевязь кафтана, покрутил вокруг себя, кинул в людскую гущину. Десятки рук разом потянулись к тощему телу дьяка, разорвали на клочья.

— Огня! Огня!

— Поминай Фролку!

— Круши, ухари!

И запылали воеводские избы, поварни и скотские хлевы. Ерофей Хабаров, освещаемый отблесками пламени, поднялся на крыльцо уцелевшей избы.

— К заводщику, ухари! В гости к приставнику!

Его клич был подхвачен десятками голосов и еще пуще взъярил толпу.

— К приставнику! Айда к приставнику!

Ломая и круша все на своем пути, живой, шумливый поток ринулся к дому приставника железорудного промысла. Возле пушек засуетились пушкарки, блеснул огонь. По второму разу выстрелить пушкарям не удалось. Их схватили, привязали к пушкам и столкнули с горы вместе с пушками.

Дом подожгли с четырех углов. Карла Сельбота вытащили из опочивальни в одной сорочке. Лысина его густо налилась кровью.

— Я человек самого государя. Меня, как это говорится...

— Говорить будешь у черта в зубах!

— Смерть кату!

Его раскачали и бросили в огонь. Пламя быстро слизнуло белоснежную сорочку, люди с любопытством и ненавистью смотрели на адовы муки приставника.

Насытив ярость огнем и кровью, люди сбились в кучу, стали готовиться к ночлегу.

На рассвете подул ветер, поднял тучи золы и пыли. Дымя, догорали головешки, стояли обгорелые столбы, валились трупы охранных стрельцов.

Над пожарищем вился вороний грай.

Работные люди проснулись и, не веря глазам своим, начали недоуменно переглядываться и перешептываться. Им стало страшно от содеянного. Потом сгучились возле главного заводчика бунта. Некоторые, боясь расплаты, стали осуждать себя за горячность. Человек с бельмом выступил из толпы, поскреб лохматую голову.

— Ну, заварил кашу, не жалея масла.

Ерофей Хабаров встал с земли, зевнул, потянулся так сильно, что хрустнули суставы. Был он могуч и страшен: лицо в сажу, глаза кровянистые, кулаки сжатые.

— За кус не боюсь, а горяченько сделаю! Ну, чего головы повесили? Эвон земля какая, не обнять!.. Свобода и простор!

— Дело молвишь,— поддержал Томило Довбач.—

Когда железо кипит, тут его и ковать. Пойдем на Лену, пошарпаем берега, а там видно будет.

Люди повеселели. Растопилась хмурь на их лицах. Все возбужденно заговорили:

— Нам все равно, лишь бы в добре быть!

— Была бы уда, а рыба будет!

— Эх, времена шатки, береги шапки!

Илейка вскочил на кочку, вытащил из ножен булатный меч, кованный Томилой Довбачом, и, вручая Хабарову, закричал:

— Атаманом, братцы, ватага крепка. Так будь же у нас атаманом!

По толпе прошел гул. Взметнулись над головами ломы, бердыши, мечи и кремневки. Полетели вверх шапки.

— Будь атаманом!

— Будь здоров!

Ерофей Хабаров принял меч, поклонился на все стороны, взял горсть земли.

— Атаман я или нет — судить рано. Поклонемся, что все, как один, будем стоять за вольность и казацкое братство.

— Клянемся!

— Поклонемся помогать друг другу в нуже и выручать в беде своих согласников.

— Клянемся!

— Поклонемся же, если понадобится, умереть, не клоня головы перед недругом.

— Клянемся, атаман!

— Ну, с богом! Добудем славы и богатства. На Лену, ухари!

— На Ле-ену-у! Айда!

Бывалые, понимающие в ратном деле, казаки стали гуртовать людей на десятки и сотни. Выпятив грудь, Степан Поляков кричал:

— А ну, лапти к лапоткам, олочи к олочам! Становись: гуляка к гуляке, коваль к ковалю, мужик к мужику, а гораздее всего бедняк к бедняку. Ше-е-ве-е-ли-ись!

И пошли работные люди через кутский волок на великую реку Лену. Уходили от лихости воеводской в дикие, никем не меренные края, побросав жен и детей.

Впереди шел Ерофей Хабаров. С ним главные заводчики бунта: Томило Довбач и Степан Поляков. Путаясь

в полах рясы, поспешал за ними и Савватей Храп. Илейка, опередив ватагу, торопился на становье — подбивать тунгусов на смуту.

«Народ разный, а правда везде одна», — думалось ему. Это был удобный случай отблагодарить таежных людей за их гостеприимство в самые тяжелые дни его жизни. Кроме того, эта правда давно жила в его душе.

Весть о приходе Илейки Жука быстро разнеслась по становью. Тунгусы бросили свои дела и обступили его, а Кырса, узнав, подбежал к нему и обнял, как сына.

— Говори, что задумал?

— Хочу высказать круговую думу работных людей. Согласны ли слушать?

— Говори скорее!

— Мы, илимские ковали, не хотим больше жить в кабале. Уйти хотим на волю. И вас зовем к себе на подмогу. Язык у нас разный, а дума одна и боль от воеводского кнута одинаковая. Если вы люди достойные, скажите о своем достоинстве.

Тунгусы стояли не шевелясь: в словах Илейки было что-то неслыханно смелое и заманчивое. Это была далекая и волнующая, но несбыточная мечта. Каждый носил в себе эту мечту, но боялся ее высказать вслух. Опомнясь, тунгусы подступили к Илейке.

— Ты говоришь мудро, как дух, но одолевают нас худые думы, — сказал охотник со следами аркана на шее. — Жить здесь тяжело и вперед идти страшно.

— Если худые думы одолевают вас, поверьте мудрому человеку. Есть ли среди вас мудрый человек?

— Мало осталось среди нас мудрых. Мудрее всех Кырса. Мы ему во всем послушны. Пусть за всех нас Кырса и скажет.

Кырса вытряхнул из трубки золу, встал рядом с Илейкой.

— Слышно бывает, перевал есть такой, перейти его невозможно. Не думайте о том, как будем переваливать. Слышно бывает, есть такая река, переплыть невозможно. Не думайте о том, как переплыть ее. Стоит только захотеть — и переплывешь. А на том берегу готовы нам юрты и олени. Надейтесь на себя, как на высокую гору. Надо идти!

— Кырса, будь у нас вожаком! Мы все пойдем за тобою.



— Кырса, будь вожаком!

Кырса не заставил себя долго упрашивать. Он велел собираться к трудной и долгой кочевке.

Тунгусы побили оленей, нагрузили охотничьи сумы мясом и пошли за работным людом добывать себе счастье.

## 15

Перед тем как ринуться на Усть-Кут, залегли в распадке и выслали вперед ползунов за вестями. Ерофей Хабаров взошел на гору и стал смотреть в низину, на прежнее свое добро. Все осталось таким же, как и было: шумя, крутилось мельничное колесо, в котлах вываривалась соль, стояли те же ометы почерневшей соломы, зеленели на полях тучные хлеба. Но теперь другие люди жили тут. В устье Куты стояли у причалов торговые суда верхоленского купца Якова Ярлыкова. В избе Хабарова поселился приказный человек Еполей Бахтеяров. И как только вспомнилось Хабарову это имя, закипела в нем ярость, захотелось заглушить боль, перевернуть все, что напоминало о прежней жизни, оставить памятный о себе след. Он выхватил меч и, призывно, страшно размахивая им, повел оголодавших людей на приступ.

— За мной, ухари! Бей! Режь недругов!

Дружно кинулась вольница на добычу. Запылали соляные амбары, приказные избы, сухие ометы. Взвился над Усть-Кутом густой дым. От множества людей закачались торговые суда. Кувыркаясь в воздухе, полетел за борт купчина Яков Ярлыков.

— Батюшки, не губи-и-ите! — взмолились гребцы.

— А вы кто?

— Мы подневольные!

— Подневольные, отходи в сторону!

Ерофей Хабаров и Томило Довбач творили на палубе скорый суд и расправу. Илейка приволок приказного человека Усть-Кута Еполея Бахтеярова. Хабаров заложил руку за борт кафтана, выпятил грудь.

— Поглядеть хочу — каков. Давно не видались...

Бахтеяров упал к его ногам, стал просить о пощаде.

— Не повинен я... Батюшко, видит бог, не повинен. Воевода-изверг...

— Не юли! Умел воровать — умеи ответ держать! Где воевода?

— Воевода ясашные зимовья проверяет. Батюшко, истинный бог, не вру... Отпусти душу на покойные!

— Чудно, — осклабясь, сказал Томило Довбач. — То воров звал, а теперь батюшко...

Он подступил к приказному, ловко изогнулся, схватил его за кушак и выбросил за борт. Бунтовщики ахнули, завидуя богатырской силе. Довбач гордо осмотрелся вокруг.

— Ермака-покойника вспомянул. Справедливый был человек. Ермак всегда так судил, за то мы и любили его крепко.

Ерофей Хабаров закинул голову назад и густо засмеялся. Бахтеяров вынырнул, захлебываясь, замахал руками. Илейка взял камень и бросил им в голову приказного человека. Пузыри пошли по воде.

По узкой сходне вбежал Степан Поляков. Он встал, уперев руки в бока. Ладный стан его уже облежала купеческая однорядка.

— Атаман, пора и честь знать! Гребцы у весел, кормишки у кормил<sup>1</sup>. За тобой слово!

Ерофей Хабаров похвалил за расторопность и подал команду к отвалу. Струги отчалили от берега.

— На-а-ле-егай!

И понесла река Лена казацкие струги на понизовье.

## 16

Клокотала и пенилась вода на переборах. Лихо проносились струги мимо пестрых каменных глыб. Не затишали песни, плясы и скоморошины. Гребцы легко взрывали веслами водную мякоть. Были у них светлые лица, широкие груди, крепкие руки.

С вершины самой высокой скалы пронзительно закричал белый сокол. Крик его пронесся по речной глади и звучно отозвался в ущельях.

Скалы вырастали из воды, сливаясь позади в одну линию, погружались в синеватую дымку. Перед обширной долиной горы расступились. Вершины стояли, как стражи.

<sup>1</sup> Кормило — руль, кормщик — рулевой.

Закачались на воде зеленые берега и лазоревое небо. На земляных насыпях запылали костры, заклокотало в медных котлах варево. Пообедав, легли на отдых гребцы. Смолкли песни. Покачиваясь, заскрипели в уключинах весла. Тихо, поджав под себя ноги, сидели сторожевые казаки.

Ерофей Хабаров лежал на спине и, щуя глаза, вглядывался в голубую пустошь неба. Медленно проплывал перед ним поток жизни: являлся во всей своей красе и славе город Великий Устюг...

В Устюжском уезде, где в семье пашенного мужика родился и вырос Хабаров, как и во всем русскѣм Поморье, пашенные люди жили землей, промыслами и торговлей. Некоторые даже в своих делах опережали купцов, получали звания купцов и переселялись в города, другие становились передовщиками и уходили за Уральские горы добывать мягкую рухлядь и приискивать новые земли.

Великий Устюг всюду почитался за богатство, предприимчивость, благолепие храмов. Этот самый крайний русский город на Севере был военной крепостью и служил местом большого и оживленного торгова. Сюда поступали товары английских и голландских купцов, здесь жили устюжане — предприимчивые люди, среди которых много было разных умельцев: зодчих, возводивших дома и храмы из камня и дерева, отсюда вывозилось золотое шитье, печные изразцы, берестяные туеса и шкатулки с красивой чеканкой. Далеко окрест славилась устюжане чернью по серебру. Чернь, вставленная мастерами в серебро, не пропадала даже при ковке.

Великоустюжские купцы по всему белу свету торговали дарами северной земли, ездили до самого Царьграда, а по дороге учились то ремеслу заморскому, то искусствам, то грамоте.

На гербе города изображен старец. Бородатый, обнаженный по пояс, он лежит на берегу. В руках его два кувшина, из которых двумя струями льется вода, образующая третью, единую реку. За спиной водолея — устюжская церковь. Тут, на месте слияния Юга с Сухоной причудливо переплетались длинные торговые пути.

Делая герб, мастер вложил в него большой смысл. Кувшины — реки Сухона и Юг, при их слиянии — город. Сливаясь, реки рождают Северную Двину. Через Вели-

кий Устюг проходил главный путь Руси в Сибирь и на Архангельск.

Ерофей Хабаров любил этот город. Здесь зародилась его предприимчивость, проявился беспокойный и смелый ум, любовь к родной земле, к хлебопашеству. Но Хабарову не повезло в отчем городе. Дав купцу кабальную запись на соль и зерно, он не предвидел беды. В ту пору на Руси был сильный неурожай, высохли поля, обмелели реки...

Произошло такое, что страшно и стыдно вспоминать... Изба в черемуховой заросли над обрывом, река в блесках лунного серебра. Хабаров открывает дверь и видит картину, которая запомнилась на всю жизнь. У печи хлопочет жена, потрескивают дрова и постреливают искрами. На полатях, свесив голову, лежит сын Андрейка. Дым разъедает ему глаза, он трет их грязным кулачком и жалобно плачет. Из дымного тумана вырастает вдруг высокая стрелецкая шапка. Несколько дюжих рук хватают его и ведут в съезжую избу.

Седоусый допытчик заглядывает в глаза, вымогает долг. Хабаров выворачивает свои пустые карманы и молча показывает их допытчику. Его берут, выводят из съезжей и валят на землю. Один садится на плечи, другой на ступни ног. Бьют палками по ногам, выбивают долг. Бьют расчетливо, чтобы не забить совсем и не покалечить, но чтобы больно было... Деваться стало некуда: обещал вернуть кабалу, если отпустят промыслять зверя в далекие северные леса. Купец сообразил и поверил, но взял новую кабалу, вдобавок к первой.

Хабаров уговорил своего брата Никифора и племянника Артемия Петриловского, подобрали в Великом Устюге еще шесть гулящих людей бедолаг и поверстали их в покрученники. Образовалась артель, ее передовщиком стал Ерофей Хабаров. Все покрученники-наемщики обещали ему во всем быть послушными. Порешили идти за Урал-камень, в богатые зверем северные леса. Погоня за соболем привела их на реку Таз, в Мангазею. Дорога оказалась нелегкой: плыли по рекам Вычегде и Выми, затем волоком на Ухту и Ижму, оттуда на Печору и Усу, перевалили Урал, вышли на Обь... Шли через густые леса, через нехоженые болота и урманы. В Мангазее малость отдохнули, пополнили припасы и пошли соболевать.

Соболю, резвому, легкому и отважному зверьку, судьба уготовила важную роль как в жизни отдельных людей, так и всей страны. Соболю вел промышленников на север и на восток, заставлял открывать и осваивать новые земли. Несколько столетий соболя шкурка служила мерилем цен на мировом рынке и украшением для знатных особ. На меха покупались заморские вина и сласти для царского стола, разноцветные кафтаны, золото и драгоценные камни, пополнявшие государеву казну. Соболями и лисицами награждали бояр, одаривали иностранных властителей. Меха царь платил за молитвы о своем здоровье и за упокой предков. Русь поставляла меха почти для всего мира. Соболю соперничал с золотом.

Пушистые шкурки грудями лежали в хранилищах Сибирского приказа, и царь часто заглядывал туда, чтобы полюбоваться своим пушным богатством.

Казначей, ведавший меховой казной, или, как тогда говорили, мягкой рухлядью, безошибочно определял, какому кряжу принадлежит та или иная шкурка — Енисейскому, Якутскому, Баргузинскому или Амурскому. Кряжем называли место обитания соболя. Но и внутри кряжа было много различий в шкурках.

Каждое утро казначей принимал посыльных с государственной ясачной казной и оценивал меха. В назначенное время являлся царь и осматривал только что полученные меха. Сам ярый охотник, Алексей Михайлович любил эти часы. Переходя из хранилища в хранилище, он как бы совершал путешествие по охотничьим угольям России.

Сборщики пушнины связывали по сорок соболиных шкурок в один пучок, и назывался такой пучок сороком. Чем соболю был темнее и пушистее, тем дороже.

Сибирские соболя считались наилучшими и очень высоко ценились. У этого зверька темный мех имеет голубое, отливающее в синеву подпушье. Если дунуть на мех, шкурка как бы оживает, преобразуется. Иногда встречались и белые соболя с красно-желтыми брюшками и красными глазами. Эти оценивались выше обычных и назывались соболями князьками.

Что же это за зверек? Почему он в течение многих лет привлекал к себе внимание царственных особ?

На первый взгляд кажется, что зверек не заслужи-

ваает такой высокой цены и такого почета. Соболь чуть больше кошки, но тоньше и пониже ее, с маленькими стоячими ушами, пушистым хвостиком, кругловатой головой, острой мордочкой и удивительно веселыми и быстрыми черными глазами. Лапки у соболя мохнатые, с острыми, довольно большими когтями. Он весь темного цвета, с редкою серебристою проседью на спине, шерсть его мягка и пушиста. У некоторых соболей на брюшке, пахах и внутренних частях лапок шерсть светлее и даже желтовато-кофейного цвета, на шее и хребте почти черная.

Живут соболи в подснежных хатках, чаще в дуплах деревьев. Они не бегают, а прыгают, очень чистоплотны. Голос соболя похож на ворчанье или храпенье — уркает, пырскает, как белка. Когда хотят сказать о человеке хорошее, то говорят: «Отважен, как соболь», или: «Ходит, как соболь».

Прыгая по снегу, соболь находит зарывшегося в снег глухаря, вцепляется в птицу своими острыми когтями. Часто случается, что сильный глухарь поднимается с сободем в воздух и зверек катается на нем, пока птица не падает в изнеможении.

Получение мягкой рухляди было основной заботой властей. Ясак — дань, взимаемая с коренных жителей Сибири в натуре, — вот, в сущности, то, что вначале привлекало людей в неведомый край. Отчисление в казну натурой десятой части добычи звероловов было обязательным.

Ради мехов строились поселения, содержалась администрация, набирались войска, велось земледелие: Одни обживали угожие места, другие шли все дальше и дальше на север и на восток, чтобы найти новые соболиные места.

За мехами с давних пор ходили в Югру новгородцы, в более позднее время, в далекую Мангазею, смелые поморские мореходы и промышленники, за мехами кинулись добытчики на Енисей и затем на Лену. В числе таких добытчиков оказался и Хабаров с братом и племянником. Перед тем как начать охоту, Ерофей Хабаров приказал, чтобы промышляли правдою, ничего про себя не таили и тайно бы ничего не ели, чтобы, по обычаю предков своих, ворона, змею и кошку прямыми именами не называли. Согласно клятвенному уговору, ворона

именовали верховым, змею — худой, а кошку — запеченкой.

Никифор Хабаров сказал:

— Если к фарту, так соболя даст бог ни с чего, а уж запоперечит кривая, так хоть ты убейся, а соболя не добудешь.

— Божья воля, ухари, божья воля,— ответил Ерофей. Ему не нравились разговоры, в которых неудачи и удачи относились к случаю, к судьбе. Он верил в человека и хотел, чтобы человек держал будущее в своих руках. Его взгляды разделял племянник Артемий Петриловский. Этот даже богу не доверял и всецело полагался на ловкость и сметку человека. Он верил Хабарову и надеялся на него.

— Бог-то бог, да сам не будь плох!

Петриловский обрадовался, когда заметил, что дядя понравилась пословица, сказанная к месту.

Надели промышленники котомки и разбрелись по угольям.

Они охотились вначале в мангазейских лесах, потом на берегах Енисея. Оттуда проникли на приполярную реку Пясиду, что течет по Таймыру.

Время от времени ватажка собиралась в условленном месте, в охотничьем зимовьюшке. Наступала самая важная работа: мерзлых соболей оттаивали, положила себе на живот и сверху покрывая армяком или одеялом, после этого снимали шкурку. Снимал передовщик. Когда он был занят, все молчали и ничего не делали. Таков был обычай, и он свято соблюдался всеми.

На Севере ватажке здорово подфартило, они добыли много соболей и песцов. Ерофей Хабаров сдал рухлядь ясачному сборщику и рассчитался с покрученниками. За особое радение в добыче мягкой рухляди сборщик назначил Хабарова ценовальником, который обязан был вести таможенный досмотр, продавать соль и вино, следить за весами. Через два года устюжанин разбогател и вернулся в родные края. Может быть, Хабаров и жил бы в Устюге, если бы архангельский помор Пянда не распалил его воображение рассказом о новом и богатом крае, о неизвестных людях, о великой реке Лене.

Ерофей Хабаров встретился с Пяндой в Мангазее, когда слава о подвиге помора, об открытых им землях и реках разбежалась по всей Руси.

Пянда был отчаянный и предприимчивый человек: узнав, что за Енисеем есть великая река, он обратился к воеводе с просьбой отпустить его на неведомую Лену. Просьба пришлась воеводе по душе: можно было возвеличить перед царем свое имя и умножить свое добро. И вот отряд в сорок человек, который возглавил смелый и ловкий Пянда, отправился на плоскодонных лодках от Туруханска, вверх по Нижней Тунгуске, к неведомой Лене — великой реке Елюенэ.

В наказной памяти, данной Пянде воеводой, говорилось:

«Да буде река, и им велеть ездить по обе стороны реки и того смотреть, каковы у тое великие реки береги, и есть ли на них какие выметы, и есть ли какие угрожие места и лес, который бы к судовому и всякому делу пригодился, или горы, да буде горы, и какие горы, каменные ль, и сколь высоки, и есть ли на них какой лес или степные места, и откуда та река выпала, и куда устьем и в которую реку или в море впала, и рыбная ль река, и какова в ней вода, и мечет ли из себя вон на берег какой зверь...»

Путь к загадочной реке был труден и жесток. Бурная Тунгуска неприветливо встретила землепроходцев. Казацкие шитики бросало из стороны в сторону так, что они наполнялись водой, и надо было вовремя ее выливать. Временами плавник забивал русло до дна, и шитики переволакивались через него. Целый год пробиралась ватага по Нижней Тунгуске. Возле устья Кочемы казаки построили первое зимовье и жили в нем до весны. А весной, когда вскрылись реки, снова двинулись в путь. Продвигаться стало еще труднее: гуще стали пороги и завалы, чаще стали остановки. Казаки пополняли запасы рыбы и мяса, а Пянда отправлял в тайгу проводчиков.

— Вперед ступайте остерегательно, — говорил он. — Тунгусских или других иноверных мужиков ищите. Коль найдете — лаской, а не жесточью обходитесь. Расспрашивайте подлинно, как оная речка слывет, отколь вершиной пала, много ли соболя в лесах...

Только на третье лето, пройдя свыше двух тысяч верст, Пянда достиг истоков Нижней Тунгуски. Отсюда начинался волок на Лену. Об этом рассказали проводчикам тунгусы, промышлявшие зверей.



И вот, перетащив по суше сквозь тайгу свои суда на приток Лены — речку Чечуя, землепроходцы стали охотиться на соболей и белок. Но охота больше не прельщала Пянду, его охватил азарт первооткрывателя. Пянда понимал, как это важно для русского народа, испытавшего татарское иго. Ведь оттуда, с востока, навалились на Русь татарские полчища и надолго ее закабалили. С запада Русь теснили псы-рыцари, литовцы, поляки и шведы, поставляя на русский трон царей-самозванцев. Расширяя пределы родной страны, он, Пянда, укреплял ее могущество и ее славу, опережая лукавых и корыстолюбивых иноземцев, которые под видом поисков дороги в Индию и Китай проникали по Студеному морю далеко на север и бывали в Мангазее, доставляя своим правителям сведения о «златокипящей» Мангазее, о сокровищах сибирской земли. Особенно настойчиво хлопотал насчет дороги в Китай, к Теплому морю Джон Меррик, рыцарь и член тайного совета английского короля Иакова. В Гамбурге алчные немцы-пираты вынашивали планы взятия Архангельска небольшими силами, чтобы затем ринуться на захват русского Севера и соболиной Сибири. Охотников до чужого добра развелось так много, что мангазейский воевода послал царю отписку с просьбой дать указ прочно закрыть морской ход в Мангазею. Он призвал мангазейцев задерживать незваных гостей всем миром и навсегда отбить охоту шататься по Руси.

Закрывая морской путь к Мангазее и Енисею, царь Михаил Федорович решил получше разузнать об Индии и Китае, о Теплом море, манивших иностранцев. Воеводам был дан наказ любыми способами разведывать пути в загадочные страны, поощрять охочих людей, пожелавших пойти встречь солнцу.

Великий путь от Лопской земли до могучего Енисея охраняли города-крепости: Печенга, Кола, Кандалакша, Соловки, Каргополь, Вологда, Холмогоры, Соль-Вычегодская, Великий Устюг, Архангельск, Мезень, Пустозерск. К старым городам за короткое время прибавились новые: Тюмень, Тобольск, Тара, Березов, Мангазея, Сургут, а также Нарымский, Томский и Кетский остроги.

Пянде предстояло украсить большой глобус царя, отлитый из чистого золота, новыми названиями рек, земель и русских городов.

Стоя на вершине Юрьев-горы, где располагалось по-

следнее зимовье ватажки, Пянда сказал своим соратникам прочувствованное слово о великости начатого дела. Землепроходцы наполнили котомки сухарями, вооружились кремневыми пищалями, копьями и топорами, сели в свои утлые шитики и поплыли вниз по Чечуе.

Небольшая таежная речка привела искателей к широкой и привольной реке Лене. Суда пристали к берегу, казаки вышли на землю, упали на колени и заплакали.

Так мангазеец Пянда открыл Лену. Казаки плыли по могучей реке по течению и любовались величию новооткрытой земли. Обратным путем, по Нижней Тунгуске, в Мангазею плыли и шли вестовщики Пянды с отпиской. Он писал:

«...Та великая река Лена угодна и пространна, и людей по ней разных земель кочевных и сидячих, и соболей много... Славнее и люднее тое реки нет... И будет та Лена-река другая Мангазея».

Выйдя на простор могучей реки, плывя мимо устьев многоводных притоков, Пянда и его согласники видели многие селения, а в них доселе неизвестный русским землепроходцам якутский народ. Вначале якуты приветливо встречали пришельцев, угощали рыбой и мясом, но потом некоторые из них крепко задумались, когда узнали, что им придется платить ясак русскому царю.

В то время между вожаками якутских родов и племен происходили кровавые свары и раздоры: они дрались за угожие земли, где можно было бы пасти скот, за охотничьи добычливые места и за рыбные речки. На якутов жаловались тунгусы, требуя вернуть отнятые у них земли.

Некоторые тунгусские и якутские князцы просили у Пянды защиты и соглашались давать царю ясак, другие признали над собой власть тойона Тыгына. Рассказывали, что этот Тыгын занимает среди вожаков якутских родов первое место. Он имел свое войско и своих рабов. На него работали якуты и тунгусы, не имевшие скота и охотничьих снастей.

Бражничая в кругу родственников и челядинцев, Тыгын похвалялся, что презирает любую опасность и может поспорить даже с самой смертью. Он говорил, распаясь, во хмелю: «Подобает мне поехать и в бранях побывать, со смертью переведаться, рубиться с вооруженными, сталкиваться со славными, поспорить с храбрыми. Назовите мне тех, кто найдется надломить мою доблесть, кто остановит мою дерзость, кто осилит мою волю».

Тыгын, обращаясь к побежденному, не скупился на унижительные слова. Он говорил:

— Я урезал твое высокое имя, я изгрядил твое лицо, я твою славу сократил!

Такой предстала перед первопроходцами далекая ленская земля.

Доплыв до родового владения Тыгына, представлявшего обширную равнину, окруженную невысокими горами, с озером Сайсары посредине, Пянда не рискнул плыть дальше. Повернув обратно, он поднялся почти до истоков Лены и, перевалив через горы и бурятские степи, вышел на Ангару. По этой крутой реке Пянда прибыл в Мангазею.

За четыре года небывалого похода Пянда прошел со своей небольшой ватажкой свыше восьми тысяч верст, открыв миру неизвестный дотоле огромный край. Он достиг того места на Лене, где спусти несколько лет был заложен русскими казаками Ленский острог, названный городом Якутском.

Возвращаясь по Ангаре, Пянда был немало удивлен и обрадован, когда его шитики оказались у бревенчатых стен только что срубленного Енисейского острога. Строили острог боярский сын Албычев и стрелецкий сотник Рукин. В этом остроге Пянда узнал, что атаман Максим Перфильев побывал на Ангаре, достиг «шаманского великого порога», где и построил надежное зимовье. По следам Перфильева двинулся отважный казачий десятник Васька Бугор. Он успел сходить вверх по Ангаре до Илима и побывал на Лене, открыв более удобный путь к славной и великой реке.

Казаки оставили по себе память в названиях рек и урочищ. Перевалив трудный Дикий камень, они нашли небольшую речку, построили лодки-временки и пошли вверх. Тяжелый был этот путь. Назвали сварливую речку Мукой. От верховьев Муки недалеко было и до речки, которая вливалась в третью. Здесь казаки выкупались и наименовали реку Купой, а третью — где купали, плывя по течению, — Кутой. Эта речка и привела казаков в Лену. Двух казаков Бугор оставил на житье в устье Куты, четырех — при впадении Киренги в Лену, а сам вернулся в Енисейск, чтобы доложить о счастливом походе.

Дело атамана Максима Перфильева и Василия Бугра

продолжили сотник Петр Бекетов и атаман Иван Галкин. Сотник продлил путь по Ангаре до устья Оки, а Галкин пошел путем Бугра и в том месте, где надо было переволакиваться с Илима на Купу, построил для ясачного сбора зимовье, названное Ленским волоком, которое через год переименовали в Илимский острог. Кроме сбора ясака ему дан был наказ построить на Лене острог и собрать сведения об этой реке и народах, на ней обитающих. Полностью выполнить наказ Галкину не удалось. Доплыв до устья Киренги, он заложил здесь Никольский погост, вскоре превращенный в острог Киренский. На обратном пути, при впадении Куты в Лену, он заложил зимовье, возведенное затем в острог Усть-Кутский.

Так Ангара, ставшая рекой крылатой мечты, определила два направления продвижения русских на восток: один путь по ее притоку Илиму привел на Лену и затем к Великому Северному пути, на Чукотку и Камчатку, другой путь вел к истоку Ангары, на озеро Байкал, навстречу с Монголией и Китаем, к берегам Амура...

Слушая Пяндю, Ерофей Хабаров не мог представить себе все величие вновь открытого края. Он познал это только тогда, когда самолично его увидел. Но рассказ Пянды пробудил в нем неодолимое желание побывать на Лене и там умножить свое счастье.

Влекомый жаждой дальних странствий и жаждой обогащения, оставив жену и сына, обрадованный тем, что купец умер и возвращать долг по кабальной записи было некому, Хабаров скоро собрался в неведомый и заманчивый путь, дав обещание жене вернуться вскоре после удачи. Брат Никифор и племянник Петриловский уязвились за ним.

Они шли из Великого Устюга в Сибирь по дороге, которую открыл их земляк Артемий Бабинов. Эта дорога вилась по лесным чащам русского поморья — через Солькамскую, по Чусовой, через владения промышленников Строгановых, пересекала Югорские горы и упиралась в верховья реки Туры, где стоял острог Туринский, далее до Тюмени, до устья Туры, на Тобол. От города Тобольска она вела вниз по Иртышу до Демьянского яму, затем до Самаровского яму, до устья Иртыша-реки и далее вверх по Оби до Сургута, до Нарыма, устья Кети и по Кете до Маковского зимовья. За волоком водный путь приводил в Енисейский острог.

За Югорскими горами Хабаровы нагнали большой табор вологжан и новгородцев, которые с женами и детьми шли в Сибирь для заселения нужных мест. Идти с ними было легче и веселее, но очень колготно. Люди часто болели, дети умирали, и ватага задерживалась. опередив переселенцев, Хабаровы пошли бойчее, но не смогли одолеть соблазна, когда повстречалось им более сотни девок, набранных в Тотъме, Устюге и Сольвычегодске, шедших по государеву указу в женки к холостым служилым сибирским людям. До Енисейска добралась лишь мадая часть девок, остальных сибиряки расхватали в пути.

Хабаровы прибыли в Енисейск в счастливое время. Сотник Петр Бекетов готовился идти на Лену и приглашал промышленных людей в свою ватагу. Сотнику поручалось помирить мангазейских и енисейских казаков, которые затеяли великую свару из-за новых угодий. Об этой неурядице узнали некоторые якутские князцы и стали нападать на зимовья казаков.

Дойдя с Бекетовым до Илима, Хабаров остался тут и стал оглядывать угодные места для пашни, пообещав снабжать хлебом всех государевых людей.

Первые шесть лет Хабаров не имел постоянного жительства, он переходил с одного места на другое, с Илима на Лену, спускался по ней до того места, где Бекетов заложил новый острог, плавал по большим и малым притокам. Он побывал в устьях Куты, Чечуи, на Киренге, Витиме, Олекме, Алдане и на многих других реках. Было с ним двадцать семь покрученников, жаждавших прибыльного дела. Они спали в шалашах или прямо на снегу, голодали, кормились чем попало.

Ерофей Хабаров нашел то, что искал, к чему стремился: возле Илимска и Киренги открыл способные для хлебопашества земли, а в устье Куты — соленые озера. Началось освоение новой земли и озер. Хлеб и соль, которыми он вскоре начал торговать, принесли немалый доход. Соболиный и рыбный промыслы умножали добро. Он разбогател настолько, что вся торговля в обширном ленском крае оказалась в его руках.

Сбылось то, на что надеялся, о чем мечтал. Воля, сытое житье!.. Жить бы да радоваться! Но не тут-то было! Нашлись у него завистники и недоброжелатели, и первым среди них воевода Петр Головин. Имея наказную память Сибирского приказа о заведении пашни на Лене для снаб-

жения хлебом служилых людей и добычи соли, воевода не стал утруждать себя лишними заботами. Он позарился на обжитые Хабаровым места и отписал на государя поля, скот, соляные варницы и припугнул добычлика, что знает-де он устюжские долги по кабальным записям и может посадить его в тюрьму.

Распаясь, Ерофей Хабаров пожаловался на крутой поступок Петра Головина царю. Он писал в своей челобитной:

«Петр Головин взял у меня, сироты твоего, что я прежь сего распахал усолье Усть-Куты реки с двором и с варницею на тебя, государя, и убытка, государь, мне, сироте твоему, учинил в той пашне и в варнице пятьсот рублей. А опричь меня, сироты твоего, никто заводу пашенного и варнишного не заваживали, а я, сирота твой, в том пашенном заводе от воеводы Петра Головина разорился и одолжал великими долги...»

Челобитная до царя не дошла, а может, и дошла, но царю было недосуг ею заниматься. Она осталась без ответа. Что надо было делать? Хабаров решил искать правду своими силами и связал судьбу с работными людьми. Но его ли дело, солевара и пахаря, быть атаманом у бунтовщиков?

Дума о злодействе Головина омрачала душу. Беспокойные мысли роились в его голове. Он видит, как воевода гонит его, Хабарова, с обжитого места на завод. Дым слепит глаза, не дает покоя. Пыхтят мехи. Кипит в горнах железо. Бахают отжимочные молоты. Летят из-под тяжелой кирки искры, сыплются каменные осколки...

Ерофей Хабаров перевалился на бок, две крупные слезы выкатились из глаз, а муха как бы нарочно стала ему досаждать. Он поймал муху и, сжимая ее в ладони, прошептал:

— Слуги царевы хозяйевать не умеют, через то и людмается. Эх, дурни, дурни!.. А я бы показал, как хозяйевать нужно.

Теперь начиналась для него новая жизнь. Только найдя свежие земли и богатых ясачных людей, он мог своим радением заслужить милость царя для себя и работных людей, которые ему доверились. Он мечтал разбогатеть в теплой стране, вернуться в Илим, откупить все рудные места и стать хозяином железорудного промысла и показать всем иноземцам и воеводам,

как надо работать и жить. Эту мечту он берег и лелеял про себя.

Ему стало легко и радостно. Он вытянулся и задремал, вслушиваясь в краснобайство Степана Полякова. Степан рассказывал о земле обетованной, слухами о которой наполнилась вся сибирская земля. Он говорил, что в той стране есть черные камни, что их выкапывают, как руду, и горят они, как дрова. Огонь от них сильнее, нежели от дров, держится всю ночь, до утра.

«Неслыханное дело, чтобы камни горели», — подумал Хабаров. Поляков говорил о том, что возле устья Амурареки царь Александр Македонский спрятал ружье и оставил колокол. Будто бы на том месте, где утес высится, покоритель вселенной построил каменную стену, за которой живут два свирепых народа Гога и Магога, грозящих гибелью всему человечеству. Царь Македонский запер железные ворота у той стены навечно.

Он клялся и божился, что видел ту стену и даже письмо царя в каменных скрижалях.

— За стеной Гога и Магога лежит обширная страна, которой правит поп Иван. Зыбучие пески, крутые горы, быстрые реки сторожат его царство, и никто из азиатских державцев не может к нему добраться. Только раз, сказывали, проник в его царство Золотой царь. Засел тот царь в такое крепкое место, что поп Иван никак не мог его взять и очень гневался. Тогда объявились семь верных слуг. Они поклялись, что приведут Золотого царя живым. Согласился на то поп Иван и пообещал верным слугам большую награду. И вот поехали слуги попа Ивана в ставку Золотого царя. Они пришли к властителю и сказали, что хотят служить ему.

— Добро! — ответил Золотой и пообещал им почет и большую плату.

И вот стали слуги попа Ивана служить Золотому царю. Прожили они у него два года и полюбились ему за угодливость и услужливость. Верил им царь, как родным сыновьям.

Выехал раз царь с немногими челядинцами своими погулять и семь слуг прихватил. Переехали они через реку, что была недалеко от дворца, и тут прикинули слуги, что челядинцы не сумеют защитить Золотого царя, схватились за мечи, да и говорят ему: «Иди с нами, не то и тебя уьем!» Изумился царь, испугался, да и говорит им: «Что

вы сказали, милые сынки? Куда хотите меня вести?» А они ему в ответ: «Мы не твои слуги, а попа Ивана. Поведем тебя к нашему государю».

Услышав такое, Золотой царь разгневался и чуть с горя не умер. «Спасибо, милые сынки,— сказал он им.— Не я ли оказывал вам почет в моем доме, а вы хотите предать меня в руки лютого моего врага. Коли вы то делаете, будет большим злодейством». А они кажут ему: «Нужно тому быть».

Повели Золотого царя к попу Ивану, а тот увидел его да обрадовался: «Не к добру ты пришел». Молчит Золотой царь и не знает, что сказать, а поп Иван повелел его вывести вон и приставил пасти скотину. Два года Золотой царь пас скотину; после того поп Иван позвал его к себе, подарил богатую одежду и оказал почет.

— Видишь теперь, царь, не такой ты человек, чтобы со мною воевать.

— Правда твоя,— отвечает Золотой,— не мне с тобою спорить.

— А коли понимаешь, так ничего больше от тебя не требую: иди в свое царство и не вздумай снова приходиться на мою землю с мечом.

Повелел поп Иван дать Золотому коней, сбрую и провожатых и отпустил его с миром.

С тех пор мир в той стране и процветание. Жители Иванова царства белы, ликом приятны и очень учтивы. Они никому не подчиняются. Золота у них великое обилие, и не вывозят его оттуда; ни купцы, да и никто туда не ходит, оттого и золота у них много, а кто доберется в то царство, того принимают с большим радушием и гостеприимством...

Слушая Полякова, казаки упивались сладкой мечтой, забывая о тернистом пути, который открывался перед ними.

— Что там, впереди? — думал Илейка. Он сидел на якоре, с болью вспоминал о Вассушке, думал о ее тяжелой доле и всматривался в извилистые очертания горных кряжей. Над тихими сопками висели рыжие коршуны. На поемных лугах бродили сохатые. Медведь лакал воду, пуская круги. И все, что видел Илейка, проносилось мимо, казалось выдуманным, а настоящее было впереди. В голове его зарождались размашистые мысли. Мерещилась



страна, где жить легко, просторно: ворот расстегнут и душа нараспашку. Отрадные думы безудержно уносили его все дальше и дальше...

— Эх, доплыть бы скорее!

Степан Поляков, развалясь на добротной однорядке, продолжал тешить своих согласников байками.

Савватей Храп лежал на животе у винной бочки, цедил в ковш вино.

— Господи! Пью я, пью — и не могу напиться. Утоли, господи!

Он пригубливал ковш, слышалось бульканье, протяжные вздохи. Кырса глядел на него, причмокивал языком. Пробирала его дрожь нетерпения.

— Ух, вода! Огненная вода! Дай мне!

— Ты — нехристь, тебе богом не положено. Мне грешно пить с тобой, нехристь.

— Я твоего бога признал. Твой бог добрый, дай скорее.

— Ну, коли так, сглотни малость. Жалко мне твою душу.

Нахмутив брови, Томило Довбач стоял у кормила и, злясь на пьяных людей, упорно думал. Река казалась ему бесконечной дорогой в страну счастья.

Солнце клонилось к западу. Оно накалялось и багровело, потом зажгло сразу полнеба. От деревьев потянулись длинные тени. Подул ветер. Из-за скалистого гребня оранжевым клубом выплыло облако, и вскоре все небо заволокло тучами. Река подернулась легкой рябью. Струги начало прибывать к берегу.

Томило Довбач посмотрел на затянутое тучами небо и поднес ладони ко рту.

— А ну, не томись! Садись на весла!

Гребцы кинулись на привычные места, дружно запустили лопасти весел в воду. Защелкали уключины. Легкая зыбь превратилась в бушующие волны. Струги колыхались из стороны в сторону, дрожали, поддаваясь силе гребцов. Мохнатые тучи цеплялись за вершины гор. Ветер усиливался.

— Веселей угребай! Раз! Еще разик, еще раз! Дружно!

Грянул гром. На воду упала одинокая капля. Густо решетя воду, полил дождь.

На воде лежала взволнованная рябью зеленоватая стежка лунного света. Синело омытое дождем звездное небо. Загорались и гасли водяные струи. Казаки поеживались от холода, думали о тепле. Возглас дозорного поднял всех на ноги. От струга к стругу засновали легкие челны.

Из-за крутого поворота показался Киренский погост. Лениво раскинулся он на острове, омываемом Леной и рукавами реки Киренги. Вдоль высокого берега чахло тлели углями костры. Возле них вповалку лежали охмелевшие тунгусы и якуты.

В заводях, у причалов, покачивались грузные кочи<sup>1</sup> морского хода. Трюмы кочей были набиты товарами: сукнами, бисером, котлами, ножами, мехами, леденцами и вином.

После дневного торжища спали на собольих мехах торговые люди Сибирского приказа. Возле купцов, словно сторожевые псы, дремали приказчики. Особо, борт к борту, были счалены воеводские струги с ясачной соболиной казной. Стрелец дремал на сторожевой бочке. В дощатой горенке, зарывшись в меха, спал воевода. Под образами чадила лампада, освещала мрачные лики святых.

Петр Головин сквозь сон услышал крики стрельцов. Косматый, выскочил он из своего логова и побежал, шлепая босыми ногами, туда, где кричали и ругались стрельцы. Бердышами и дрекольем стрельцы пытались задержать неумный поток илимской вольницы.

— Что за шумство?

Ерофей Хабаров подошел и смешливо покосился на него.

— Будь здоров, воевода!

Головин замахал руками. Лицо его побелело, как береста.

— Волчище смердящий! Что? Что тебе надобно?

Он увидел суровые, заросшие волосами лица, круто сдвинутые брови, сжатые кулаки. Почувствовал, как задрожали ноги и озябло сердце. Томило Довбач подо-

<sup>1</sup> Коча — одномачтовое палубное судно с веслами и парусами, приспособленное для плавания по морю.

шел к нему, хищно взглянул и ударил кулаком по переносью.

— Узнай-ка вот ермаковца, седатой пес!

Петр Головин пошатнулся, но на ногах устоял, не торопясь смахнул с лица ладонью кровь. Он понял, что пощады не будет, что смерть надо встретить достойно. Он выпрямился и широко расправил плечи.

— Я чин воеводский сквернить не дам. Казните, смутьяны!

Люди вокруг него сгрудились и глухо загудели. Припомнили всю горечь, все обиды, что накопились у каждого за много лет. До краев переполнилась чувством мщения грудь Илейки Жука. Он подскочил к воеводе и остановился перед ним, тяжело переводя дыхание.

«Я убью его»,— подумал он, но тут же решил, что этого мало. Он ловко схватил своего обидчика за бороду, одним взмахом меча отрезал ее и бросил ему в лицо. Жаркая грудь тел заколыхалась, сзади теснили.

Хабаров стоял в стороне и холодно посматривал на воеводу. Он ценил заслуги Головина за обережение и обжитие дикого края, не однажды давал ему хлеб и хотел подружить с ним. Но Головин возомнил о себе и отверг дружбу, стал думать заодно с иноземцем Сельботом.

Он шагнул в круг казаков.

— Эй, ухари, как будем судить воеводу? — спросил Хабаров.

— Казнить его, пса, злою смертью!

— Отгулял свое, будя!

— Чего долго думать? Живцом в воду кинуть!

— Кинуть можно, а зачем грех брать на душу? Оставим воеводу на берегу: выживет — его счастье, не выживет — не наш грех. Как богу угодно. Все согласны?

— Быть так!

— Согласны!

Петра Головина схватили и, раскачав, бросили на берег, туда, где уже сидели торговые люди, которым была дарована жизнь.

Пока казаки творили суд и расправу, Кырса, размахивая горящим факелом, созывал лесных людей.

Казаки делили ясачную соболиную казну, хлебные запасы, оружие, порох и свинец. Сбрасывали рваные сумканы и сермяги, наряджались в бархатные кафтаны и

купецкие однорядки, снимали с ног лапти и олочи, обувались в сафьяновые сапоги.

Пировали казаки трое суток: ели и пили до отвала, дрались, спали на соболях. А когда наскучило, снялись и поплыли дальше.

## 18

Будто огромная лебедиха, струила воду коча Ерофея Хабарова. По ее волнистому следу друг за дружкой плыли под парусами тяжелые кочи морского хода. Это были плоскодонные суда с деревянными палубными надстройками, выпуклыми боками, глубокими и вместительными трюмами. Как вороньи гнезда, чернели на высоких мачтах просмоленные сторожевые бочки.

Степан Поляков стоял в дозоре, всматривался в молочную даль. Глуше становились места. Ширилась река. Все чаще и чаще стали встречаться острова, густо поросшие тальником. С отмелей срывались косяки птиц. Неуклюже толпились горы, покрытые ползучей сосной, лиственницей, зарослями багульника.

Из-за огромного утеса вылетела вдруг белая чайка и с криком повисла над рекой. Из темной глубины, блеснув чешуей, выпрыгнула большая рыба и тотчас же скрылась. Степан Поляков приложил ладонь к глазам, поглядел на вершину утеса. Там вился еле различимый дымок. Сплюнув на воду, Степан Поляков спустился по веревочной лестнице на палубу и разбудил Хабарова.

— Атаман, проспали мы Якутск, а впереди становье чужое. Об Якутске жалкую.

— Жалковать нечего, — сказал Хабаров. — Вперед зри! Проведать надо, что там? Пусть Илько за вестями сходит.

Илейке надоело лежать на коче без дела. Он охотно принял поручение и стал собираться в путь. Глядя на него, оживился и Савватей Храп. Как только кочи причалили, он надел ризу, сшитую им самим из зеленого бархата, взял железный крест, благословил Илейку на подвиг и повел Кырса на берег.

— Пойдем и ты, нехристь. Ну, идем, крестить буду! Дрожащими руками Кырса взял крест и забрел по пояс в холодную воду. Савватей Храп певуче возгласил:

— Помилуй и скотов сих, яко ты еси податель жизни!  
Толпясь на берегу, казаки вслед за ним восклицали хриплыми с перепоя басами:

— Господи, помилуй и скотов сих!

Тунгусы со страхом и недоумением смотрели на своего жоака. Кырса вздрагивал. Губы у него посинели, а глаза расширились.

— Ай, Тойон-обра! Все ладно!

Когда он вылез из воды, Ерофей Хабаров поднес ему чашу вина. Кырса выпил и хотел снова лезть в воду, но Томило Довбач схватил его за руку.

— Не старайся, друже. Богу и того хватит!

— Ай, Тойон-обра! Очень хороший бог! Все ладно!

Тунгусы обрадованно зацокали языками и тоже изъявили желание принять русскую веру. Им казалось, что русская вера открывает дорогу в страну счастья. Эту веру принесли им русские люди, принявшие в свою артель. Не надо было бояться за свою жизнь. Им нравился Ерофей Хабаров, Томило Довбач, Илейка Жук, но особенно Савватей Храп, чудаковатый шаман с красной бородой, угощающий огненной водой, которая даже после холодного купания согревала и поднимала силы, радовала хорошими снами. Выпив огненной воды, они пели веселые песни, обнимали и нюхали казаков, терлись плоскими носами об их лица и бороды, клялись в дружбе и верности.

Казаки также ценили своих таежных умельцев и добытчиков. У них теперь не переводилась всякая лесная и водяная живность. Тунгусы портняжили и сапожничали, выделывали отличные шкуры. С такими людьми можно дружить, можно искать обетованную землю.

Илейка Жук, выполняя приказ Хабарова, поднимался на утес, на котором был замечен дымок над деревьями. Сосны и лиственницы, обгоняя друг друга, тянулись к солнцу, пламенеющему над тайгой. Багульник и можжевельник источали острый, дурманящий запах. Над тайгой стыла тишина.

Вдруг царственную тишину нарушил резкий зевок, а вслед за ним полились дробные трели, похожие на крик сокола:

Э-кэ-кэ-кэ-кэ! Э-кэ-кэ-кэ-кэ!

Легкая, как комариное жужжание, дробь прокатилась по тайге и слилась с песней:

Бой! Бой! Бой! Дом-эрэ-дом!  
С высоты горы таежной,  
Где ветра летят, гремя,  
С недоступного утеса  
Вниз гляжу — и вижу я...  
Бой! Бой! Бой! Дом-эрэ-дом! Дом-эрэ-дом!

Звуки бубна и песня нарастали и крепили, как шум приближающейся бури. В них слышалось то карканье ворон, то смех гагар, то жалобы чаек, то свист куликов, то клекот орлов. Звуки стали чаще, заглушили песню и, наконец, слились в непрерывный, все возрастающий гул:

Бой! Бой! Бой! Дом-эрэ-дом! Дом-эрэ-дом!  
На реке, в тумане синем  
Чьи-то плавают суда...  
Не уьем, то сами сгинем,  
Всех на бой зову вас я...  
Дом-эрэ-дом! Дом-эрэ-дом! Дом-эрэ-дом!

— Ок-си! Ок-сэ! Ок-си! Ок-сэ!<sup>1</sup> — слышались восклицания после того, как затих бубен.

Осторожно раздвинув кусты, Илейка подобрался почти вплотную к поляне.

«Что бы это могло быть?» — подумал он, чувствуя, как замирает сердце.

Кружась, танцуя и барабаня, вокруг костра бегал старый якут, держа перед грудью громадный, как щит, бубен. Голова его была опущена, глаза полузакрыты, рот искривлен и покрыт пеной, а длинные волосы рассыпались по вспотевшему лицу.

Растопыренной ладонью шаман подкинул свое одеяние и снова запел:

— Мой бубен — мой пестун, а ветер — мои крылья...

Между ярких строящихся соболиных лент зловеще замелькали засохшие головы змей и желтоклювых сов, пришитых к его меховой одежде.

— И стонут горы, и качается небо. Ой-ай-у-у!

Якут перестал петь и сел, понурившись. Он сидел и держал в руке стрелу, острие которой было направлено в

---

<sup>1</sup> Восклицания, выражающие чувства удивления, сожаления или неожиданность (якутск.).

сторону реки, голова свешивалась к земле. Какое-то время он был неподвижен, затем быстро поднялся и сделал несколько прыжков. Тотчас же вывели из кустов молодого оленя, взяли его за рога и пригнули голову. Олень упирался, испуганно косил глазами. Подбежал якут с громадным ножом, насаженным на длинное древко, и, охнув, отсек оленю голову, затем наскоро освежевал его. Шаман пригласил всех подойти ближе, наткнул печень оленя на острие меча и по очереди стал угощать каждого воина. Якуты готовились к бою, предполагая в пришельцах своих врагов.

Илейка на все смотрел с любопытством и не заметил, как почти рядом с ним очутился молодой якут. Он вскрикнул, натянул тетиву лука и послал стрелу. Илейка едва успел увернуться от нее. Он вскочил и побежал, слыша воинственные голоса и треск валежника. Илейка вернулся на судно взволнованный и рассказал про все, что видел и слышал.

— То неладно,— заметил Хабаров.— Много ль их?

— Более полста будет.

— Надо «языка» словить и быть готовыми к бою. Так ли, ухари?

— Правда твоя, атаман,— согласились казаки.

## 19

Разгоралась заря. Высоко в небе стоял месяц, посылал на землю блеклый синеватый свет. Крупная роса оседала на траве, на камнях, на мохнатых лапах деревьев.

Вокруг затухающих костров, поджав под себя ноги, дремали якуты. Возле них лежали луки и стрелы. Сторожевой якут смотрел на реку. За его спиной, перебегая от дерева к дереву, от одного каменного выступа к другому, крались казаки, скапливаясь близ становья. Крича и свистя, они лавой кинулись вперед. Грохнули кремневые ружья.

Шаман поднялся из-за камня и бросился наутек.

С обнаженным мечом погнался за ним Степан Поляков. Он хотел зарубить его, но подоспел Илейка Жук.

— Не бей его! Бери живцом!

Он кинулся вперед и схватил шамана за волосы.

— Стой! Стой!

Шаман замычал, пробовал отбиваться, но, обессилев, сдался. Его повели к атаману.

Хабаров позвал Кырсу и велел толмачить<sup>1</sup>. Шаман стоял, как тень: молчаливый и гордый, весь в морщинах, с узкими раскосыми глазами и плоским носом.

— Ты дружишь с добрыми и злыми духами,— обратился Кырса.— Укажи дорогу к счастливой стране.

Но шаман лишь злобно поглядел на него и не ответил.

— Погодь,— сказал, прищуриваясь, Томило Довбач.— Я сыроядца уловкой возьму.

Он налил чашу вина и поднес ему.

Шаман выпил вино и оживился. Глаза его заблестали, он попросил еще.

— Кырса, толмачь! Пусть скажет, где чего есть, дам еще.

Шаман застонал, вытянул руки и заговорил.

— Там, где земля изгибается кверху, подобно скользящим лыжам быстроногого якута, там, где небо сходится с землей красивым швом горделивой якутки,— есть страна. Летом совсем не бывает там ночи. Тяжелые тучи заволакивают небо. От проливных дождей тонет земля. В топких болотах проваливаются даже легкие жучки. Там назойливые комары, подобно весенним ливням, окатывают человека со всех сторон. Толстые оводы, с большой палец разжиревшего бога, быстро высасывают кровь из зверя и человека. Зимой там солнце не всходит — всегда сумерки. Плевок на лету замерзает. В это время старики со слабыми глазами не могут найти дверей своей юрты от густого, морозного тумана. Сильный ветер расстиляет по земле мелкий кустарник. Посреди той страны лежит багровый камень. Из камня исходит стужа, дождь и снег. Такая впереди страна.

Слово в слово Кырса перевел его сказ казакам. Многие поверили, нахмурились. Степан Поляков строго глянул на шамана, поднес к его носу кулак.

— Глаз нам не отводи. Правду сказывай!

— Я сам там не был. Сказывали люди, сказываю и я.

Ерофей Хабаров сверкнул глазами — стало ему не по себе.

— Брешет старый колдун... Я тут все места знаю... Попугайте колдуна, может, и скажет.

---

<sup>1</sup> Толмач — переводчик, толмачить — переводить.



Но угрозы не помогли: казаки больше узнать ничего не сумели.

Шаман молчал.

— Толку нам от него не добиться,— сказал Хабаров.— Привяжите сыроядца к мачте, пусть подумает. Придет в себя, скажет.

Два казака кинули ему на шею петлю, скрутили назад руки и привязали к мачте.

Шаман плевался, грыз зубами веревки и в бессильной злобе выл на всю тайгу, выкрикивая заклятия и наговоры.

Он считался самым искусным шаманом: умел подражать крику любого зверя, предсказывал погоду, лечил людей и скот, а в камланиях был неутомим. Сам всемогущий князец Мамык пригнул его своей дружбой. И быть бы ему всемогущим шаманом, если бы не эти бородатые люди. Злоба и отчаяние душили его, он притих и стал ногтями и зубами крошить веревки...

Ночью Савватей Храп вышел на палубу по нужным делам, но кинулся со всех ног обратно в люк. В трюме было темно. Храпели казаки. Он пробовал разбудить Тамилу Довбача, но тот привстал, протер глаза, повалился и снова заснул. Тогда Храп зарылся в меха и в великом страхе пролежал до света, дрожа и цокая зубами.

В ту ночь убежал старый шаман. Савватей Храп клялся и божился, что был он не простой якут, а сатана. Он уверял, будто видел, как шаман прыгнул в воду, и на том месте поднялся огненный столб до неба, а на нем сатана со всеми своими слугами. Ангелы и архангелы тотчас же накинулись на сатанинское воинство, и пошло между ними такое, что смотреть было страшно. Он клялся, что слышал звон мечей и лютые крики.

Страх и холод пробрались в казацкие жилы. Пошли толки и пересуды. Старые казаки уверяли, что будет беда. Все согласилось, что никто в своей жизни не видел ничего подобного. И только Степан Поляков, не разделяя общего мнения, ухватился за живот, закатился веселым смехом.

— Ой, уморил! Ой, батюшки!.. Да это ж поблазнило тебе, корявому черту. Шаман в воду кинулся, ловить бы надо, а он... Ой-ой!

— А и впрямь, может, поблазнило,— согласились казаки, но место проклятое решили покинуть.

Не успели казаки поднять якоря, как случилось диво: из кустов тальника выбежали трое якутов. Один из них, тот, что был в худой одежке, сшитой из шкуры шелудивого жеребенка, прогнившей во многих местах, показывал на свой подбитый глаз и что-то говорил.

— Сыть волчья! — дурным голосом закричал один из казаков. — Эти сыроядцы меня ранили, я их знаю. Вот след от разбойной стрелы...

Казак засучил штанину и показал багровый рубец на ноге.

Якуты обомлело глядели на него и пятились. Казаки загалдели и подошли к пришельцам. Двое кинулись на якута с подбитым глазом.

— Не трожь! — раздался вдруг строгий голос Хабарова. — Так негораздо злость свою утолять, сначала надобно выслушать. Нам тут жить да жить, с ними вот обручь, — он указал на якутов. — Надо добрыми соседями быть, а не свару кровавую заводить. Тех, кто воду замутил, мы уже проучили, а эти, по всему видать, своей воли не емлют.

Ерофей Хабаров знал, что один из якутских князцов изменил и отказался платить царю ясак. Ему хотелось узнать, где тот князец, какого он роду, и поверстать в ясачные. Можно было бы отправить отписку в Москву и, возвращаясь, рассчитывать на царскую милость.

— А еще хочу сказать: нам не надобно обижать государевых людишек. Они ясак дают. Кырса, спроси, как зовут этого человека? Кто воевался тут с нами?

Якуты затоптались, перебивая друг друга, взволнованно заговорили. Они сказали, что между якутскими князцами долгое время идет вражда великая, что, изрядно поколотив друг друга, они обессилели и обнищали, что князец Мамык, многих себе подчинив, изменил белому царю и увел всех ясачных людей в глухие места. Это его воинские люди хотели напасть на казаков, но не осилили и наказ Мамыка не выполнили, хоть шаман и звал в бой. Язык-де у того шамана тяжел и вреден. Каждый раз, когда он камлает, видны злобные огни его глаз. Шаман губит людей своими наговорами. Шаман хотел околдовать русских людей.

Казаки снова зашумели и пожалели, что плохо стерегли опасного колдуна.

— Кырса, спроси, где тот князец Мамык? Что он думает?

Якуты ответили, что не знают, где тот князец, что, узнав о разгроме некоторой части своих воинских людей, он покочевал в тайное место, а они, воспользовавшись суматохой, успели убежать. Беглецы сказали, что все якутские родовые князцы боятся Мамыка, что у него большие стада конного и рогатого скота, обширные усадьбы, просторные луга и пастбища. Ему служат многочисленные родственники, батраки и рабы. У него несколько жен, и спесь его беспредельна. Этот упрямый и жестокий старик тучен настолько, что сам не может ходить, жир возле сердца душит его. Он съедает половину коня и выпивает бочку кумыса. Челядинцы во время его выхода поддерживают, чтобы он не упал. Мамык совершил за свою жизнь более сорока походов и ни разу не был побежден. Вот каков этот якутский царь! Подбивая других князей на измену, он говорил, что, мол, русские отгонят их в свои земли, а сами тут поселятся.

— Кырса, спроси, как зовут бедолагу? Что ему надо?

— Его зовут Бэрт Хара, он раб Мамыка... Просит выручить из неволи.

Бэрт Хара рассказал, что двое его братьев умерли в рабстве, замученные работой. Отец продал всех своих сыновей в рабство из-за голода. Мамык кормил своих батраков и рабов конской дохлятиной, похлебкой из кислого молока и сосновой заболони.

Те, что были с Бэрт Хара, цокали и кивали головами. Размазывая кулаком слезы, Бэрт Хара говорил:

— Мы, многострадальные, согнутые мучением люди, зовем вас на помощь. Мы умеем все делать. Горшок ваш сварим, будем сушить ваши торбаза, будем разувать ваши ноги, мы сработаем любую вашу работу. Мы хорошие сенокосцы, отлично умеем косить сено... Мы скорые, послушные, ловкие и верткие люди. Мы проворные на всякую работу.

Казачи слушали и дивовались, злость у них таяла. Некоторые хотели идти на Мамыка войною. Слушая, Хабаров шурился, думая свою думу. Силы были неравные. Мамык мог опрокинуть вольницу в тайге... А кому нужна бесславная смерть? Нет, он не будет воевать с Мамыком... Ведь не миновать обратной дороги... Пусть

беглецы возвращаются к Мамыку и скажут о его, Хабарова, дружбе к нему.

Якуты переминались с ноги на ногу, ждали ответа. Хабаров велел угостить их вином, накормить и возвращаться к своим братьям и сродникам.

— Кырса, протолмачь: пусть скажут якутам, чтобы жили, как и прежде, на своих землях и ясак бы великому государю платили. А что касася свар и раздоров, кои между князцами идут, то это их дело. Нам несподручно смутничать, у нас свои дела...

Выслушав Хабарова, якуты упали на колени и стали просить, чтобы он взял их с собою, говоря, что Мамык замучит их непосильной работой в неволе.

— Мамык не посмеет вас мучить и утеснить, — ответил Хабаров. — Я вам охранную грамоту дам... А плыть с нами вы никак не можете, кочи наши и без того перегружены.

Пока Савватей Храп писал под диктовку Хабарова грамоту к Мамыку, Илейка восторженно смотрел на атамана. Он казался ему в этот раз самым умным, самым близким и дорогим человеком.

Оставив якутов на берегу, казаки подняли якоря и поплыли.

## 20

Короче становились дни, темнее ночи. Не стало добычи на ленских берегах. Казаки лежали на собольих мехах, томились в тоске и лени, вздыхали и мало говорили между собой. Они хорошо знали и понимали друг друга. Те, кто не мог сидеть без дела, ловили оводов, втыкали в них хвоинки и спорили, чей улетит дальше. Некоторые играли в зернь — бросали небольшие косточки с белою и черною стороной. От того, какая сторона загадывалась, зависел выигрыш. Искусники бросали той, какой им хотелось, и выигрывали. Играли на табак, потом сходились вместе, чтобы попить заповедного зелья.

Забавляясь зернью и пить табак на Руси строго запрещалось. Якутский воевода, выполняя царский указ, писал в наказной памяти сыну боярскому Андрею Булыгину: «Взять в бирючи служилого человека Федку Попинку и велеть ему при себе кликать в Якутском

остроге и за острогом на Гостином дворе, чтоб дети боярские, и подьячие, и служилые, и торговые, и промышленные и всяких чинов люди пив и браг и квасу хмельного безъявочно не варили и на продажу не держали; а кому будет детем боярским, и подьячим, и служилым, и торговым, и промышленных и всяких чинов людем лучитца, сварить пива или браги или пьяного квасу, или меду поставить, и они б о том били челом государю царю и великому князю Алексею Михайловичю всея Руси, а в съезжую избу к столнику и воеводе принести челобитные...

Сыну боярскому Ондрею разведать у служилых, и торговых, и промышленных и у всяких чинов людей и у банных откупщиков, на подворьях, в избах, и в анбарех и в торговой бане смотреть и беречь того накрепко: которые служилые, и торговые, и промышленные и всяких чинов люди и банные откупщики учнут что безъявочно мед ставить и пиво и брагу или пьяный квас варить, или кто учнет вино курить или на продажу какое пьяное питье, или банные откупщики учнут пьяной квас и дрожженники и корчму держать, и им сыну боярскому Ондрею Булыгину с товарищи то неявленное продажное питье и суды винные, и котлы и кубы и горшки и трубы, у тех людей, и у банных откупщиков пьяные квасы и дрожженники и корчму вынимать с понятыми, и то неявленное питье и суды винные, или кто заповедной товар и табак учнет пить, или будет служилые и торговые и промышленные и всякие люди у себя по подворьям или в торговой бане учнут зерню и карты и всякою проигрышною игрою играть, и корчму держать, или где учинитца драка и шум и душегубство, и корчма, и им сыну боярскому Ондрею с товарищи то заповедное всякое питье, и товары, и табак, и вино, и зерновые кости и карты вынимать с понятыми, и тех людей, у кого что какого всякого неявленного питья и вина, и заповедного товару и корчму вымут, или кого на зерни или на драке поймают, потому приводить в съезжую избу, к столнику и воеводе...»

Многие из ватаги Хабарова побывали в крепких руках бирюча Федьки Попинки — служилого человека с громким голосом и силой необыкновенной. Курить вино, браги и квасы имели право только государевы откупщики и целовальники, назначенные воеводой, а пить мо-

гли только в кабаках. Не всякий имел деньги, чтобы пить в царевом кружале, а тайнокурящие вино и браги брали дешевле и давали в долг. Здесь-то и наступал нарушителей Федька Попинко.

Теперь можно было пользоваться заповедным товаром безбоязненно, безденежно и безволочитно. Табак курился не из чубука, а из коровьего рога, посредине которого вливалась вода и вставлялась трубка с табаком большой величины.

— Ах какое чудесное зелье табак! — говорили питухи. — Нет ничего лучше в свете табаку, он мозги просветляет...

Казак, накурившись, ослабевал, а некоторые лишались сознания.

Некурящие плевались и отрещивались, называли табак бесовским зельем.

Ерофей Хабаров не играл в зернь и не курил. «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало, — думал он, глядя на азартников. — Пусть забавляются». А Савватей Храп, когда бывал трезв, ярился и негодовал. Он присаживался возле пьющих табак и укориженно качал головой:

— Травкой бесовской поганитесь! Табашничаєте!

— Все веселой травкой держимся. Покуришь — и горести забудешь, улетает прочь тоска-кручина.

— То не травка, а зелье адово, выросшее на могиле блудницы.

Какой-нибудь питух, тяготясь Храповым поучением, вскипал:

— Поглядеть, батя, на тебя с бороды — Авраам, а голова — сосновый чурбан!

Задетый острым словом, Савватей рассказывал обидчикам быль о табаке. Эту быль передавали друг другу люди степенные и благочестивые: будто бы бес достал табачные семена из ада и посеял их на могиле блудницы. Напитанные ее греховным телом, адские семена произросли травой, а бес научил ею пользоваться людей, чтобы одурманенных ему было легче тащить в ад.

— Куря, вы, сами не замечая, отдаетесь в державу дьявола, — говорил Храп.

— Нашла коса на камень, попал топор на сучок! — отвечал курильщик.

— Га-га-га! Го-го-го! Ох-хо-хо!

Савватей Храп обидчиво хмурился и, отходя, сетовал на озорников:

— Меня перебили и мысли мои расползлись... О господи!

Он уходил в мурью, прикладывал к отверстии бочки с вином ковшик и, вздыхая и охая, цедил вино...

Опостылела такая жизнь Степану Полякову. Он вздохнул тяжело и затыкнул песню. К его голосу пристал другой, потом третий. Песня вскипела, забилась, застонала и заплакала, наполняя сердца тихой щемящей болью. Пели одну из тех протяжных и ласковых песен, жалобный мотив которых всегда облегчает душу.

Нам постелюшка — мать сыра земля,  
Изголовьице — зло-кореньце,  
Одеялышко — ветры буйные,  
Покрывальышко — снега белые,  
Обмываньице — частый дожжичек,  
Утираньице — шелкова трава.  
Родной батюшка наш — светел месяц...

Ерофей Хабаров стоял в бочке-мостике, закрепленной на мачте, нелюдимый, закусив губу. Медленно плыли навстречу низкие берега в туманной дымке. Впереди виднелись песчаные увалы, поросшие хвойным лесом, а за ними расстилались болота, покрытые низкорослым ерником<sup>1</sup>. С отмелей шумно поднимались чайки и, тревожно крича, кружили над кочами.

Запрокинув голову, Илейка любовался красивым полетом взволнованных птиц, сверкающих белоснежным оперением и рассекающих воздух редкими, сильными взмахами своих словно надломленных крыльев.

Кырса бродил по палубе, заглядывая в пустые винные бочки. Савватей Храп, скрестив на груди руки, тоскливым взглядом провожал гусиную стаю. Донимали его смутные мысли. Что делать? Решил достать чужого ума. Крадучись, подошел к Томиле Довбачу, присел на корточки, прищурил левый глаз и кашлянул...

— И куда мы плывем? Вон птица и та к теплу полетела... А мы плывем и плывем! Смутно у меня на душе, чует сердце недоброе.

---

<sup>1</sup> Ерник — чахлая растительность, чаще всего низкорослый ивняк и мелкий березняк.

— А ты не смутничай, батя! Едем дальше, узрим больше.

— Там стужа лютая. Подохнем, яко мухи.

— Ты что? Куда гнешь?

— Изверился я... Лучше от воеводского кнута погреться, чем в холоду стыть.

— Вертайся! Наломают репицу, с жару скрючишься.

В спор вмешались другие, вспомнили вдруг о старом шамане, вспомнили обиды, и пошла ругня. Казак с бельмом встал, широко расставив ноги, заложил два пальца в рот, оглушительно засвистел.

— Вороти к берегу! К бе-ре-гу!

Его крик подхватили на других кочах, причалили, высыпали все на отмель и загомонили:

— Атамана! Кличь атамана в круг!

Казак сбилась около Хабарова, стали судить: вперед плыть или повернуть назад, хватит ли харчевых и боевых запасов?

— За тобой, атаман, слово. Кажи, что надумал?

— Кажи, атаман!

Ерофей Хабаров крякнул, глаза его запольхали, побежала бойчее кровь. Выбора не было, стал говорить правду.

— Ухари, куда нам теперь идти? Время осеннее, в реках лед скоро смерзнется... Не положим на себя укоризны. Ну, кто до моря? Кто хочет в добре быть?

Поскребли казаки затылки, пошумели, да делать нечего, согласились.

— Правда твоя, атаман! Без трудов и горя не обрести нам лучшей доли.

— Ну, если все так думают — стрелой лететь надо, а не языки чесать. Надо плыть днем и ночью. До зимы успеем проплыть Студеное море, а проплывем — дело наше верное.

Снялись казаки и поплыли. Плыли греблей и на парусах, днем и ночью. Пели грустные песни, в тихие дни свистели на все лады, чтоб вызвать ветер. Торопились до заморозков выплыть в Холодное море, чтобы обойти каменный нос, выплыть в Теплое море, попасть в райскую страну.

По утрам кочи покрывались мелким налетом сверкающего бахромчатого инея. Река Лена становилась шире, ее берега терялись в густом тумане. Кырса собрал казаков и



посоветовал шить меховые одежды. Хабаров похвалил его за смекалку, предложил казакам собрать все меха и немедленно приступить к делу.

Работа закипела.

Проснулись как-то казаки и ахнули: были они, как на скорлупе: ни реки, ни леса, ни бугорка. Куда ни глянь — сплошная синь. Того и гляди, уткнешься в небо. За бортами кочей вскипала вода. Верхушки волн сносились ветром, покрывались белым пенистым налетом.

## 21

Нарастал ветер. В мачтах и снастях слышался свист и визг. Высоко взлетая и зарываясь в пенистые гребни волн, неслись кочи в неизвестные края.

Небо было угрюмо и холодно. Волны набегали одна на другую, клочотали и, рассыпаясь, разбрасывали брызги вокруг и высоко вверх. Затем снова росли и снова мчались, гонимые ветром.

Плотно закрыв люки, казаки сидели в пропитанных сыростью трюмах, прислушивались к тяжелым ударам волн о борта. Савватей Храп мучился от морской болезни. Донимал его великий страх.

— Отлети от сердца моего, мысль тягостная, мысль гнусная, удались! — Он стонал и жалобился, час от часу ему становилось хуже.

— Кырса, голубь, укрой меня. Согрей, я весь изошел дрожью.

Кырса сглатывал слюну, вслушивался в его скорбный шепот, и ему тоже становилось страшно. Он обещал морскому богу сладкую сарану, настоенную на крепком вине. Томило Довбач ел замороженную рыбу — это было хорошее средство от тошноты.

Прислонясь к ребровине кочи, задумчиво сидел Илейка. Губы его были крепко сжаты, щеки ввалились, и только глаза светились непоколебимой верой. В углу кто-то тяжело вздыхал, жалкуя, что так легко дался на обман.

Ерофей Хабаров глядел вперед, подставив открытое лицо непогоде. Он всматривался в хмурую даль. Глаза его были расширены и горячи. Ветер срывал пену, водяной метелью обдавал его с головы до ног.

Сгущаясь, наваливался плотный туман на ершистые воды, цеплялся за мачты, заливал палубу. Казалось, что мир заплесневел. Оранжевым кругом из холодной мглы просвечивало солнце. Туман сверкал и слепил глаза, все пропитывал соленой сыростью.

Когда разорвалась туманная завеса и, гонимая ветром, ушла в неведомую сторону, солнце залило лучами облизанную волнами палубу. Море заиграло искрящимся, переливчатым светом. Шторм начал стихать, удары волн становились все реже.

Буря разнесла кочи в разные стороны, некоторые из них погибли в пучинах холодного моря. Только головная коча Хабарова, искусно управляемая Томилой Довбачом, упрямо одиноко пробиралась среди плывущих льдин. У левого борта курилась белым паром изглоданная волнами голубая гора. Когда льдина, покачиваясь, горделиво проплыла мимо, открылся вид, взволновавший Хабарова до слез.

Радость захлестнула сердце.

«Вишь, диво какое!» — подумал он и, овладев собою, кинулся в трюм. Казаки, толпясь, высыпали на палубу и, зачарованные, смотрели вдаль. Плыло там великое множество белых лебедей, готовых каждую минуту вспорхнуть и улететь. Не иначе как вблизи должна быть теплая страна. Но то был великий обман. Вскоре потянулись навстречу коче мелкие белые льдины.

Казаки, отталкивая льдины баграми, медленно пробивались вперед. Но час от часу путь становился труднее, льды неподвижнее, тверже. Крепчали необозримые ледяные поля, на полях возвышались ледяные горы.

Была тишина. Светило негреющее солнце. Льдины лучились нежнейшими цветами: зеленым, голубым, синим, фиолетовым. Ерофей Хабаров неотрывно смотрел вперед. Наконец ему удалось разглядеть мгlistую полосу земли.

— Эй, ухари, отмаялись! Гляди, эвон земля! Нажимай веселее!

Казаки еще настойчивее стали пробиваться сквозь льды, по узким полыньям и щелям, мимо ледяных гор. Тюлени, в изобилии гревшиеся на солнце, испуганно шевелили усами, всматривались в кочу заплывшими от жира глазами. Они скользили ластами по льду, скатывались в воду. Лишь белый медведь спокойно поедал тюленя на

льдине. Степан Поляков хотел выстрелить, но Кырса остановил его. Он встретил медведя глубоким поклоном, с силой бросил в жертву мешочек с сараной.

— Бог моря, дай удачу!

Медведь понюхал мешочек, облизнулся и не торопясь пошел прочь, переваливаясь и мотая головой. Кырса испугался, из глаз его полились слезы.

— Сердится морской бог. Плохо будет.

— Не скули, то не бог, а белый медведь! Я знаю, — успокаивал Кырсу Поляков.

Кырса доказывал, что морской бог, чтобы не быть узнанным людьми, принял образ медведя, и горе тому, кто выкажет к нему неуважение.

Слушая, многие казаки проникались его верой, крестились и охали.

Ледяная запруда росла и ширилась. Все уже и теснее становилась полынья, по которой шла коча. Атаман Хабаров с тревогой посматривал на лед. Казаки выбивались из сил. Когда сморила усталь, бросили багры, полезли в трюмы и повалились спать.

Пока спали, полынью затянуло, и кочу сжало льдом. Смолк шелест волн. Стало тихо. Это была опасная тишь...

Дни заметно убавлялись. Солнце уходило все дальше и дальше, посылая прощальные, негреющие лучи. Вскоре оно погасло совсем. Наступили долгие сумерки. Потом и они потускнели. Исчезла с горизонта манящая полоска земли, последняя надежда. Настало суровое, трудное время. Бесконечная ночь нудила казаков, убивала веру. Все чаще и чаще возникал вопрос: чего ради? Кто заставил?

От долгого морского хода, от нехватки пищи, от бессонных ночей и горьких дум началась цинга: у многих посинели ногти, зашаталась зубы, словно вываренные стали десны, а на иссиня-бледных лицах появились красные пятна. Все похудели, стали вялыми, будто навалилась внезапно на всех дряхлая старость.

За бортами свистела и шурганила пурга, дымил и курился голубой снег. Под вой пурги Степан Поляков вслух мечтал:

— ...За Каменным носом есть страна. Там — тепло и сытно. Стоит там большая гора. На ней из самого луч-

шего дерева построена великая храмина. Она украшена золотом и редкими самоцветными камнями. А в той храмине стоит идолище. На голове у него золотая корона, а в ней двенадцать самоцветов. На коленях у идолища золотая чаша такой величины, что десять человек могут напиться из нее досыта. Она доверху наполнена шипучим вином. Вино из той чаши никогда не убывает...

Кутаясь в меха, голодные и зазябшие, казаки злобно поглядывали на него. Он казался им сладкогласным сатаной. Вдруг кто-то вздохнул и взახлеб заплакал...

Перестала выть пурга. Коченеющими руками Хабаров открыл люк и взобрался на бочку. Огромный, костистый, прокаленный морозом, стоял он, не шевелясь, и с тоскливой жадностью смотрел на едва видную каменную грядку. Внезапно его озарила счастливая догадка: надо бросить кочу, добраться пешком до гряды, перевалить ее, дойти до теплой страны. Он был почти уверен, что за грядой должна быть страна солнца и сытости.

В трюме зашумели, завозились. Ерофей Хабаров смахнул набежавшую от напряжения слезу, спустился с бочки и, открыв люк, остановился. Глаза его расширились, губы затряслись мелкой дрожью. Рыча, щелкая зубами, внизу копошилась гряда человеческих тел. Степан Поляков бил тех, кто пытался его схватить, царапался и рычал, как лев. Томило Довбач унимал казаков, расшвыривая их по сторонам. Кырса стоял, безумно выпучив глаза. Что-то кричал Илейка Жук.

Хабаров смело сошел в трюм.

— Ухари, слушайте! Эй, угомонись! Я видел землю... Она рядом...

Казаки перестали налезать на Степана Полякова и, тяжело дыша, усталились на Хабарова, дрожа и щелкая зубами.

— За каменной грядой — теплая земля. Я поведу вас туда.

Он говорил увлекательно, сам начинал верить в свои слова, не замечая, что это было лишь его воображение, подогретое смелой догадкой и большим, страстным желанием достигнуть цели. Он видел, как постепенно поднимались опущенные головы. Словно льдины на солнце, загорались глаза. Желанная цель увлекла всех своей близостью, и казаки на мгновение забыли свое горе.

— Веди, атаман!

— Мочи нет сидеть так и ждать смерти. Веди!

— Я поведу вас, ухари!

Вдруг что-то оглушительно треснуло. Коча будто подпрыгнула и осела. Сквозь образовавшуюся пробоину с шумом хлынула вода. Казаки засуетились, бросились все разом к люку. Многие срывались вниз, давили друг друга. Каждый думал только о себе.

Подминая под себя людей, Ерофей Хабаров встал кому-то на плечи и вылез из мурьи. Кто-то схватил его за ногу, он стряхнул его и, прыгнув на льдину, побежал прочь от проклятого места.

Коча зарылась носом в воду и быстро скрылась под обломками льда, образовав коловерть, быстро затянувшую многих пловцов. Но смерть подстерегала и тех, которые выбрались из кочи. Лед рассыпался под ногами на куски, разверзая черные, смертоносные водяные бездны.

Когда вопли замолкли, раздался одинокий голос Хабарова:

— Есть ли живы?

— Есть!

— А ну, кто жив, отзовись! — все еще не веря себе, спросил Хабаров.

Откликнулось несколько человек. Подошел Томило Довбач, затем Илейка Жук, Кырса, Степан Поляков и Савватей Храп. Это были его соратники, которых он любил и которыми гордился. Потом подтянулось еще несколько человек.

— Все ли?

— Будто все, атаман,— глухо отозвался Илейка.

Напряженное молчание длилось долго. Первым пришел в себя Степан Поляков.

— Кажи, атаман, что будем делать?

Ерофей Хабаров поднял голову и указал рукой в сумеречную даль.

— Пробиваться будем. Пойдем к носу каменному. Пойдем туда...

Какая участь ждала впереди — об этом никто не думал.

Тощие и уставшие, побрели казаки по ледяному полю. Вскоре бороды, усы, брови и ресницы покрылись у

всех ледяной корой. Напрягая последние силы, задыхаясь, брела ватажка среди мертвящей тишины холодных просторов. Шли в неизвестность, теряли в пути слабых.

У желанной каменной гряды обошли казаки огромные кости кита, выброшенные прибоем, и, не раздумывая, полезли в гору. То взбираясь на ржаво-красные кручи, то срываясь и падая, они упорно боролись с этим новым препятствием, будто там, за грядой, и впрямь таилась обетованная страна, цель их желаний.

Первым взобрался на вершину кряжа Ерофей Хабаров. Он посмотрел вокруг себя и с досадой сплюнул. Кругом было пустынно. Сиротливо стыла под снегами земля. Кое-где вырезывались на ней озера, окаймленные чахлым низкорослым лесом. Змеилась по снеговой пустыне река. Безраздельно царила над замороженным миром тишина.

— А ну, подбирайся!

К нему подходили и удивленно оглядывались. Савватей Храп повалился со стоном.

— Ой, горе мне, братушки! Мочи нет идти дальше.

Томило Довбач приподнял его, сурово заглянул в глаза.

— Ну, чего жалуешься?

Устоять Савватей Храп не мог, он снова упал и тихо, по-собачьи заскулил. Ерофей Хабаров шагнул от него, но вернулся назад и развел руками.

— Хлипкий он. Сердце жидкое, через то маята с ним, но теперь каждый человек нам дорог.

— Не покидайте, братушки!

Все вдруг почувствовали усталость, затосковали о тепле, о родине. Они не могли простить Савватеею Храпу слабости, готовы были уничтожить попа, только бы самим избавиться от пугающего желания упасть, как он, и не двигаться.

Казаки стояли в раздумье, не зная, что предпринять. От тяжелых дум отвлек глухой шум под снегом. Там не то кашлял, не то чихал кто-то. То были белые песцы. Они повылезали из снежных нор, собрались в круг, вытянули собачьи мордочки и стали принюхиваться.

— Эх, оборонки нет, а то бы...— сожалеюще сказал Томило Довбач. Все уселись возле Савватей Храпа и

стали подкарауливать песцов. Смелея, звери подступали все ближе и ближе. Белый песец, с приятным голубым отливом, с тонкими ногами и пушистым хвостом, подбежал почти вплотную. У Кырсы заблестели глаза. Он вдруг прыгнул на песца, задушил его, и тут же успел схватить другого, остальные метнулись от него прочь. Торжествующий и довольный Кырса показал ватажке свою добычу.

— Все ладно. Хорошая еда — теперь жить можно.

Дрожа, разорвали казаки песцов на части и, впиваясь в кровавистые куски зубами, стали есть свеженину. Капли крови падали на снег и тут же замерзали.

После еды всех потянуло ко сну, настало состояние безразличия и тупой бездумности.

Яркие красные сполохи зажгли пучину ночного неба. Среди пожарища встали огромные столбы желтой, оранжевой, синей, зеленой и голубой окраски. Вокруг столбов начали виться огненные змейки. Из расходящихся в стороны волнистых голубых лучей и маленьких светло-желтых бликов ясно обозначилась корона. Дивным пожаром запылал весь необозримый небесный океан.

В смятении следили казаки за холодным небесным пожаром. Закрыв ладонями глаза, охал Савватей Храп.

Вскоре корона начала меркнуть. Бледнели и гасли огненные отблески. Над замороженной пустыней заблестали яркие звезды, засияла обыкновенная луна.

Ерофей Хабаров спохватился, с трудом вытянул законченую руку, сложил персты и сотворил крестное знамение.

— Чудны дела твои, господи! Ты один всеведущ и всемогущ... Укажи нам, господи, дорогу в страну счастья!

— Укажи, господи, — повторили просьбу казаки.

— Ой, Тойон-обра! Укажи дорогу!

Повизгивая, бойко бежали собаки. Клубилась над ними морозная испарина. Бурый вожак, вывалив желобком красный язык, усиленно вращал зрачками и шумно

выдыхал белый пар. Черные ноздри то широко раздувались, то суживались. Под нартами скрипел снег.

Молодой чукча Камай ехал за китовыми ребрами. Закутаный в меха, он сидел на узких нартах, слегка раскачивался и пел, подражая волчьему вою, стону вьюги, снежному скрипу. Он пел про голубое царство, про чудный огонь на небе, про хитрого медведя, который, прикрыв морду лапой, сторожит у полыньи глупую нерпу. За спиной Камая чуть покачивался мешок из тюленьей кожи.

Вдруг собаки наострили уши и остановились, слегка повилая пушистыми хвостами. Вожак сел на снег перед темным бугром, облизнулся и тревожно взвыл.

Камай не спеша слез с нарт, подошел к вожаку и увидел на снегу плотно прижавшихся друг к другу людей.

— Слушайте, вы! — горячо заговорил он. — Камень молчит, снег молчит, кусты молчат, а люди должны говорить. Если люди молчат, сердца их становятся тяжелыми.

В ответ послышался неясный стон. Камай покачал головой, вернулся к нартам и по своему следу поехал обратно.

Встретил его старый чукча Пинчо и спросил:

— Что случилось?

— На снегу сидят люди. Бороды у тех людей похожи на хвосты наших собак.

— Есть ли у них оружие?

— Оружия нет. Видать, люди мирные.

— Что они сказали тебе?

— Ничего не сказали, они без языка.

— Должно быть, послы с товарами от великого народа из теплой страны. Людей нужно отогреть и принять с почестями. Нам нужны послы из теплой страны.

Камай, не мешкая, обошел соседей и объявил, что на снегу сидят и ждут послы из теплой страны. Чукчи засуетились возле яранг. Вскоре несколько собачьих упряжек взвихрили снег. По снежной долине понеслись вперегонки лихие голоса ездовых:

— У-у-у-эй! Тагам! Тагам!<sup>1</sup>

Все население чукотского стойбища вышло встречать

---

<sup>1</sup> Тагам — чукотское слово, означает «вперед».



редких гостей. Казаков бережно сняли с нарт, раздели и до красноты натерли их тела снегом, потом обильно смазали жиром, внесли в ярангу и положили на пушистые шкуры белых медведей.

Ерофей Хабаров очнулся, и лицо его посветлело. Он увидел над собой идущие кверху толстые китовые ребра, покрытые моржовыми шкурами, а в узком дымовом отверстии — яркую звезду.

То был привет неумирающей жизни...

Возле Хабарова, задрав кверху рыжую бороду, неподвижно лежал Савватей Храп. Вдруг борода его вздрогнула. Он перевалился на бок, открыл глаза и затаился. Глаза его снова сомкнулись, а из груди вырвался тяжкий стон удивления и страха. У пылающего камелька грелись чукчата с большими головами и вздутыми животами. Савватею Храпу представилось, будто лежит он в преисподней, а дьяволы слуги смотрят на него бесовскими глазами и скалят зубы.

— Да воскреснет бог и расточатся врази его!..

— Не наводи смуту, — приструнил его Степан Поляков и толкнул его кулаком под ребро. Храп пришел в себя и охнул.

— Полегче, братушка, душу отобьешь!

Томило Довбач чихнул, чукчата вздрогнули. Он с немалым удивлением стал разглядывать жирник из медвежьего черепа, в котором ровно горел скрученный из мха фитиль.

Кырса быстро освоился с жильем и обстановкой, ему стало приятно и радостно. Он подобрался к Пинчо и, ласково заглядывая ему в глаза, губами и руками показал, что хочет пить. Пинчо понял его, достал пузырь из рыбьей кожи с мухоморной настойкой и угостил. Кырса выпил, похвалил напиток, и глаза его засверкали молодостью. Он дружески похлопал Пинчо по плечу.

— Хорошая жизнь, приятная, как огненная вода.

— Жизнь у нас крепкая. Мы живем — море нас кормит, — ответил Пинчо на тунгусском языке.

Всех обрадовала знакомая речь, все заворочились, словно тюлени, пригретые солнцем, и подумали, что неплохо было бы выпить глоток-другой хваленной влаги. Камай угадал желание гостей. Он достал еще пузырь с настойкой и поочередно стал обносить каждого.

Илейка Жук продолжал лежать, глядя в щель чуть приоткрытого полога. Там, в ночной половине, сидела девушка. Она расщепляла зубами и ногтями медвежьих сухожилий, затем скручивала из них нитки на голом колене. Горбатая старуха мяла руками шуршащую кожу. Она была так занята делом, что происходящее в яранге ее будто совсем не занимало.

Илейка Жук глядел на девушку, на ее точеные ноги, ловкие руки, упругие груди, едва прикрытые шкурой голубого песка. Она взглянула на него. Глаза ее показались Илейке такими теплыми, что ему захотелось прикоснуться к ним, чтобы согреться. У нее было здоровое смуглое тело. Илейка жадно смотрел на нее.

Томило Довбач первый вспомнил о нем и забеспокоился.

— Илько, жив ли ты?

— Жив!

Илейка смутился и поспешил встать, чтобы для себя одного сохранить приятное впечатление, произведенное смуглой девушкой.

Пинчо сказал:

— Мы видим, что вы из далекой страны. Мы рады, что вы у нас. Живите!

— Мы в долгу не останемся. А что вы за люди? — спросил Хабаров.

— Мы — настоящие люди. У нас добра много. Живите!

Хабаров, польщенный приветливостью хозяина, горячо поблагодарил его, дал сухарь. Пинчо подумал, что это запеченная глина.

— Ты зачем землю мне даешь? — спросил он.

— То не земля, а хлеб. Попробуй!

Никто из чукчей не знал, что такое хлеб, как его добывают.

Пинчо позвал женщин. Полог из медвежьих шкур зашевелился. Из ночной половины вышла девушка, за ней старуха. Пинчо и Камай поклонились им. Старуха подбросила в камелек сухого хвороста, увела чукчат в ночную половину яранги. Девушка принесла моржовые пузыри с жиром. Она разрежала жир на ломти, сложила на плоский камень. Пинчо, улыбаясь, предложил гостям угощение. Девушка принесла медвежатины и стала жарить ее на стреле. В яранге стало шумно и чадно.

Томительно проходила большая ночь. Неугасимо теплится жирник в медвежьей черепе. В камельке горел огонь, яранга наполнялась клубами дыма. Изю дня в день Ерофей Хабаров выпытывал про дорогу в заповедную страну. Пинчо осторожно спрашивал, зачем ему нужна далекая земля, хитро заглядывал в глаза, как и в первый день, клялся, что краше и богаче чукотской земли нет на свете. Хабаров во всем с ним соглашался, благодарил, но стоял на своем.

Переговоры затянулись. Чукчи, будучи верными северному обычаю, не отказывали в гостеприимстве, но ничего не обещали, нарочно задерживая казаков у себя. Они по-прежнему считали их послами теплой страны. Однажды, не выдержав, Степан Поляков сказал:

— Когда же придет конец нашей муке? Осточертело в лени томиться.

— Мы гостям рады,— ответил Пинчо и снова заговорил о богатствах чукотской земли. А чтобы гости не сомневались в правильности его слов, он предложил им принять участие в охоте на морского зверя. Хабаров, Кырса и Поляков согласились. Им выдали тюленьи одежды, шапки из меха тюленьих голов, скребки из тюленьих лап и гарпуны с острыми костяными наконечниками.

Савватей Храп был доволен всем. Он сидел на корточках перед старухой и внушал ей слово божие. Старуха мяла кожу и с уважением поглядывала на его рыжую бороду, но к словам интереса не выказывала. Савватей Храп духом не падал и надеялся на успех. Чукчата показывали красные языки, подбирались к проповеднику, норовили вцепиться ручонками в бороду.

Томило Довбач занемог. Но пуще болезни донимала его злая кручина. Он лежал на медвежьей подстилке возле камелька. Илейка не решился оставить его одного и на охоту не пошел.

Томило Довбач, кряхтя и кашляя, думал, что нет на земле такого места, где было бы вольно и сытно.

— Эхма! — сказал он, — жил и я... Много горя-обиды набрался, много видел бедных людей, а гляжу, и тут некорыстно живут люди. Нет правды, всюду пагубно.

— Есть правда,— горячо отозвался Илейка.— Всея

своей кровью чую и знаю. Где ни есть, а добуду, сыщу ее, скорбную...

Томило Довбач пощадил горячую веру своего сына и замолчал.

«Подожду. Время еще не пришло», — подумал он.

Илейке стало не по себе. Его потянуло на волю, захотелось побыть одному. Он вышел и сел на камень возле яранги. Стал рассматривать нехитрое чукотское становье, пытаясь понять жизнь людей холодной страны.

Яранги были похожи друг на друга. Они сделаны из моржовых шкур, стянутых сыромятными ремнями. Чтобы ветры не разрушали жилье, ремни были придавлены большими камнями. Через отверстия валил дым и стлался по снегу.

За ярангами тянулась загадочная земля. Над этой землей темнело звездное небо. Илейка смотрел на все, что его окружало, и думал:

«Земля похожа на мою землю. И звезды такие же, только чуть крупнее и ярче... И люди...»

К нему подбежали собаки и бойко завилляли хвостами. Они ластились, лизали руки и заглядывали ему в глаза. Из яранги, в обшитой тесемками куртке и меховых шароварах, вышла девушка, та, что скручивала на голом колене сухожильные нитки. Она стала подзывать собак, бросая им сушеную тюленину. Была она гордая, недоступная.

Илейка с восхищением смотрел на нее и хотел, чтобы она на него взглянула.

Но она делала свое дело, не замечая его; тогда он подошел к ней и, чтобы не спугнуть, осторожно сказал:

— Я уже знаю тебя. Я знаю твой голос... Теперь я хочу узнать твое имя.

Она обернулась к нему, бровь ее слегка вздрогнула.

— Меня зовут Курхуэт! А ты что тут делаешь?

— Я ждал тебя. У тебя хорошие глаза.

Глаза девушки напомнили ему о Вассушке. Это воспоминание болью отозвалось в его добром сердце.

Илейку охватило нетерпение, он смело взял ее за руку, потом поцеловал в глаза, в губы. Она не смутилась, доверчиво потянулась к нему. Он подумал, что это есть то самое, что он хочет от нее, и сказал, почти не думая:

— Я люблю тебя. Слышишь, Курхуэт?

Она оглянулась, обхватила его шею, заглянула в глаза и ловко скользнула между его руками.

— Если ты останешься у нас, я приду к тебе, — услышал он ее тихий и ласковый голос. Он пошел за ней, но она тотчас же скрылась в ярангу.

Илейка остановился. Он долго стоял не шевелясь, думая, что грезит. Вся прошлая жизнь показалась ему тяжелым сном, а настоящая минута — сном приятным. Не чуя под собой ног, вбежал он в ярангу, прилег возле Томилы Довбача.

— Ты почему такой яростный?

— Я потерял мать и любошу. Меня секли... Девка Курхуэт дала мне счастье.

Томило Довбач заворочался, сдвинул брови и поглядел на сына с укоризной.

— Курхуэт девка сладкая. Пригожая девка. Но сердце у девки, что ржа в железе. Погубит она тебя, разест душу, и не видать тебе счастливой земли.

Илейка был опьянен счастьем. Он улыбался и возбужденно ерошил волосы.

## 24

Прошла большая ночь. Побурел и стоял снег. Зажурчали ручьи. Вскрылась многоводная Колыма. Повеяло теплым ветром, надвинулись тучи. Три дня и три ночи лил бурный дождь. Потом ветер затих, тучи разбежались барашками, прояснело, наступила настоящая весна.

Земля покрылась зеленью: распушилась верба, зацвела морошка, надела сережки и золотушная береза-карлица. Луга покрылись яркими цветами: желтыми лютиками, красным маком, голубыми и белыми камнеломками. Защебетали и заголосили птицы. Загудели шмели. Гордые и счастливые оленихи ласкали шаловливых оленят. Барахтались чукчата, бегали взапуски по просыхающим дорожкам, оставляя на тропах отпечатки босых ног.

Их звонкие голоса оживляли становье.

Приближался праздник жизни и радости. Охотники возвратились с богатой добычей. Чукчанки сварили напиток из сушеных мухоморов. Варили напиток очень долго, в большом медном котле вместе с брусникой. Густую

жижу сливали в пузыри из рыбьей кожи и клали в теплое место, чтобы напиток приобрел нужную крепость.

Однажды ночью Савватей Храп подкрался к пузырям из рыбьей кожи и стал пробовать вино. Старуха привстала на локоть, прислушалась к шороху и завизжала. Савватей Храп уронил пузырь и припал к земле, зажмурив глаза и затаив дыхание. Он проклинал старуху, на которую потратил столько сил, просвещая ее словом Божиим. И вот благодарность за труды...

Пинчо схватил его за волосы и, приподняв, зарычал, словно раненый зверь. Камай поднял всполох. Яранга быстро наполнилась соседними чукчами. Рыча и скаля зубы, они подступили к Савватею Храпу. Пинчо гневно заговорил:

— Этот человек достоин смерти. Этот человек хотел украсть нашу радость. Он вор. Думайте, что будем делать?

Камай сказал, что вора надо раздеть и привязать к дереву на съедение волкам. По телу Савватея Храпа пробежал холод, и он заплакал.

Ерофей Хабаров смело выступил на его защиту.

— Мудрый Пинчо,— сказал он,— ты хочешь наказать моего слугу. Это очень хорошо. Так поступают с ворами и в моей стране. Но слуга этот мне очень нужен. Я думаю, что ты не захочешь отнять его у меня.

— Как скажут люди, так и будет,— ответил Пинчо.

Чукчи долго обсуждали, горячо спорили, а потом решили: отказать нарушителям законов рода в гостеприимстве. Они тотчас же выдали казакам две лодки, дали каждому по собаке и проводили до реки.

Перед тем как покинуть становье, Илейка воспользовался уходом чукчей и зашел в ночную половину. Курхуэт даже не шелохнулась, продолжая стоять спиной к нему, и не отозвалась.

— Курхуэт, я больше не увижу тебя.

Она обернулась и посмотрела на него молча, с презрением и злобой.

— Курхуэт, скажи хоть одно слово. Курхуэт, я сохраню тебя в моем сердце.

— Я отталкиваю тебя! Ты чужой, и я тебя забываю.

— Курхуэт, хоть взгляни на меня!

— Уйди! Я не хочу о тебе думать,— грубо и жестоко сказала она, топнула ногой и угрожающе подвинулась к

нему. Илейка попятился от нее, понял, что ему нечего надеяться на ее милость, и, не оглядываясь, побежал к реке.

Его уже ждали. Ерофей Хабаров бранил Савватаея Храпа за слабость к хмельному. Илейка с отвращением глянул на Храпа и с болью сказал:

— Убить тебя мало!

Степан Поляков тряхнул чубом и обрадованно сказал:

— Илько, брось жалобиться! Брыкливую кобылу сбудем, огневого коня добудем. Вперед зри!

— То правда,— подтвердил Хабаров.— Айда, ухари!

Посадили казаки собак в лодки и поплыли. На горизонте горело незакатное солнце. Глухо шумела, билась о песчаный, обрывистый берег холодная, вспененная река. Вокруг, куда ни кинешь взор, простиралась тундра — болотистая, мшистая, кочковатая. Только кое-где поднимались маленькие, меньше человеческого роста, одинокие лиственницы да кустился на кочках ерник.

— Эка плешь господня, глазу не за что зацепиться,— канючил Храп.

Плыла ватажка греблей, на шестах и бечевою, сначала по Колыме, потом по безымянным речкам. В помощь себе подпрягали собак. Когда плыть стало трудно, лодки бросили, пошли целиной. Опустив головы и высунув изо рта длинные языки, за ними тихонько плелись собаки.

Казаки шли через горы, переходили быстрые ручьи и болотистые пади, заросшие осокой и ерником. Шли нескончаемо долго.

Вел ватажку Кырса, определяя дорогу по солнцу и Млечному Пути. Он уверял, что Млечный Путь — лыжный след, оставленный человеком, ходившим в страну счастья. Но небесная дорога была такой же бесконечной, как и тайга, через которую они брели. Мелкая, злоющая мошкара слепила глаза, впивалась в губы, щеки, залезала в уши и беспощадно мучила.

Положив кусочек бересты на язык, Кырса искусно подражал голосу птиц, но убить их палкой или камнем удавалось редко. Питалась ватажка собачьим мясом, грибами и медвежьим чесноком; случалось, ели и сосновую кору.

Грязные, потерявшие понятие о времени, расцарапанные и обалдевшие от усталости, шли все вперед и вперед, а когда их оставляли силы, забирались на горы, в безо-

пасные от зверей места. С трепетом и замирающим сердцем оглядывались на пройденный путь, смотрели на высокие сосны, на темные ели и вечно дрожащие листья осин. Все зеленело, все дышало и жило, все предвещало хороший исход. Казаки валились прямо на землю или на камни и, положив кулаки под головы, спали тяжелым, тревожным сном. Бывало, что спали на кочках, посреди болота. Однажды Савватей Храп скатился в трясины и стал тонуть, но его спас Кырса, вовремя подав ему длинную палку.

Иногда тайга раскрывалась перед ними, как темная могила: встречала дождем и пробирающим до костей холодом, смущала и без того дрогнувшие души. Кругом струилась и текла вода, с шумом и грохотом прокладывали себе дорогу горные ручьи. В такое время казаки отсиживались под скалами и, охваченные тревожной дремотой, слушали сквозь сон, как льет дождь, как режут горные потоки.

Когда в разрывах туч показывалось солнце, казаки оживали, быстро собирали свое скудное добро, покидали сухое место.

Шли молча. Каждый про себя думал, что не выйти им к людному месту, но все же смотрели вперед. Одна надежда медленно угасала, другая являлась ей на смену.

Так прошли они лето, осень и зиму.

Тяжелее, чем другим, было Савватею Храпу. На его голову сыпались проклятия и упреки. Словно побитая собака, брел он за ватажкой, на ночевках почти не спал, тяготясь своей виной перед согласниками.

— В тягость ты нам дался, — сказал раз Томило Довбач. — Из-за тебя крест несем.

Степан Поляков сжал кулаки и угрожающе замахнулся:

— У-у, жадюга праведный! Дам раз — и очи вон!

Савватей Храп упал на живот и, ползая у его ног, стал просить пощады. Ерофей Хабаров угрюмо молчал: в нем вызревало страшное решение. Кырса пытался уладить дело миром, но на него цыкнули, и он, склонив голову, убежал в чащу, чтобы не смотреть на злую расправу. Вскоре он выбежал из чащобы и замахал руками. Все обратились к нему, даже Савватей Храп приподнял голову.



- Что еще придумал? — спросил Хабаров.
- Все ладно! Мои глаза видели. Все ладно!
- Экой ты! Да что ладно?
- Я видел человека.

Он снова метнулся в чащу. Все кинулись за ним, по его следу.

Под деревом сидел высохший тунгус. Был он мал и уродлив, смотрел на восток орбитами выклеванных птицами глаз. На коленях у него лежал сломанный лук, у пояса висел нож в деревянных ножнах, у ног — топор без топорща. Возле дерева белели кости оленя, валялась упряжь и нарты. С немым удивлением казаки смотрели на труп и недоумевали. Кырса сказал:

— Есть мертвый, есть и живые. Все ладно. Пойдем!

Заросшей тропой ватажка добралась до становья. Встретил казаков старый тунгус. Кырса радостно приветствовал его. Тунгус рассказал, что недалеко от становья, на берегу большой реки, стоит город. Он, озираясь по сторонам, говорил быстро и сбивчиво, понять его было трудно. Ерофей Хабаров решил сам сходить за вестями. Старик охотно согласился указать ему дорогу, но идти с ним в город отказался. Хабаров пошел один, его согласники остались на становье.



ЧАСТЬ  
ВТОРАЯ

Ерофей Хабаров стоял на взгорье. Внизу, на песчаной бугровине, в кругу чахлого кустаря и малых озер, возвышались башни Якутского острога. Острог был выстроен сотником Петром Бекетовым в 1632 году для опочива служилым людям и обережения торговых путей в северные и восточные земли.

Прочная, срубленная из толстого дерева стена, глубокий ров и густой частокол опоясывали острог. Из темных зевов бойниц, словно змеинные жала, вытягивались дула пудовых пищалей. На башнях стояли дозорные стрельцы. Вся окружность на расстоянии полета стрелы была усеяна железными спицами, копьецами от стрел, заостренными крючьями. Все это было присыпано песком и листьями.

Возле острога струилась широкая река Лена. Гуляла по ней веселая зыбь, зеленели острова, густо побеленные черемуховым цветом. В заводях покачивались государевы и торговые суда. По хлопающим сходням взад-вперед сновали береговые ярыжки. Ерофей Хабаров с радостью и волнением вслушивался в их сочную ругань, узнавал родную речь. Ярыжки выгружали из дощаников кули толкна и гороха, связки сушеной рыбы, чувалы из свиных шкур с порохом и свинцом.

Когда стемнело, Ерофей Хабаров спустился с горы и вместе с ярыгами вошел в острог; ярыги пошли в кабак, Хабаров за ними.

В кабаке было чадно. Пахло черемшой, винным духом и потом. Упираясь руками в бока, козырем ходил по избе Чеботка Базан. Он приседал, кланялся кабацкой голи, затем, встряхнув головой, пускался вприсядку с гиком и присвистом, выделявая разные коленца.

- Эх, ходи изба, ходи печь!..
- Важно!
- Откалывай, Чеботка!

Причмокнув губами, щелкнув языком и ударив ладонью по надутым щекам, он завертелся волчком и остановился вдруг против Ерофея Хабарова, почувяв в нем человека особой породы. Все царские печати, какие только имелись в то время, были выжжены на Чеботкином широком лбу, а голова повязана простым платком, концами назад. Его ладные, сильные плечи покрывала в обтяжку меховая куртка, перетянутая узким ремнем, за которым торчал пистоль заморской работы. Бархатные шаровары свисали пузырями над сапогами из сафьяновой кожи. Он сплюнул сквозь зубы Хабарову под ноги и спросил, важно задрав голову:

— Ты что за диво такое?

— Искатель фарта!

— С добычею али так?

— Не только с добычей, свое потерял. Подумаешь умом, так волосы дыбом!

— Ты не печалуйся. Удача — кляча, лишь скачи да кричи. Пойдем-ка, угощу тебя. Нынче у меня праздник.

Он взял Ерофея Хабарова за рукав и поволок к стойке. Целовальник нацедил два глиняных ковша вина.

— Рони деньгу!

— Получай!

Чеботка Базан чокнулся с Хабаровым, они разом подняли чаши и выпили.

— Я вижу сокола по полету, — подмигнул Чеботка. — У меня нюх на удачных людей.

Ерофей Хабаров закусывал квашеной черемшой, проникался уважением к добряку, к его багровым рубцам.

— Видать, ты горя-кручины набрался? Вишь, лбину как испохабили.

— С тавром хожу, чтобы не потерялся. Ты не гляди, что я таков. Я кум сатане и дьяволу сват. Я у самого Васьки Пояркова<sup>1</sup> казаком был, ходил в дальние походы. Я много земель новых видел.

---

<sup>1</sup> Василий Поярков с отрядом служилых людей был послан из Якутска в 1643 г. для обследования Приамурья, или Даурской земли. Поярков с притока Алдана — Учюра перешел на верховье Зеи, по ней спустился на Амур и по Амуру доплыл до моря; из устья Амура он пошел вдоль берега на север до реки Ульи и в 1646 г. вернулся в Якутск рекой Ульей и притоком Алдана — Маей. Этот поход сопровождался большими лишениями. Казаки ели трупы своих убитых товарищей.

— Ну?

— Калачи гну! Глотнем-ка еще по одной, и слухай.

— Обрадуй сказом, послушаю.

— Ходили мы недавно в Дауры за добычей. Места там людны, хлебны и собольны. Места не чета здешним. В земле родится золото и синяя краска. Серебряная руда выходит на верх земли накипью. Течет там большая река Амур. Вода в ней черна как сажа. Рыбы — вода кипит. Осетры и калуги до трех сажен, толщиной с дородного человека. По берегам — городов, что грибов. Жители тамошние всякий хлеб сеют, кумачи, камки и бархат ткнут, садят вино в медных котлах с трубами, держат кур и свиней, бойко торгуют. В Даурах богатства всякого столько, что не обнять.

И вот подошли мы к Даурскому городищу. Посередь его золотая гора, огнем так и полыхает. Хотели мы той горой завладеть. Только приступить стали, а встречу нам богатырь двух сажен ростом. Ухватом человек десять загребет, сожмет в кулак и давит. Все даурцы в кабале у него, воли не имеют. Много сгубил лиходея и наших казаков. Эх, думаю, была не была: подскочил к нему и хотел мечом рубануть, схватил он меня и перекинул через стену в город. А богатырь тот из богдойской земли. Даурцы свалить его хотят, да сил не имеют, живут в неволе.

В глазах у Ерофея Хабарова загорелся угрюмый огонь, сошлись недовольно брови.

— Сказываешь не так, врешь много!

— Коли вру — пусть на месте умру. Черти кожу слупят, и ни один святой не заступит. Ты слухай!

Кабатская голь столпилась вокруг них, слушала, разинув рты, подбадривала:

— Говори, удалой, говори смелей!

— ...И попал я в полон к даурцам. Стали они меня допытывать: то да сё. Какой человек, зачем пришел? «Торговать», — говорю. «А много товаров у тебя?» — «Много, — отвечаю. — Столь, сколь звезд на небе». Но они не поверили. Два года пытали, а я все высмотрел, да и поминай как звали...

— А сколь пути к той стране? — спросил Ерофей Хабаров, постукивая ногтем по глиняной чаше.

— Что, аль проведать хочешь?

— Может, и соберусь в час добрый.

— Плыли мы Алданом-рекой, а обрат бежал я Олекмой. Идти по ней ближе и кормнее. Надумаешь идти — меня прихватить не забудь. Без меня не обойдешься.

В душе Ерофея Хабарова проснулась дремавшая удаль. Случай был подходящий. Он допускал, что в словах Чеботки Базана много неправды, и, чтобы испытать его, решил удариться об заклад.

Чеботка взъярился:

— Ладно! Что держишь?!

— Давай голова за голову. Окажется правдой хоть половина — с меня голова прочь. А нет — ты с миру долой. Ну, согласен, что ли?

— Ладно, согласен!

Ударили по рукам, выпили по третьей чаше. Чеботка обрадовался, что нашел смелого человека, притопнул ногой и снова завихрился в лихом плясе.

Чеботка понравился Хабарову, он с восхищением смотрел на него и думал о своем: «В одном сорвалось, в другом поймается. Не сумел взять силой, возьму уловкой».

Смелые мысли зароились в его голове, воображение ясно представило заманчивое будущее. Вдруг счастливая догадка подсказала ему, что надо делать. Он решил пойти к местному воеводе, уязвить его душу прибылями, что сулила Даурская земля, уйти туда и зажить советно и вольно.

Хабаров был почти уверен, что царь, узнав о новых землях, которые он присоединит к России, простит ему все вины, как прощали цари до того всем добытчикам.

— Эк, незадача! — вскричал вдруг Чеботка Базан. — Спорили о головах, а о главном позабыли. Для такого дела харч да люди нужны.

— Про то знаю, — ответил Хабаров. — Не твоя беда, а моя... Скажи-ка, кто воевествует тут?

— Воевествует немкин сын, выкрест, Дмитрий Францбеков.

Он рассказал все, что знал о якутском воеводе, о его чудачествах.

— Добре! Весть о себе подам, когда время доспеет. Тебя не забуду...

Ерофей Хабаров, не смыкая глаз, всю ночь думал, как прельстить воеводу.

Воевода Якутского острога, Дмитрий Францбеков, челобитчиков не принимал. Вином глушил обиду на царя. Францбеков был русским дипломатом в Швеции. Царь Михаил Федорович дал ему наказ писать о посольских делах затайным письмом, по азбуке, изобретенной патриархом Филаретом в 1633 году. Государь писал в наказе:

«Да что он, Дмитрий, будучи в Свее, по сему тайному наказу о тех или иных наших тайных делах и наших тайных вестей проведает и ему о всем писати ко государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всея Руси к Москве по сему государеву тайному наказу затайным письмом».

Плохо владея тарабарской азбукой, Францбеков написал царю открытое письмо о притязаниях швейской королевы Христины в связи с перебежчиками, которые тайно переходили в Россию, из отошедших по договору к Швеции русских земель. Королева требовала возмещения убытков и примерного наказания виновных в присутствии шведских властей. Это унижало престиж страны. Но дело было не только в престиже. За перебежчиков пришлось заплатить деньгами и рожью. Бремя легло на псковичей. Они не вынесли тягот поборов и восстали. Псковское восстание еще более обострило отношения между Швецией и Россией.

Царь усмотрел в поведении Францбекова нерадение и неспособность защищать интересы страны. Михаил Федорович разгневался и повелел Францбекова, лишив его посольского чина, назначить воеводой в Якутск.

Ехал Дмитрий Францбеков мешкотно и с большим прохладом — около трех лет. В Енисейске узнал о смерти царя-обидчика, надеялся, что его сын, Алексей Михайлович, уважит заслуги и вернет в Посольский приказ. Ожидая ответа, томился в Енисейске, Илимске и Усть-Куте. Однако под кроткой личиной молодого царя скрывалась далеко не голубиная натура. Молодой царь учредил Приказ тайных дел, повелев ему, Приказу, укреплять самодержавную власть, и занялся соколиной охотой, которая отнимала у него много времени. Только на охоте он был в хорошем настроении и с ним можно было говорить, не боясь гнева. Алексей Михайлович с детских лет слышался всяких небылиц о дурном глазе, порче и колдов-

стве от своих державных родителей, с большой опаской следивших за тем, чтобы люди, знающиеся с колдунами и ведунами, не проникали в Кремль. Это вызвало у наследника подозрительность, мнительность и набожность.

Алексей Михайлович усердно соблюдал правила веры. В великий пост питался один раз в день и пил один квас, а в понедельник, в среду и пятницу не ел ничего, разве только кусок черного хлеба с солью, соленый гриб да кислый огурец. Между постами не ел мяса, в такие дни подавали до шестидесяти рыбных блюд. Если столыники, будущие бояре, опаздывали на смотр и к обеду, царь приказывал тут же купать в пруду в любую погоду. В одном из писем своему ловчему Афанасию Ивановичу Матюшкину, начальнику Конюшенного приказа, царь писал:

«...Да извещаю тебе, что тем утешаюся, что столыников беспрестанно купаю ежеутр в пруде... Человека по четыре, по пяти и по двенадцати человек, за то, кто не споеет к моему смотру, того и купаю...»

Алексей Михайлович отличался вспыльчивостью. В минуты гнева он был способен на любое коварство и жестокость.

Нового царя остерегались. Дмитрий Францбеков не знал царского характера. Но еще в пути, в Тобольске, узнал, что Алексея Михайловича, как и правителей других стран, особенно английских и немецких, очень интересуют пути в Китай, Индию и Америку. Дмитрий Францбеков решил напомнить царю о себе каким-нибудь громким делом. Но каким? После того как Василий Поярков, потеряв почти всех людей, вернулся из далекого амурского похода с пустыми руками, царь запретил зря тратить казну, велел оберегать уже освоенные земли, о новых местах не мыслить, а воеводу Головина за нерадение государеву делу, за корысть и жестокость отозвал в Москву вместе с его соучастниками. Дмитрию Францбекову в Якутске досталась богатая казна. Мешки с деньгами лежали в тайниках воеводы. А что в них проку? Злость мешала воеводе здраво думать. Никак не мог забыть Францбеков обиду, пил назло царю, заплывал жиром. Нос его побагровел, веки опухли, под большими серыми глазами легла синева. Но чем больше он пил, тем ему становилось тяжелее. Все чаще и чаще начали посещать его смутные мысли, про себя думал: «На погибель послал царь в дальнюю сторону... уморить



хочет...» До царя было далеко, а от челобитных не было пользы. Не любил царь Алексей Михайлович жалобщиков, грозил опалой.

Как лучше употребить казну, Францбеков не знал. Так и жил в томлении, тешил себя разными забавами и чудачествами.

Посреди избы лежал мешок с червонцами. Сопя, крутился возле мешка оборванец, пробовал поднять. Шея у него налилась кровью, вздрагивала голова, тряслись руки. Дмитрий Францбеков, красный, со сжатым ртом, со злым лицом, вытянулся через стол.

— Хватай его! Ну! Унесешь — твое!

Нищий мог бы поднять мешок, но он не верил в щедрость воеводы, боялся его. Он упал на колени, испуганно замигал глазами, безнадежно сказал:

— Не могу я, батюшка!

— Не можешь?

— Отощал с голодухи. Не могу. Не хочу я богачом быть, мне бы только на пропитание малость. Христа ради, батюшка, прошу.

— А? Не можешь?

У Францбекова раздулись ноздри. Он сузил глаза, поднялся во весь рост, затопал ногами.

— Вон, холопья кровь! Вон, чтоб духом твоим не пахло, а то расшибу!

Нищий захныкал, пополз и задом открыл дверь.

— Ату его! Держи!

Дьяк Оська Степанов увещевал челобитчика и не пускал в неурочный час, ждал, пока воевода придет в себя. Но дерзкий челобитчик поспешно вошел в горницу, враспяжку упал на пол и три раза стукнулся лбом.

— Кто таков?

— Русский человек, прозвищем Хабаров. А родом я из честной семьи Святитских. Дозволь старому опытовщику челом удариться?

— Встань!

— Не встану, батюшка... у твоих ног умру, а не встану, коли не выслушаешь.

В припадке великодушного озорства Францбеков схватил его за шиворот и поставил перед мешком с червонцами.

— Твое счастье в мешке. Унесешь — богатым будешь, не поднимешь — драть буду. Ну, покажи-ка свою удачу!

Хабаров сделал вид, что поверил воеводе, ухватил мешок за оба конца и, крикнув, закинул к себе на спину. У Францбекова опустились плечи, расширились глаза, сбегала с лица багровая краска.

— Вот и потешил! — закричал он в радостном исступлении. — Знатно потешил! Кажи, что тебе надобно?

Хабаров легко, без особой натуги, положил мешок на пол и снова упал на колени.

— Дозволь мне, холопу твоему, Ярошке, идти в Дауры, на великую Амур-реку с охочими людьми и государевым счастьем тамошние народы под высокую царскую руку приводить и ясаки с них брать.

— Не по ястребу перо. И допрежь тебя ходил Васька Поярков, а ничего не добыл. Только в денежном и хлебном жалованьи, в свинцу и в зелье учинилась большая поруха.

Хабаров припал губами к воеводскому сапогу, еще усерднее стукнулся лбом.

— Прости, что молвлю слово советливое, только Васька тот пути не знал. Ведом мне путь через Олекму-реку. Путь этот ближе и кормнее. Не пройдет и года, помогу твою с лихвой верну и вовек доброту твою не забуду.

Францбеков подошел к столу, налил из жбана квасу в деревянную чашу и долго пил, поглядывая из-за края чаши на Хабарова. В нем пробудилась прежняя живость ума и воображения. Во всей красе встала перед ним рудная, хлебная и собольная страна. Он обрадовался счастливому случаю. Однако поборол в себе радостное смятение и спросил строго:

— Ты в скопе против воеводы Головина был?

— Батюшка, неповинен. Я на Лене хлебом и солью промышлял, а когда в Илеме шатость была, плавал я в Студеное море для приискания новых земель и обнищал на этом деле.

— Я тебя, вора, насквозь вижу, — недоверчиво косясь, сказал Францбеков. — Ты смел дюже и языкаст. А мне твое смельство по душе пришлось... Ну, добре! Жалую червонцы для начала и приказным человеком той земли. Вернешь кабалы через год, а не вернешь — на кобыле запорю, чуешь?

Хабаров осторожно поднялся и, склонив голову до самой земли, уверенно и с достоинством проговорил:

— Я, добытчик новых земель, скорблю о пользе родного края. Я не в корысть себе задумал обыскание земель... Я имя твое славой украшу. Мои дети, внуки и правнуки будут помнить тебя. Я верну кабалы ранее года и с великой прибылью.

— Не прибыль дорога, а отвага на добрые дела и верное слово. Ты хоть и не знатного рода, однако же духом крепок и умом сметлив. Ступай, сзывай люд, я подсоблю.

Не чуя под собой ног, вышел от него Хабаров и, не мешкая, направился к своей ватаге.

Хабаров пришел к людям радостный и возбужденный, скинул мешок с червонцами и стал вытирать ладонью обильный пот. Казаки окружили его и смотрели, затаив дыхание.

— Ну, не томи, атаман! Кажи, что за вести принес? — спросил Томило Довбач.

Хабаров обошел каждого, потрепал по плечу, сел на кочку и горячо заговорил:

— Ну, думайте, ухари, думу. В тайге нам жить — ворами слыть. В Илим идти — в неволе жить. Был в Якутском остроге и в царевом кружале проведал про знатную страну Даурию. Сказывал мне про то знатный бывалец Чеботка Базан. Бил я челом воеводе Францбекову, отпросился в ту знатную страну. Так пойдем же в Дауры! Соберем славу вечную и прибыль великую. Заслужим свои вины.

Чтобы казаки не раздумывали и не сомневались в правдивости сказанного, Хабаров решил подкрепить свои слова червонцами. Он развязал мешок, и оттуда глянули во всей своей манящей силе золотые. Степан Поляков запустил руку в лохматый чуб и застыл. Кырса, выпятив губы, цокал языком. Савватей Храп скрестил руки на груди, не спуская глаз с мешка. Илейка равнодушно смотрел на червонцы и на своих согласников. Его не прельщало золото. Манила воля. Вдруг сомнение запало в душу, он переступил с ноги на ногу и спросил:

— А нет ли подвоха?

Хабаров снова рассказал про все, что узнал в Якутском остроге: про то, как ударились об заклад голова за голову с Чеботкой Базаном, про воеводу и про мешок с деньгами.

Судили, рядили казаки и порешили еще раз попытать счастья. Они набили карманы червонцами и пошли в Якутский острог подбивать охочих, гулящих и промышленных людей в поход на Даурскую землю. Пили, кто сколько мог. Пропивали червонцы, посулами заманивали в свою ватагу смелых людей.

### 3

Дмитрий Францбеков сдержал слово. Он созвал торговых людей и безвозмездно отобрал у них хлеб и суда. Кто упрямылся, отнимал силой. Из государевых запасов выдал две чугунные пушки, кремневые ружья, панцири, котлы, знамя с ликом Михаила-архангела и медный складной образ святителя Николая-чудотворца. Кроме того, на каждую казацкую голову дал по три фунта пороху и свинца, по три пуда сухарей ржаных, по два пуда круп и толокна, по пуду соли, по кремню с огнивом.

Казаки уложили припасы в кожаные мешки, погрузили на суда и пошли в кабак подкреплять силы и ратный дух.

Дьяк Оська Степанов трудился над письмом. Перед ним лежала длинная, клеенная из листов бумага, в руке гусиное перо. Дмитрий Францбеков ходил по светлице, думал, как лучше известить царя, чтобы не испортить дела.

— Оська, перечти-ка челобитье!

Степанов склонился над бумагой и, водя пальцем по строчкам, зачистил:

— «Государю, царю и великому князю Алексею Михайловичу, всея Руси самодержцу, холоп твой Митька Францбеков челом бьет. В Якутском остроге, в съезжей избе подал мне, холопу твоему, челобитную старый опытовщик Ерощка Павлов сын Хабаров...»

— Погодь! То неладно, иное надумал,— перебил его Францбеков.— Отписки по делу сему дадим после. Делать будем без шума. Пиши Ерощке наказную память.

У Степанова сморщился лоб, он задвигался и часто задышал.

— Думно мне, государь прогневаается на самоуправство. А кто знает, выйдет ли толк?

— Сие до царя не дойдет, как и многое не доходило ранее. Ну, пиши!

— А если дойдет?

— Невелика беда. Зверь в наших местах опромышлялся, зверя достать надо. Добудем Даурское царство — благодарить будет. Пиши: «Лета 7158<sup>1</sup> июля в 9-й день, по государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси указу, посылаем мы, воевода Якутского острога Дмитрий Францбеков да приказной дьяк Осип Степанов, Ерофея Павлова сына Хабарова для приискания новых земель и государевой прибыли...» Все ли списал толково?

— Все, как тобой сказано, батюшка.

— «...а велено ему неясчных, непослушных людей, которые государю ясаку не платят, приводить и смирять их, прося у бога милости ратным обычаем. Безвестным тайным приходом и на государя с них ясак имати: соболи и шубы соболины, лисицы черные, бурые, черночеревые и красные, ожерелья и шубы горносталя, бобры и выдры... А у которых будут неясчных людей степные места, а не лесные...» Тут погоду, дай помекаю...

Дмитрий Францбеков встал и заходил из угла в угол, потирая руки:

— Пиши: «А в тех степных местах соболей и лисиц, бобров и выдр нет; с тех людей имати иными какими зверями или узорочными товарами, что у них в их земле есть: золото, иль серебро, иль редкие камни дорогие, по их изможению. А затем бы они не раздумывали, что для своей ясачной звериной скудости им не быть под государевой высокой рукой. И им бы однолично ни в чем том не опасаться и вперед бы государю прочно было и стоятельно, а им бы, новым людям, не в тягость и не в налог, чтобы их тем от царские высокие руки не отогнать...» То все исписал?

— Все, батюшка.

— Добре! А ну, перечти-ка грамоту.

За окном слышалась озорная песня и лихой высквист. Степанов выглянул.

— Казаки шельмуют. Из кабака, видать; рожи с репоя опухли. Ежедень так-то.

---

<sup>1</sup> В старину летосчисление велось от так называемого сотворения мира, причем год начинался с 1 сентября. Освоение Даурии Хабаровым происходило в 1649—1653 гг.

Дмитрий Францбеков прислушался, вытянул руку, сжал кулак.

— Ужо возьмут новую землю, приберу к рукам. Сам воеводить сяду. Чти-ка грамоту, да подпишусь, и припечатает.

Степанов перечитал грамоту, подошел к окованному железом небольшому ящику, достал из-за опояски ключ. Как только ключ оказался в замке и дьяк повернул им три раза, послышалось несколько радостных мелодий, вызывающих благостное настроение.

Воевода и дьяк с умилением прослушали хитрую музыку.

На серебряной печати был вырезан орел, держащий в когтях соболя, а вокруг него слова: «Печать государева новые сибирские земли, что на Великой реке Лене».

Рядом с печатью Якутского острога, в том же ящике, хранилась и вторая с надписью: «Печать государева таможенная». Она выглядела беднее, ставилась на проезжих грамотах.

Печати посланы царем, когда было учреждено Якутское воеводство. Государь повелел беречь печати как зеницу ока.

Припечатав грамоту, Степанов затих в раздумье. Ему казалось, что он еще не все сказал. Францбеков подписался и посмотрел на него.

— Сдается мне, еще что-то сказать хочешь?

— А смекнул я, что не худо бы к Ерошке приставить верного человека.

— Так почему думаешь?

— Ерошка — без роду и племени. Болтают, вором был. Не убеги бы?

— Ладно! Для догляда за прибылями и сбора каменных денег отрядить боярского сына Матвея Лихачова. Он — сметлив, легок в походе и умом крепок. Скажи ему, пусть собирается да зайдет ко мне.

#### 4

Перед отправкой ватаги в поход Дмитрий Францбеков пригласил Ерофея Хабарова и Матвея Лихачова в острожную церковь. Поп Евстафий встретил их с крестом и евангелием.

Хабаров опустился на колени и, поцеловав крест, дал клятву не утаивать доходов, полностью передавать добытое в царскую казну, служить верой и правдой:

— Яз, Ерошка сын Хабаров, целую крест Господень государю своему царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси на том, служить мне ему, государю своему, царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, и прямити и добра хотети во всем, в правду, без всякие хитрости, и его государского здоровья мне во всем оберегати, и никакого лиха ему, государю, не мыслити, и опричь государя своего, царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси, на Владимирское и Московское государство и все великие государства российского царствия иного государя из иных государств, Польского и Литовского, и Немецких реш королей и королевичей, и из розных земель царей и царевичей, и из русских родов никого не хотети, и государства под ними государи не подыскивати никакими мерами и некоторою хитростию; а где уведаю или услышу, на государя своего, царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси в каких людех скоп и заговор, или иной какой злой умысл и мне за государя своего царя и великого князя Алексея Михайловича всея Руси с теми людьми битися, и будет мочь сяжет, и мне их переимаю привести к государю... ни к какой воровской прелести не приставать... служить по сему крестному целованью...

Боярский сын Матвей Лихачов присягнул не за страх, а за совесть оберегать казну от воровства, а казаков — от злого умысла против воеводы и государя.

После богослужения Дмитрий Францбеков налил в оловянные чаши вина и, обойдя каждого, сказал:

— Велю идти бережно и остерегательно. Берите не боем, а ласкою. А коли случится беда, бейтесь, не щадя голов. Ясачные именные книги<sup>1</sup>, распросные речи и чертежи новых земель справчиво пришлите мне в Якутский острог. Ну, с богом!

Он поцеловал Хабарова в губы и вновь наполнил чаши. Евстафий благословил на бранный подвиг. Осип Степанов вручил наказную проезжую грамоту.

Все население Якутского острога высыпало на берег

---

<sup>1</sup> Именные ясачные книги — книги, в которых были переписаны люди, платящие натуральную подать — ясак.

проводить ватагу в далекий путь. Заиграла согласно музыка: зазвенели литавры, загудели гудки, завывали сурьмы и дудки, загрохотали барабаны и бубны.

Когда Ерофей Хабаров и Матвей Лихачов ступили на палубу, бахнули выстрелы. Покатились по реке прощальные гулы... Береговые впряглись в ляпочные хомуты и, горбясь, потянули суда против течения. Захлюпала вода, зашуршала под ногами галька. Ватага двинулась на поиски новых земель, казны и рухляди.

Плыли казаки не торопясь. Возле устья Олекмы встречали торговые суда сольвычегодца Павла Базимова. Степан Поляков взобрался на мачту и засвистал.

— Братаны, добыча!

Казаки вломились на суда и схватились врукопашную. Купца спеленали, поджарили на огне, кинули в воду. Его верных слуг убили, пустые суда подожгли и пустили по реке.

— Знай наших!

Матвей Лихачов хотел было заступиться за купца, но кто-то из казаков ударил его кулаком по переносью. Он подбежал к атаману и стал попрекать его.

— Ты делаешь негораздо! Ты потворствуешь разбою, а за такое воевода не помилует.

Ерофей Хабаров только и ждал этой минуты. Давно лелеял мысль избавиться от приставника.

— Эй, ты! Привык к пирогу с грибами, а тут держи язык за зубами.

— Богоотступник! — взвизгнул Матвей Лихачов и выдернул меч из ножен.

— Гей, не балуй,— предупредил его Хабаров и тут же скомандовал:

— Сюда, ухари! Покажите-ка ему, где раки зимуют!

Лихачова схватили, привязали камень на шею и погрузили в омут.

— Плавай, боярский сын!

Ерофей Хабаров ухмыльнулся в бороду, похвалил за чистую работу.

— Добре, ухари! Знатно спровадили холоя!

Подневали тут казаки, попили купецкого вина и потянули суда вверх по Олекме. В пути громили торговые суда и дуванили купецкое добро, встречных якутов и тунгусов замиряли боем и ласкою.

Плыли, не горевали.



Все реже и реже стали встречаться якутские и тунгусские становья. Вскоре их не стало вовсе. День за днем, чем дальше плыли по Олекме, глуше становились места. Русло реки сдавливали высокие, нескончаемые горы. На их вершинах курились облака. На склонах росли седые, лохматые ели и казались воинами, лезущими на приступ.

Под обрывом, над самой рекой, вился бечевник; кипела вода, скручивались коловерты. Береговые казаки держали лямки в зубах, а руками цеплялись за острые выступы, ползли по обрывистым скалам на животах, и шаг за шагом продвигались вперед. Голые казачьи спины и плечи почернели от ветра и солнца, ноги покрылись болячками. Слабосильные срывались и падали в бурлящую воду. Утопших заменяли живые. По реке неслись исступленные проклятья, ругань.

— И куда нас несет нечистая сила?

— За счастьем!

— У купцов да воевод блажь, а у нас — плач. Эх, родимая!

Шли казаки с утра дотемна. Когда вопли и крики учащались, Ерофей Хабаров подавал команду к причалу. Береговые выпрыгались из лямок, прикручивали бечевы за камни и таловые корневища.

Кричали есаулы:

— Разводи костры!

Кашевары разжигали огни, выносили на берег медные котлы, варили кашу.

Над вершинами гор томилось мрачное зарево. Толклись комары и мошки. До крови расчесывали казаки лица, шеи и руки, коптились в дыму. Ерофей Хабаров перед сном обходил своих людей.

— Все ли живы?

— Наша доля — смерть или воля. Живем, пока душа держится.

Есаулы хмуро, неохотно докладывали об утопших. Казаки с болью вспоминали добрые дела своих согласников, крестились.

— Царство им небесное, — заключал беседу Хабаров и шел дальше. Где были особенно несговорчивы, садился на корточки, ободрял посулами.

— Впереди — райская страна... Рек и лесов много

там, прожить будет способно, а назад нам дорога заказана. Будем переносить нужду без ропота, а добредем — гуляй, не зевай!

Хабаров незаметно подминал под себя людей, внушал им страх и любовь к себе. Казаки проникались его верой, забывали обиды и были готовы идти на любые лишения, чтобы только достигнуть страны, где вольная жизнь — услада.

Илейка Жук за эти годы сильно изменился: раздался в плечах, огрубел лицом и выглядел старше своих лет. Он лежал на мшистом большом камне и, положив голову на ладони, разглядывал Ерофея Хабарова. «Атаман упрям и нравом крут... — думал Илейка. — У него сердце горячее, а голова холодная». Его беспокоила самоуверенность Хабарова, он завидовал его упорству и силе, но в то же время Хабаров рождал в нем смутное чувство досады. Атаман казался ему порою неоправданно жестоким и жадным.

Уставшие за день казаки быстро засыпали. Разговоры и песни сменялись храпом и вздохами. Отблески костров лизали их лица. По утесам струились тени. Из ущелий по-осеннему тянуло сырým туманом, листвяной прелью, грибным запахом. Только и слышно было, как трещали сучья в жарко полыхающих кострах да бурлила река. Из тьмы выбегал горноста́й, острыми глазами оглядывал огни, подбегал к спящим, смело схватывал остатки брошенной пищи и уносил в кусты. Белки, сидя на ветвях дуплистых лиственниц, подолгу смотрели на людей и, встревоженные чьим-либо движением, быстро исчезали.

Первым пробуждался Ерофей Хабаров. Он вылезал из мурьи, разминал плечи, подавал команду к отвалу. Есаулы принимались будить людей. Казаки нехотя вставали, почесывались, кашляли, чихали, грызли ржаные сухари, потом, припав к воде, пили.

Туман затягивал реку белесой плесенью. Береговые влезали в лямки и снова шли, переходя вброд ручьи и протоки, покрытые топляком и корягами. И так версту за верстой, день за днем — до устья Тугира. Здесь подневали, сменили старые олочи на новые, подсчитали харчи — и снова в путь.

Сурово встретила их Тугир-река. Преграждала дорогу порогами, скрывалась под горами плавника и карчей, совсем неожиданно мелела и бесновалась, обнажая ка-

менистое дно и мшистые крупные валуны. Казаки маялись у бычков<sup>1</sup>, ворочали камни, расчищали русло от наносного леса, делали из камней и досок запруды, переволакивали суда через перекаты и отмели.

Шло время. На деревьях появились блеклые листья. Закраснелись кисти рябины. На расцвеченном наряде тайги заиграли солнечные осенние блики. Тишина стала чуткой. Вода сделалась холодной, отливала серебром. Вскоре появились и забереги. Пошла шуга. Плыть стало труднее.

Ерофей Хабаров покрутил головой, плюнул с досады и собрал казаков, чтобы заручиться круговой порукой.

— Думайте, ухари, что будем делать? Тут зимовать — в нуже и стуже быть. Дальше плыть — сало, ледяное мешает. Думайте, умники!

Дымясь испариной, сбились казаки вокруг него и заспорили. Илейка Жук сказал:

— Медлить нельзя, надо пёхом брести.

— А куда брести? — спросил высокий казак в рваном зипуне.

— Чеботка — человек бывалый, путь знает.

— Я дорогу знаю, — отозвался Чеботка Базан. — Но не об этом забота: глубоки снега тут в зимнюю пору. Увязнем — всем нам карачун будет.

Когда спорщики выговорились, в круг вышел Кырса.

— Я знаю, что делать... Знаю, как из беды выйти.

— Кажи скорее!

Кырса посоветовал делать нарты и лыжи и сам взялся обучать казаков этому делу.

Пока делали зимний справ, река Тугир покрылась льдом. Выпал обильный снег. Казаки поклажу взвалили на легкие нарты, пушки поставили на полозья, сами стали на лыжи, подбитые мехом, и заскользили по снегу к хмуromу Даурскому камню<sup>2</sup>.

Река вскоре затерялась среди огромных, в человеческий рост, кочек, покрытых ерником. В падах встречались наледи. Вода здесь выбивалась через трещины наружу и заливала огромные пространства, образуя на сплошных водяных полях ловушки, слегка покрытые тонкой ледяной корой. В западни попадали козули и сохатые. Здесь было

<sup>1</sup> Бычок — крутой выступ берега, утес.

<sup>2</sup> В старину так называли Становой хребет.

настоящее кладбище замороженных зверей. Немало погубило тут и казаков, навеки остались они в ледяной могиле. Но удачливые продолжали поход.

Густели одетые изморозью леса, выше вздымались горы, крепчал мороз. В просветах между ветвями виднелось голубое небо. По утрам поднимался морозный туман. Деревья покрывались инеем. Снег был похож на густую пену. Замысловато узорили ее следы зверей.

Шли казаки без пути и дороги. Шагали гуськом, один за другим, как волки на промысле, с трудом волокли пушки и поклажу. Ночевали у костров, спали на распаренных еловых ветвях.

Вел ватажку Чеботка Базан. Теперь он шел не так уверенно, как раньше, когда встречались заплывшие смолой затески на деревьях: он то брал влево, то бросался в другую сторону, то заворачивал круто назад. Видно было, что шел наугад. Хабаров подолгу расспрашивал его, но от этих расспросов Чеботка терялся еще больше, хотя и уверял, что места эти ему знакомы, что вблизи должны быть становья лесных людей.

На Даурском перевале ватагу захватила метель. Коллющий ветер сбивал с ног, слепил глаза. Стало трудно дышать. Казаки падали, проваливались в сугробы, истощали последние силы, взбираясь с крутизны на крутизну, потом, словно по уговору, зашли за скалу, повалились друг на друга и заснули. Над ними выла пурга, крутила снежные вихри, заметала следы. Казаки отогревали друг друга дыханием.

К утру метель стихла. Бледные, с мутью в запухших глазах выбрались казаки из заснеженного каменного жилья и стали осматриваться. Хабаров пришел в смятение: ему показалось, что они хотят его убить. Он заглянул в глаза передним и понял, что не ошибся. Он стиснул челюсти. Прежде чем казаки решились объявить ему свою волю, он сумел взять себя в руки и придумал, что надо делать.

— Эй, поди сюда! — строго позвал он Чеботку Базана. — Помнишь, в Якутске головами об заклад бились?

— Помню, — ответил Чеботка, бледнея.

— Время доспело. Отвечай, что будем делать?

Казаки схватились за мечи и угрожающе подступили к нему.

— Казнить болтуна злою смертью!

Томило Довбач пробовал заговорить, но его не слушали. Хабаров повторил свой вопрос. Чеботка Базан закрыл глаза. Вдруг почудились ему звуки далекой и однообразной песни. Он хотел сказать об этом, но, глянув на хмурые лица, решил, что негоже передовщику вилять и трусить перед своими. Бледный, испытывая большую слабость, Чеботка выступил в круг. Мужество вернулось к нему, и глаза его засверкали отвагой.

— Я своему слову хозяин.

Скинув меховую куртку, он стал на колени, разорвал ворот рубахи и, обнажив шею, положил голову на валежину.

— Ну, атаман, рубай!

Хабаров не спеша поплевал на ладони, в его руках блеснул меч. Казаки попятились и затихли.

— Рубай скорее, а то смерзну!

Томило Довбач сорвал с себя шапку, все остальные тоже обнажили головы. Станный звук разнесся в пади и замер внизу. Потом снова послышался и стал повторяться все чаще.

— А-а... Эй-уа... Ай!

Казаки прислушались. Хабаров опустил меч и насто-  
рожился.

— Атаман, не томи... Рубай, что ли?

— Погодь... Богу смерть твоя не угодна.

Чеботка поднял голову и стал прислушиваться.

— Чую, человек поет. Тут жилье близко,— торжест-  
вуя, сказал он.

— Ну, счастье твое. Живи!

Чеботка вскинулся, хватаясь за свою куртку и шапку. Казаки сразу повеселели и готовы были продолжать поход. Чтобы удержать ватагу, Хабаров напомнил о трудном и опасном пути.

— Не гожее дело скопом идти,— сказал он.— Пусть Чеботка проведает, что там? Пусть «языка» добудет и свою вину заслужит.

Казаки с ним согласились.

Чеботка Базан подвязал покрепче лыжи, перекрестился и быстро заскользил по снегу. Люди смотрели ему вслед, пока он был виден, восхищались его ловким бегом, потом заговорили и заспорили.

Чеботка Базан радовался счастливому избавлению от страшной кары. Все ему теперь казалось интересным и

новым, все привлекало его и радовало: синее небо, заснеженные хребты гор, лохматые ели, поскрипывание снега под лыжами.

На дне пади он увидел ручей. Поверх ручья лежало дерево; на стволе — деревянные воротца, а через них перекинута несколько волосяных силков с бечевками и грузом. То была ловушка на соболей. Переправляясь по дереву, соболь просовывал в силок голову и, захлестнутый петлей, сталкивал камень и падал на лед. Снег был примят. Охотник, видно, только что был здесь, забрал добычу и ушел. Лыжный след петлял по снегу, терялся в чаще.

Охотник пел, не чуя беды. Он пел о том, как в ловушку попал соболь, о покрытой льдом речке, о толстых дуплистых деревьях, что встречались на его пути, о том, как горит огонь на стойбище и жарится мясо.

Чеботка ускорил бег. В просветах между деревьями он увидел человека, а на его спине двух вздрагивающих соболей. Он опередил человека с соболями и неожиданно вышел ему навстречу. Охотник оборвал песню и укрылся за лиственницей. Чеботка поднял кремневку к плечу.

— Эй ты, не балуй! — крикнул Чеботка.

Охотник повернулся боком и спрятал нож. Чеботка опустил ружье.

— О, лоча! — обратился к нему охотник. — Я — мирный зверовщик. Я не хочу тебе зла, и ты не делай мне зла. Тебе нужна моя добыча — возьми ее.

Он снял соболей и, оставив их на снегу, пошел, не оглядываясь.

Чеботке не раз приходилось встречаться с лесными людьми. Он хорошо понял все, что говорил охотник, и в душе его шевельнулась жалость. Он вспомнил о той опасности, которую только что сам пережил. Досадуя больше на себя, чем на охотника, Чеботка побежал по его следу, затем остановился и закричал на его родном языке:

— Стой! Мне поговорить с тобой надо!

Охотник обернулся, растерянно посмотрел на него, затем положил на снег нож и отвязал лыжи.

— Возьми мой нож, возьми лыжи. Все возьми. Я ухожу, уходи и ты.

— Стой! Мне тебя надо, а не лыжи!

Охотник кинулся от него и, размахивая руками, задыхаясь, побежал вперед, глубоко проваливаясь в снег.

Чеботка выстрелил. Человек упал на колени, закинул руки на спину и стал покорно ждать своей участи.

— Кто ты?

— Ороч Туронча. Пришел я из страны соболя и горностая. Я—подвластный человек даурского князя Лавкая.

Чеботка дружелюбно заглянул в глаза орочу, потом взял его за кушак и поставил на ноги. Туронча часто замигал и заплакал.

— Перестань чудить. Собирай свое добро и пойдем ко мне в гости. Я тебе добра желаю.

— Отпусти меня,—просил Туронча, вытирая слезы.—Здесь недалеко мое стойбище...

Он рассказал о себе все, что мог, и с надеждой посмотрел на Чеботку.

— Не отпускаю. Ты мне нужен. Я тебя в обиду не дам. Понял? Становись-ка на лыжи!

Туронча собрал свое снаряжение, подвязал лыжи, тоскливо поглядел на потемневшие деревья, на розовую полосу заката над дальними горами и спросил:

— Куда пойдем? Далеко ли пойдем?

— Не твое дело. Прямо иди. Иди по лыжному следу. Да гляди, худого не мысли!

Туронча покорно пошел по лыжному следу. Чеботка, насвистывая веселую песню, не отставал от него.

Чеботка и Туронча подошли к ватаге, когда уже потухла заря и полумгла окутала тайгу. Казаки высыпали им навстречу. Они спрашивали, заглядывали в лицо орочу. Чеботка защищал своего пленника от любопытных.

— Прочь с дороги, сомну!

Казаки почтительно расступались, давая дорогу. Хабаров обнял Чеботку и расцеловал в обе щеки.

— Я винюсь перед тобой. Ударь меня, а то радости нет... Сплоховали мы давеча, в большом долгу перед тобой.

— Атаман, не пора нынче счета сводить. После долг свой припомню.

— Эх, удал! Ушел пешком, вернулся верхом. А ну, покажь сыроядца!

Ороч, казалось, ничего не слышал и ничего не замечал. Он дрожал от страха: никогда не доводилось ему видеть длиннородых людей.

— Кто он? Из какого племени?

Чеботка рассказал обо всем, что удалось узнать ему от незнакомца. Плотнo обступив его, казаки слушали.

— А кто такой Лавкай? — продолжал расспрашивать атаман.

Чеботка перевел вопрос. Ороч вздрогнул и застонал, потом не спеша посмотрел вокруг и стал рассказывать:

— Лавкай — самый сильный и очень могучий. Все лесные народы у него под началом ходят. У него много городов. Его стойбище там, где маленькая Урка с большой рекой Мамуром встречается.

Чеботка внимательно слушал и переводил. Вдруг незнакомец, вспомнив что-то, сжался весь, упал перед Хабаровым на колени.

— Отпусти меня, я бедный зверовщик... Я самый бедный из всех орочей. Если я вовремя не вернусь, хан Омкай переломит мне хребет, и я пропал. Отпусти меня.

— А кто такой Омкай?

— Посаженец Лавкая. Все орочи добычу ему несут.

— Ороч пойдет с нами, — сказал Хабаров, — скажи ему, пусть станowie укажет, потом отпустим.

Не мешкая, ватага выступила в поход. Перегоняя друг друга, казаки шли за вожатым.

Вскоре запахло дымом и свежим жареным мясом. Казаки, обнажив мечи, ринулись было вперед, но Хабаров остановил их и собрал есаулов.

— Хочу спросить, что будем делать?

Степан Поляков предложил, не раздумывая, кинуться навалом, смять орочей, забрать съестные припасы и, не задерживаясь, идти в Даурское царство. Илейка Жук возразил ему:

— Бить лежачего — не казачье дело. Корысти в том мало.

Подав голос Савватей Храп:

— Братушки, стоит ли грех множить? По обличью видать — народ тут странноприимчивый. Худа не будет.

— Гром не всегда из тучи, а часто — из навозной кучи.

Томило Довбач тоже стоял за то, чтобы добром и ласкою привлечь орочей на свою сторону и вместе с ними идти в Даурское царство.

Ерофей Хабаров с ним согласился.

— Думается и мне, миром способнее. А коли они люди лукавые, бить, не жалея голов, в пень.



Он разделил ватагу на три части. Одна осталась на месте, другая, крадучись, пошла вдоль лощины, чтобы запереть выход, а третья залегла по откосу горы, над головами орочей. Внизу горело до десятка костров, возле них стояли и лежали орочи: ели мясо, поджаривая его на остриях стрел.

Увидя стойбище, Туронча вскинулся и напряженными огромными скачками побежал вперед.

— Лоча! Лоча!

Хабаров схватил его у самого обрыва за кушак. Орочи вскочили на ноги, подняли кверху головы. Хабаров приказал не стрелять. Он велел сказать, чтобы все орочи положили оружие на землю и стояли смирно.

— Правду скажешь — помилую, слукавишь — голову долой.

Чеботка слово в слово перевел наказ атамана.

Туронча согласился. На его призывный клич о сдаче никто не ответил. Лишь один старый ороч поднялся и поглядел на вершину горы, где толпились казаки. Он стоял долго, потом сложил ладони трубой, приложил их ко рту и прокричал, что сдаются на милость. Орочи, не шевелясь, лежали на снегу. Старик стоял, не склоняя головы.

Хабаров подал команду. Чеботка заложил два пальца в рот и засвистал. Ватага ринулась в долину. Казаки забирали нехитрое оружие тасжников и располагались у костров. Орочи предлагали им все, что имели. Старый охотник подбежал к Хабарову и, кланяясь в пояс, позвал к своему огню. Собрав есаулов, Хабаров пошел за ним.

У костра сидело несколько орочей, возле них лежала груда мехов. Подбросив в огонь сушняка, охотник что-то сказал, и те, что сидели, схватили медвежьи шкуры и постлали у костра. Ороч попросил казаков садиться, а сам присел на корточки. Тотчас же подали хорошо проявленную сохатину.

— Ты кто? — спросил Хабаров через Турончу.

— Я Омкай, слуга своего великого повелителя.

— А кто твой повелитель?

— Даурский князь Лавкай. Мы люди подневольные — ему ясак платим.

— О том ведаю. А скажи-ка, где ваши жены?

— Лавкай забрал жен. Мы своих жен в залог оставили за свои головы.

— Некорыстно живете,— заметил Хабаров и, подумав, сказал: — Айда с нами, вызволим ваших жен из неволи. В дружбе жить будем!

Туронча прислушался к тому, что говорил Чеботка, переводя слова Хабарова, и тяжело вздохнул. Омкай строго посмотрел на него, потом осторожно на Хабарова. На его морщинистом, безбородом лице, сверкали черные глубокие глаза.

— Мы охотно бы пошли,— ответил Омкай,— но мы боимся, как бы Лавкай наших жен не побил. Идите пока одни, мы потом поможем.

— А куда идти?

— Путь верный — через хребет.

— А нет ли подвоха? Гляди, чтобы без лукавства.

Омкай клялся в дружбе и верности и обещал дать опытного проводника. Хабаров согласился, но потребовал назвать и показать ему верного человека.

— Самый верный у нас тот, что привел вас сюда. Он и пойдет с вами.

Туронча склонил голову, по его обветренному лицу побежала слеза, но он быстро смахнул ее. Чеботка заметил это и, бросив в огонь кость, спросил:

— Почему он плачет?

Омкай сказал, что проводник плачет потому, что у Лавкай его жена, и он скоро увидит ее. Туронча ничего не ответил и склонил голову.

Сперва орочи робели, но скоро убедились в том, что пришельцы не хотели причинить им зла, и стали словоохотливее.

Завязалась шумная беседа. Говорили, кто как мог и как умел. Сменяя друг друга, рассказчики дополняли свои скупые слова жестами и мимикой.

...Спали казаки вместе с орочами на шкурах. Становые сторожили дозорные. Чеботка Базан проснулся перед рассветом от легкого толчка, схватил кремневку, но, заметив, что перед ним Туронча, спросил:

— Эх, докучный человек. Ну, чего тебе?

— Молчи и слушай. Я хочу говорить правду.

— Говори!

Один из спящих казаков проснулся, посмотрел на них, пробормотал что-то про себя и снова заснул. Туронча оглянулся на него и, наклоняясь к уху Чеботки, зашептал:

— Я слушал, ты слушал. Я все давал, Омкай мне ничего не давал. Я хочу видеть свою жену...

— Что ты бормочешь? Говори толком!

— Омкай меня погубить желает. И вас погубить желает... В тайге страшно гибнуть...

Чеботка обхватил Турончу и, сиюсь заглянуть ему в глаза, спросил:

— Ты не лукавишь?

— Я бедный зверовщик. Я не умею зря болтать. Я хорошо знаю: места тут снежные и непроходимые.

— По вашим следам пойдем.

— Следов там нет. Мы водным путем пришли. До весны надо жить. Скажи своему повелителю.

Хабаров, узнав о коварстве Омкая, пришел в ярость. Он велел повесить его на глазах у всех орочей и предупредил, что каждого, кто слукавит, постигнет та же кара. Орочи испуганно смотрели на разъяренное лицо Хабарова. Они все подтвердили слова Турончи о непроходимости горного хребта. Туронча настойчиво твердил, что другого пути, кроме водного, нет, и предлагал ждать весны.

Долго судили и рядили казаки. Однако все согласились жить здесь до весны и стали устраиваться. Осмотрели стан. Место всем приглянулось. Из толстых бревен срубили зимовье, с нарами по бокам, с очагами посредине, лабаз для харчевых запасов, построили кузницу, чтобы чинить мечи и кремневые ружья.

Томило Довбач с Илейкой занялись кузнечным делом. Довбач достал из заветного короба мехи, горн и наковальню, предусмотрительно взятые в Якутске. Работа в его руках кипела.

Орочи, сидя на корточках, с удивлением наблюдали за всем, что делали русские, скупно переговариваясь между собой о своих делах.

Когда Томило Довбач починил сломанный меч, Туронча подошел к нему, повертел меч в руках и спросил, может ли он сделать охотничий нож.

— Я все могу,— ответил Томило Довбач, желая расположить к себе орочей.

— Сделай!

Охотники придвинулись ближе и притихли.

Железо, послушно подчиняясь воле мастера, приобретало нужные формы.

Готовый нож Томило Довбач передал Туронче. Любопытство орочей возрастало, однако они все еще сдерживали себя и загадочно поглядывали на Турончу, который ощупывал и внимательно рассматривал красивый охотничий нож.

— Ну что? Каково? — спросил Томило Довбач.

Чеботка перевел. Туронча сказал:

— Нож сильный и очень хороший. Я такого ножа еще не имел... А можешь ли ты огненный лук сделать?

— Попробую, может, и сделаю.

Томило Довбач никогда не делал ружей, но ронять честь мастера не захотел и принялся за хитрое дело.

В течение нескольких дней, пока он мастерил из якорной лапы ружье, орочи не отходили от кузницы.

Закончив работу, Томило Довбач, преисполненный важности, вытер рукавом крупные капли пота. Глаза его весело сузились. Он многозначительно подмигнул Илейке и велел зарядить ружье. Илейка забил в дуло заряд, приладил кремень, приставил приклад ружья к плечу и выстрелил в сидящего на дереве вóрона. Птица встрепнулась, но не успела расправить крылья, упала на землю.

— Молодец! — смеясь, закричал Довбач.

Из уст орочей вырвался вопль восторга. Они кинулись все разом к березе и стали рассматривать вóрона, дивясь, что не оказалось стрелы.

Довольный удачей, Томило Довбач подарил ружье Туронче.

Орочи тотчас обступили его. Каждый просил сделать ему точно такое же ружье. Туронча, блестя глазами, взял подарок, заглянул в дуло, погладил ложе рукой и стал петь и плясать. Другие последовали его примеру.

— У тебя хитрая голова, — восхитился Туронча, останавливаясь перед Томилой Довбачом. — Ты очень сильный и хороший человек. Ты все знаешь, все умеешь... Откуда ты?

— Из Руси! Я — русский, — с гордостью ответил Томило Довбач.

— Можешь ли ты сказать, что такое Русь?

— Русь — моя родина, большая и богатая страна. Разве ты никогда не слыхал о Руси?

— Я видел и слышал много, однако все не так, — ответил Туронча. — Расскажи!

Томило Довбач оживился, ему стал понятным великий смысл далеких походов и смысл общения с чужими людьми. Померкли обиды на воевод, забылось личное горе. Сердце его наполнилось гордостью за свой народ. Это была гордость человека, осознавшего ведущую роль своей отчизны в жизни лесных людей. Он понял важность сделанного им дела и горячо заговорил о могучей и обширной Руси.

Все более подчиняясь радостному чувству, он восторженно говорил о городах и селах, о морях и реках, о лесах и степях, о трудолюбивых и смекалистых людях своей страны, призывал орочей к дружбе и не скупился на обещания:

— Мы вызволим вас из неволи. Мы будем с вами жить в ладах. Будем вместе пахать землю и ковать железо, строить суда и торговать, жить в теплых деревянных избах и стрелять из ружей. Мы до всего дойдем и все уразумеем.

Чеботка переводил слово в слово. Таежные люди напряженно слушали. Они слышали много рассказов про длиннородых людей, про их воинственность, выносливость и хитрые выдумки. Им самим пришлось пережить смертельный страх. Теперь этот длиннородый лесовик из могучего племени русов стоял перед ними такой простой и обыкновенный.

Орочи прониклись доверием к нему — просили наказывать Лавкая и выручить их жен из неволи.

Запахло весной. Побурел и набух лед на реке Урке, таял снег. Запели на разные лады птицы, ожила тайга. На берегу реки застучали топоры, задымили котлы с варом. Строили суда. Их ушивали, конопатили, смолили и обивали тесом палубы. Когда вскрылась Урка, суда спустили на воду.

## 6

Изобилием дышала Даурия. Природа не скупилась здесь на свои дары: дала много света, красок, жизни. Огромные лиственницы спорили силой и мощью с вековыми дубами. Росли ветвистые липы и высокоствольные ильмы, коренастые осокори и черная береза, граб и тис,

тополь и пихта, мелколистный клен и бархатное дерево. Виноградная лоза обвивала ель. Рядом с ореховым деревом цвела сирень. Сосны едва удерживали на своих ветвях тяжелые смолистые шишки. В зарослях крушины, бузины и черемушника щебетали птицы.

В лесных дебрях водилось множество дорогих соболей с гладкой, легкой проседью. На солонцах и возле рек встречались сохатый и тигр, северный олень и антилопа, барс и пантера, бурый медведь и дикий кабан, козуля и пятнистый олень. В облаках парили орлы и соколы. Трава поднималась в рост человека. Долины пестрели цветами, были похожи на узорчатые ковры.

Богато жила Даурия. Однако много было тут нищих. Они лежали в пыли, по краям дорог, под горячим солнцем. Нищие ходили толпами по городам и улусам, назойливо выпрашивая подавание. Это были даурские ремесленники и крестьяне, которых разорили непомерные налоги.

Тяжела была жизнь под маньчжурским игом. Сборщики брали тройные подати: для богдыхана, для его наместника и для даурского князя, не забывали они и себя.

Пастухи, играя на камышовых дудках, под свою однообразную музыку слагали песни о горькой доле, о жизни под плетью. Они пели:

Среди горных вершин летают вороны,  
Ручьи текут с гор.  
Бедность донимает меня.  
Где отец мой и мать?  
Мы — бедные пастухи,  
Нет никого беднее нас.  
Хотя это моя родина,  
Бедность постигла меня.

Даурские князья на долю не жаловались, верно служили своим покровителям — маньчжурским ханам, жили в праздности, клязуничали друг на друга наместникам и часто дрались между собой.

Всех амурских князей затмевал своим богатством даурский князь Лавкай. С утра до ночи суетливая толпа наполняла улицы его города. Землепашцы несли на головах корзины с овощами и зерном, охотники везли обильную добычу, рыбаки показывали друг другу трепещущих рыб. Все это добро текло в кладовые Лавкай.

На бойких местах китайские купцы выменивали у лесных людей меха и пахучую кабаржиную струю<sup>1</sup> на шелк,

бисер и синюю дабу<sup>2</sup>. Купцы сидели на корточках возле своих товаров и забавлялись, подбрасывая на ладони шаррики из слоновой кости. Под навесами из лиственничной коры у котлов хлопотали знахари — варщики пантов<sup>3</sup>.

К деревянной развилке они привязывали бечевкой молодые олени рога и, обмакнув в кипящую воду, давали им немного остынуть, сдувая пар ртом, затем опять погружали в котел и снова остужали. Варили рога до тех пор, пока не потемнеют и не станут твердыми.

На холме в липовой роще стояла фанза Лавкая. Снаружи она была убрана орлиными перьями, внутри — шелком и бархатом. На решетчатых окнах белела тонкая прозрачная бумага.

Внутри фанзы — низкая печь, в нее вмазан большой медный котел. От него шли дымовые ходы, согревающие глиняные каны<sup>4</sup>. Каны покрыты собольими и лисьими одеялами. Вокруг фанзы Лавкая теснились кладовые, а еще дальше — глинобитные жилые постройки, крытые корьем. На перекрестках узких улиц торчали на кольях черные головы непокорных дауров, казненных маньчжурами.

Поджав под себя ноги и зажмурив глаза, Лавкай, одетый в шелковый кафтан, отороченный собольими хребтами, сидел на тигровой шкуре. Розовощекая девушка-служанка заплетала ему косу.

Лавкай думал о встрече с наместником богдыхана. Поездка предстояла далекая, а князю не хотелось трястись на коне; не хотелось ползать на коленях и просить милости. Разговор предстоял тяжелый. В одном из улусов возмущенные поборами дауры убили маньчжурского сборщика податей. Это было нештучное дело. Лавкай стонал и охал...

За дверью послышались торопливые шаги. Лавкай открыл глаза и медленно встал. Вошел начальник охраны Галгай. Он сложил на груди руки и слегка склонился.

---

<sup>1</sup> Кабаржина струя (мускус) — продукт железистого ароматного выделения дикого жвачного животного — кабарги.

<sup>2</sup> Даба — грубая хлопчатобумажная ткань.

<sup>3</sup> Панты — молодые мягкие рога изюбрей-маралов и уссурийских пятнистых оленей. Порошку из рогов приписывают почти чудодейственную силу: будто он излечивает любые болезни и превращает дряхлых стариков в юношей.

<sup>4</sup> Каны — нары.

— Прости, что в неурочный час. К тебе просится человек по важному делу.

— Кто этот дерзкий человек?

— Ороч с Урки-реки из подвластного тебе рода.

— Впусти!

В дверях толпилось несколько воинов. Галгай обернулся к ним. Воины расступились, давая дорогу гонцу. Ороч упал перед Лавкаем ничком и закрыл глаза.

— Велик и силен дух гор. Велик и силен хан Даурин,— прохрипел он и бессильно сник на землю. Одежда на нем свисала клочьями, он был худ и грязен.

— Дайте ему воды!

Служанка подала ковш. Ороч приподнялся, жадно схватил и стал шумно пить воду большими глотками. Все испуганно смотрели на него. Когда доносчик напился, Лавкай спросил:

— Какие вести принес? Говори скорее!

— Худые! На стоябище твоих людей напали злые лесовики. Они огромного роста, широки в плечах и длиннобороды. Они храбры, как тигры. Горсть их нападает на силу, втрое большую. Оружие их страшно. Когда лесовики стреляют из луков своих, то огонь пышет, гром гремит и дым велик исходит. От их невидимых стрел нельзя спастись. Лесовики забрали всех твоих людей и плывут сюда, я один еле уволок ноги.

Лицо Лавкай перекопилось, мелко задрожали губы. Он сгорбился и долго стоял, не шевелясь, затем резко выпрямился.

— Слушай, Галгай! Пошли вестника по городам и улусам. Пусть все князья собираются на совет. Ты, Галгай, собери воинов и осмотри стены города. Ороча накормить и уложить спать. Он мне понадобится.

Лавкай подошел к стене и вытащил из колчана позолоченную стрелу. Это была стрела тревоги.

— Возьми стрелу и передай вестнику. Ну, а теперь иди, не мешай думать.

Галгай поклонился и вышел. Воины взяли ороча. Служанка покорно стояла у порога.

— Подай трубку и уходи,— приказал ей Лавкай.

Девушка набила трубку табаком, поднесла Лавкаю и бесшумно покинула фанзу.

Лавкай долго сидел, не поднимая головы, посасывая трубку. Мысли путались и мешались. Он сожалел о бы-



лом могуществе. Прежде под его рукой были все амурские земли, ему повиновались все князья. То было счастливое время. Но шли годы — род Лавкая дробился, и сам он старел. Тяжело ему было ощущать неизбежность смерти. Сколько сил потрачено, чтобы сохранить власть! А для чего? Между сыновьями, племянниками и внуками началась вражда. Маньчжуры воспользовались внутренней распрей и закабалили даурские земли. Отшатнулся народ от своих властителей, и вот теперь, в минуту опасности, не на кого опереться. Лавкай думал, что, пожалуй, стоило бы съездить к лесовикам и, если они люди сговорчивые, замириться с ними. Но этим можно было навлечь на себя гнев богдыхана и совсем погубить себя и свой род.

Мужество покинуло Лавкаю. Он сидел, потемневший и задумчивый, потом устало привалился к стене и задремал.

## 7

Амурские князья собрались на военный совет. Уселись на шкуры, подобрав под себя ноги, и закурили трубки. Ороч выдвинулся в круг, съежился и, опустив голову, стал рассказывать про таежных длиннородых людей. Князья слушали внимательно. Когда ороч закончил рассказ, Лавкай вынул изо рта трубку.

— Думаю, не миновать беды. Лесовики — люди стойкие и отважные. Они пришли издалека, их очень много. Что будем делать?

— Война! — закричал решительный и быстрый князь Шилгиней. Он был в простом лосином чекмене и в рысей шапке с верхом из красного бархата, в червленых сапогах, расшитых жемчужными нитями. Он приходился Лавкаю братом.

Князья зашевелились и, перебивая друг друга, горячо заспорили.

— Прежде чем воевать, надо узнать, что хотят лесовики? Может, они торговать пришли?

Лавкай предложил собирать людей и делать крепости.

Шилгиней распахнул чекмень, его узкие глаза зажглись гневом.

— Брат, ты говоришь не как воин. Пока мы будем крепости делать, враги придут и переловят всех, как чи-

рят<sup>1</sup> в луже. Надо собрать всех воинских людей и встретить лесовиков боем возле устья Урки.

— Ты очень смел и горяч,— заметил князь Гильдега.— Лесовиков много. Пока дойдем до Урки, они раньше нас успеют выплыть из Урки в Амур и перебьют наших людей.

Шилгиней стоял на своем. Волнуясь, заговорил князь Албаза, сын Лавкая.

— Наши люди непривычны к воинскому делу,— сказал он.— Сами мы лесовиков не одолеем. Надо позвать на помощь маньчжурских людей.

— Станем ли пуще кабалить себя? — возразил Лавкай.— Маньчжуры сживут нас и сядут на наши земли. Давайте сами будем обороняться, забудем старые споры.

— Тебе горе, ты и печалуйся,— ответил дючерский князь Гойгудар.

Кто-то из даурских князей стал доказывать, что надо покинуть несколько городов и выморить врагов голодом, а затем собраться с силами и всем вместе ударить. Другие предлагали не губить зря людей, а уйти всем на понизовье и вывезти съестные припасы.

Шилгиней был горяч; он схватился за меч, скрипнул зубами.

— Кровь своих людей смешаю с водой Амура, а земли своей не отдам!

— Не отдадим своих городов! — дружно закричали князья.

Завязался спор. Дючерские князья — Гойгудар, Бакбулай, Десаул и Толга — решили не воевать совсем и никому не помогать.

— Земля наша дальняя, места трудные — не доберутся до нас пришельцы.

Мелкие князья — Олчемзе, Кукурей и Лютодий — тоже не пожелали помогать Лавкаю, сославшись на бедность в людях и неопытность в боевом деле.

Князья припомнили все обиды, начали упрекать друг друга в хитрости, лукавстве и воровстве и позабыли о деле.

Когда только что взошло солнце, князья взяли свое оружие, сели на коней и, не простившись, разъехались по своим улусам, каждый со своей думой.

---

<sup>1</sup> Чирята — птенцы мелкопородной дикой утки (чирковой).

Кряхтя, Лавкай вышел из фанзы. Двое часовых в железных кольчугах и шлемах насторожились, давая дорогу.

В городе царило беспокойное оживление. У ворот толпились группы пеших и конных людей. Все уже узнали о непобедимых лесовиках, идущих из тайги; знали, что нет у князей единой воли к защите. Воины призывали к спокойствию, но их никто не слушал. По всем направлениям тянулись толпы перепуганных беженцев. Не было такой силы, которая могла бы остановить объятый страхом людской поток.

Лавкай вернулся в фанзу и весь день думал, как выйти из беды. Но чем больше он думал, тем страшнее казалось ему будущее. Ночью он позвал Галгая и приказал подать коня. Лавкай ехал молча, то рысью, то вскачь, и вся его свита, не отставая, следовала за ним.

## 8

Ходко бежали казачьи струги в Даурию. На переднем развевалось знамя, сшитое из голубой крашенины с каймой светло-коричневого цвета с изображением архангела Михаила — покровителя русского воинства. На других — знамена поменьше с белоснежными львами и единорогами на голубом поле с красной широкой каймой. Хабаров стоял под главным знаменем в кольчуге и стальном шлеме и покрикивал:

— Поглядывай, ухари!

Он уже воображал себя победителем Даурской земли. Ему мерещились поля вспаханной земли, водяные мельницы, медные и железные рудники, груды мехов и счастливые лица людей, нашедших с ним лучшую долю. Ему хотелось, чтоб про него катился по земле гул, чтобы бухали колокола, чтоб сам царь назначил его своим воеводой.

Но его мечты внезапно рассеивались. Жизнь замыкалась в узкий круг, по телу пробегала знобящая дрожь. Хабаров весь напрягся, пытаясь выбраться из страшного круга, и утешал себя тем, что его память будут чтить дети, внуки и правнуки, что если не он, то другие люди заживут хорошо и мирно на вольной, богатой земле. Мысли его выравнивались, он снова бодро глядел вперед.

Струилась и пенилась река Урка. Множились на ней водяные круги, свивались водовороты. Частый плавник тыкался в каменистые берега, вскипала вода у отбойных камней. Дозорные то и дело прикладывали ладони к глазам, всматривались в дымчатую даль. С бортов видны были ярко окрашенные горы, зеленеющие долины, заросшие черемухой и тальником острова, голубые озера. Сама собой напрашивалась песня. Землепроходцы лежали на своих пожитках и тихо пели:

Уж вы, горы-гороньки даурские,  
Приютите вы нас, добрых молодцев,  
Мы приплыли к вам, гороньки,  
Не век вековать, одну ночь почевать.

Вместе с казаками плыли и орочи, готовились вызволить своих жен из неволи.

Илейка лежал среди орочей, стараясь все заметить, все понять. Туронча обрадованно говорил:

— Мы, орочи, как и вы,— одна кровь, одного рода... Все мы живем на одной земле, одна у нас правда.

Илейка соглашался с ним:

— Ты хорошо сказал, Туронча. Добудем волю — сообща жить станем. Привольно жить будем.

Чеботка Базан был опытный воин. Он знал много людей и много языков. Он не осуждал своего прошлого и не боялся будущего, любил рисковать собой и скучал, когда не было риска. Лихо сдвинув на ухо шапку и задрав голову, Чеботка смотрел вперед, захваченный чувством неизведанного восторга. Вдруг он вскинул кремневку на руку и выстрелил. Покатился по реке ворчливый гул.

— Чего балуешь?

— Глядь-ка, атаман. Ох, радость!

Впереди бежала покрытая чешуйчатой рябью гордая и суровая река Амур. Вливалась в него Урка и, соединившись с ним, долго кружила, поднимая со дна водовороты. Казаки повскакали и, забыв про опасность, начали кричать, обниматься, бросать кверху шапки.

Когда открылся простор великой реки, Хабаров подал команду, чтобы струги счалили борт к борту.

Саватей Храп надел ризу из малинового бархата, поднял складной образ Николая-чудотворца и, благословя струги, запел благодарственную молитву, некогда сотворенную псалмопевцем Давидом:

— Дивна дела твоя, господи! Все премудростью сотворил еси...

Сняв шапки, казаки опустились на колени, осенили лбы крестным знамением. Орочи испуганно переглянулись между собой и тоже стали на колени. Хабаров зачерпнул в ковш амурской воды, сказал короткую речь.

— Плыть остерегательно, глядеть в оба! Не отбиваться и не трусить! Мирных не трогать, лукавых не щадить. Так вперед же, за славой!

Большими глотками он выпил воду, приложился к иконе и поклонился на восток до самого борта. Ковш стал переходить из рук в руки. Сначала пили есаулы, потом казаки, затем орочи. Все пили амурскую воду, целовали темный лик угодника Николая. Пили казаки за Русь, за счастье и богатство в новой стране. Орочи пили за своих жен, за дружбу и за волю.

После молебна струги разошлись и один за другим ходко побежали по широкой глади реки. Похоже было, что плыл выводок чудных птиц. Поскрипывали в уключинах весла. Шипела за бортом вода, гнала к морю песок и камни. Землепроходцы поправили кремни, насыпали порох на полки и затаились, готовые к бою.

Ерофей Хабаров, щурясь, поглядывал то на бежавшие струги, то вперед, в голубое легкое море.

Берега Амура то сходились, нависая над водой крутыми утесами, то раздвигались широкими цветущими долинами. Суслики сидели у нор и оживленно перекликались. За ними охотились рыжие коршуны. Горы и долины жили своей загадочной жизнью. Часто показывались и исчезали какие-то всадники, ночью вспыхивали огни далеких костров.

Через четыре дня казаки увидели первый даурский город. Всех охватило тревожное и вместе с тем радостное чувство. Город стоял на высоком мысе, огибаемом протокой. Его опоясывала стена, срубленная из бревен, в обхват каждое. Возле стены проходил широкий ров, наполненный водой и защищенный высокой земляной насыпью с частоколом. Темнели пузатые башни, охраняя город.

— Атаман, пора! — заволновался Томило Довбач.

Вид укрепленного города не испугал Хабарова. Обуреваемый жаждой подвига, он предвкушал первую битву

и не сомневался в удаче. Так же как и все, он был готов к бою, хотелось и ему помериться с даурами силами в открытой схватке, однако ответственность за исход боя была слишком велика, и благоразумие одержало в нем верх. Хабаров решил дожидаться ночи, чтобы неожиданно ударить по врагу, сломить его мужество, пустить славу о силе и непобедимости своего войска.

— Идти тихо, на глаз! — сказал он. — У мыса перед протокой причалить всем к берегу и ждать моего голоса. Оглядеть ладом кремни у ружей! Взять топоры и багры! Выкатить на случай пушки! Приступать будем ночью.

— А може, ударим? — слышался нетерпеливый голос.

— Зря не раздумывай!

— Добро!

Илейка Жук сел в челнок и объехал все струги.

— Ладь к причалу!

Взметнулись весла, забулькала вода, струги ткнулись носами в песчаный берег. Чтобы орочи в бою не дрогнули, Хабаров распределил их по казачьим десяткам и дал тайный наказ есаулам зорко смотреть за ними. Турончу Хабаров оставил при себе толмачом.

Дотемна просидели казаки в таловых зарослях, а когда туман окутал землю, подошли к городу, перебрались бесшумно по мосткам через ров и лавой кинулись к главным воротам, крича и свистя:

— Наваливай, ухари!

— Фьюис-ис-и! Фьюи-и-и!

— Бери в обхват!

Если бы в это время грянули пушки, полилась смола и полетели тучи стрел, казаки не смутились бы, но загадочная тишина поколебала смелость у многих. Под влиянием сильного возбуждения они не смели верить, что врага в городе нет, и, не шевелясь, с нетерпением ожидали его появления. Потом стали размышлять, что бы это значило? Таким оборотом дела был смущен даже Ерофей Хабаров. Растерянно думал, что предпринять. Из нерешительности вывел всех Степан Поляков.

— Ну, чего стынем тут? Айда в город!

Он взял большой камень и бросил в ворота. Казаки зашевелились и загомонили:

— Бери навалом!

-- Наддай!

Илейка Жук и Чеботка Базан отыскали бревно, кряхтя стали бить по воротам.

Грянул голос Ерофея Хабарова:

— Пушкари, травы запал!

Пушкари вытащили на бугор орудия, закатали ядра, насыпали в затравку порох, подожгли фитили.

За стенами загудело и заохало. Ворота от чугунных ядер разлетелись в щепы. Обгоняя друг друга, казаки побежали в город, дробясь и растекаясь по его изогнутым, кривым и узким улицам.

Фанзы оказались пустыми. Это были большие глинобитные постройки, покрытые корьем. Над двускатными крышами возвышались высокие дымовые трубы из дуплистых деревьев, обмазанных глиной. Решетчатые окна были оклеены прозрачной рисовой бумагой. По бумажным оконницам скользили холодные лучи месяца.

Побродили казаки по городу и, не найдя добра, пришли в ярость.

Ерофей Хабаров собрал ватагу, велел грузиться на суда и плыть дальше. Ползуны на легких челноках выехали вперед.

Ватага миновала еще два пустых города, в четвертом остановилась, чтоб пополнить запасы. На башнях выставили дозорных.

Всю ночь бродили по городу, но харчевых запасов не нашли. Казаки закручинились. Не найдя своих жен, приуныли и орочи. Усталые, лежали они возле костров, некоторые недовольно роптали. Этот ропот насторожил Хабарова.

— Эй вы, смутники! Чего носы повесили?

— Да робко без людей и скучно без драки.

— Не робей!

— А не махнуть ли, братья, назад?

— Сколь прошли, да в обрат? Нет!

Спор разгорался. Образовалось два стана. Драчуны уже начали засучивать рукава и плевать на ладони, чтоб решить спор в драке.

— Стой, не гомони! Стой!

Дозорные подбежали к Хабарову.

— Атаман, у башни пятеро конных. Даурцы лопочут и машут руками. С тобой говорить хотят.

Драчуны сразу остыли, спорщики замолчали. Ерофей Хабаров оглянулся и радостно потер руки.

— Не худо бы уловить. А вы, ухари, помолчите: послов гомоном напугаете. Зазывать пойду я, со мной — Туронча, Кырса, Илейка и Томило. На случай, Чеботка и Степанка с десятком людей выйдут за ворота и, крадучись, возьмут в обхват. Ну, айда!

Хабаровцы оживленно заговорили.

Хабаров взобрался на башню, замахал шапкой.

— Давай ближе!

Всадники осторожно приблизились и, запрокинув головы, уставились на башню. Были они в шелковых кафтанах, в рысьих шапках, вооруженные луками и копьями. На белом коне красиво сидел старик с плоским широким лицом и узкими косыми глазами. Это был князь Лавкай, с ним два его брата — Шилгиной и Гильдега и двое воинов.

— Кто вы такие? Откуда пришли? — спросил Лавкай на тунгусском языке.

— Пришли торг вести. С добром, — ответил Хабаров.

Лавкай поговорил с братьями, подъехал ближе. Он был дородный и величавый, казался спокойным, только глаза его тревожно бегали. Шилгиной зорко осматривался. Кони всхрапывали.

— Чего говорить издали. К нам идите, не тронем! — властно крикнул Хабаров.

— Обманываете? Мы знаем — вас много, а за вами идут другие. Вы хотите всех нас побить и пожитки наши пограбить, а жен и детей к себе взять.

У Хабарова сдвинулись брови, рука легла на рукоять меча.

— Мы люди белого царя. Царь наш всем царям царь. Он силен и велик. Плати ясак нашему государю.

— Мы люди хлебные. Соболей у нас нет, а что было — маньчжурскому хану отдали. С ним и договаривайтесь, — ответил Гильдега.

Хабаров смекнул, что дауры не властны решать свою судьбу, и, чтобы склонить их на свою сторону, крикнул:

— Мы вызволим вас из маньчжурской неволи! Будем вместе против недругов биться.

Шилгиной натянул тетиву и пустил стрелу, а сам коротко вскрикнул, ударил коня плетью и помчался прочь от башни. За ним понеслись Лавкай и Гильдега.



— Лови!  
— Держи!

Чеботка Базан и Степан Поляков, выскочив из за-  
сады, стали стрелять. Дауры вихрем пронеслись мимо них  
и скрылись в березовой роще.

Ерофей Хабаров вытащил застрявшую в шапке  
стрелу, перекрестился и велел садиться на струги и под-  
нимать якоря.

9

По реке плыли плоты, груженные людьми и пожит-  
ками. По берегу конные дауры гнали скот. Клубилась над  
стадами сизая пыль, мычали коровы, ржали лошади,  
блеяли овцы. На разные лады голосили даурские женки.  
Дауры угрюмо смотрели на покидаемые родимые жилища  
и поля, проклинали трусость князей.

Уходили дауры в землю дючеров. Шли днем и ночью.  
Объятые страхом, князья бежали впереди. Только Шил-  
гиней готовился к бою. Он объезжал улусы, собирал жи-  
телей, призывал молодых и старых к оружию. Шилгиней  
был строен и гибок, красив и силен, лицо его дышало  
отвагой. Лосиный чекмень плотно обтягивал широкие  
плечи и грудь.

— Удальцы, в нашу страну пришли лесные люди. За  
мною, кто готов биться с лесовиками!

Дауры проникались мужеством.

Все только и говорили о смелости Шилгиня, о его  
силе, о том, что он сумеет прогнать лесных людей.

Лавкай осуждал горячность Шилгиня и не согла-  
шался с его доводами. После того как он сам увидел лесо-  
виков и без боя оставил им свой город, мужество поки-  
нуло его, опасения увеличились. Лавкай знал, что другие  
князья не поддержат Шилгиня, как не помогли и ему;  
зря погубит Шилгиней свою голову.

Лавкай сидел на берегу Амура и призывал на помощь  
мудрость предков. Солнце остановилось возле самой  
земли, как бы оглядываясь на пройденный путь. По гор-  
ному лесистому кряжу проплывали редкие тени облаков.  
Кротко струился Амур, облизывая каменные свои берега.  
Золотилась по воде солнечная дорога. Лавкаю хотелось  
забыть горе, пойти по этой золотой дороге, не огляды-

ваясь назад. Но дорога быстро таяла. Над землей простирала черные крылья ночь, все погружалось в сон, только плывущие по реке плоты напоминали о тревоге. Оттуда доносился плач детей, вздохи женщин, крики плотовщиков.

Лавкай внешне сильно изменился с тех пор, как сдал свой город. Лицо его исхудало, углубились морщины, блестела в волосах седина. Во тьме мерцали узкие косые глаза. Он сидел один, и никому не было до него дела. У каждого были свои заботы, всяк думал о себе.

С реки потянуло прохладой, заплескались волны. Лавкай высек огонь и закурил, согреваясь крепким табаком. Пока курил, его осенила счастливая мысль. Он встал и почти бегом направился к фанзе. Войдя, князь засветил бумажный фонарь и ласково позвал сестру:

— Моголчак, подойди ко мне!

Ощупывая руками впереди себя, сестра подошла к нему, села на полу, подняв голову. Лицо ее было желто и морщинисто, а безжизненные глаза прятались в красных, воспаленных веках.

— Что хочешь сказать, брат?

Лавкай опустил на корточки и, поглаживая ее руку, заговорил:

— Враги забрали мой город и мои улусы, настала очередь за городами моих братьев и сыновей. Народ отшатнулся от князей, надо удержать народ. Надо воевать, однако мы не устоим против сильных супротивников в открытом бою и погубим свой род...

— Говори понятней, брат...

— Ты останешься и запугаешь врагов своими сказками. Ты знаешь много хитрых и страшных сказок. Пока они будут раздумывать и готовиться к бою, мы устроим западню в бешеной протоке. По твоей указке лесовики поплывут мимо скал, а мы с берега обрушим на их головы груды камней и потопим их лодки.

Моголчак задумалась.

— Брат,— тихо промолвила она.— Я готова исполнить твою просьбу, но мое сердце вещует беду. Я больше не услышу твоего голоса, солнце не будет согревать меня. Я это знаю.

Лавкай обнял сестру, обнюхал ее и потерялся щекой об ее щеку.

С осторожностью, опасаясь засады, вступили казаки в город и стали искать харчевые запасы.

Томило Довбач с Илейкой вошли в одну из фанз. Внутри помещения, по обе стороны двери, находились низкие печи, сложенные из камня, с вмазанными в них железными котлами. Возле котлов лежали долбленные корытца и деревянные ковши для воды. На канах и на полу валялись меха.

Томило Довбач оставил Илейку стоять у порога, а сам начал собирать меха. Вдруг одна из меховых куч зашевелилась. Томило Довбач отпрянул и обнажил меч.

— А ну, кто тут есть живой, выходи!

В ответ ему раздался тяжелый вздох, груда мехов снова ожила и показалась рука.

— Вылазь, а то зарублю!

Илейка шагнул к нему и громко засмеялся:

— Глаза у тебя, дедун, что плошки, а не видят ни крошки. Это же старушка!

Томило Довбач смутился и вложил в ножны меч. Моголчак встала перед ним на колени и неподвижным взглядом уставилась на него.

Это была тощая старуха с выдающимися скулами, широким вдавленным носом и узкими сухими губами. Она была одета в рубашку из синей дабы до колен и в синие штаны. По всему правому борту рубашки, на воротнике и подоле тянулась широкая полоса, покрытая цветными узорами и вышивками. Илейка догадался, что старуха слепая.

— Дедун, оставь! — сказал он. — Пользы от нее никакой, а харчам будет убыль.

— Ты меня не сбивай! Хоть она и бабка, а для распросу сгодится.

Он схватил ее поперек туловища и понес к атаману.

Ерофей Хабаров дремал у костра, сморенный усталостью. Томило Довбач осторожно положил пленницу у его ног и потряс его за плечо.

— Атаман, очнись!

— Чего тебе?

— «Языка» словил.

— Да ну?

— Гляди!

Хабаров увидел старуху и басисто захохотал.

— Тошя дичина! И где ты уловил такую?

Томило Довбач обидчиво нахмурился, поднял старуху с земли и поставил на ноги.

— Атаман, не скоморошничай! Ты сначала спытай, потом срами.

Ватажники столпились вокруг.

Хабаров спросил:

— Кто такая? Что тут делаешь?

Туронча повторил на даурском языке его вопрос. Моголчак попросила воды. Она пила долго, обдумывая, что сказать:

— Я сестра князя Лавкая, — тихо начала Моголчак. — Лавкай хотел жить в мире и дружбе с тобой, великий и могучий военачальник. Жестокий маньчжурский хан Шамшакан силой заставил даурских людей покинуть города и улусы...

— Кто такой Шамшакан?

— Хан Шамшакан велик и страшен. Всех, кто противится его воле, хан пытается и бьет смертным боем. Все даурские и дючерские князья ему подвластны и дают ясак. Есть в земле у хана медная, серебряная и золотая руда, его люди ткнут шерстяные и шелковые ткани, плавят руду и делают котлы. Живет Шамшакан в большом городе на реке Нонни-Ула. Воинских людей у хана что звезд в небе...

Из ее слов казаки узнали, что, кроме лучного оружия, есть у хана стеноломные пушки, фитильные ружья о четырех стволах и двухколесные телеги со щитами из дерева, обитые кожами и войлоком, для защиты воинов от стрел и ружейных пуль.

Моголчак сообщила еще, что Шамшакан подвластен более сильному хану Шунь Чжи<sup>1</sup>, который будто бы дружит с духами гор и лесов, что город у него из магнита, стены в пятнадцать сажен вышиной, а крыши фанз и башен покрыты муравленой черепицей.

Туронча переводил. Казаки внимали с боязливым любопытством. Хабаров, остро всматриваясь в лицо старухи, сказал:

— Бабочка скользкая, трудно понять что к чему. Спытай, почему незрячая?

---

<sup>1</sup> В 1644 г. Шунь Чжи основал династию Цинь, или Дай Цинь (1644—1911).

Моголчак с достоинством ответила, что глаза ей выжгли в плену за непокорство хану Шамшакану, что она была у него заложницей и теперь рада случаю отомстить ему.

Выслушав ее, Хабаров потребовал, чтобы она сказала, куда ушел Лавкай и что он думает.

— Лавкай спрятался от хана в диком месте, — ответила Моголчак. — Лавкай давно хочет подружиться с тобой и стать под твою защиту. Я знаю, где то дикое место. Там для твоих воинов построены юрты и заготовлена еда. О великий и могучий военачальник, прикажи твоим воинам садиться в лодки.

Хабаров поблагодарил Моголчак за добрые вести и задумался.

Хабаровцы сбились в круг, заспорили. Одни были за то, чтобы повернуть назад и, собрав силы, пойти на Шамшакана и Шунь Чжи войною, другие хотели, не мешкая, отправиться на помощь Лавкаю. Были и такие, что хотели жить мирно на новой земле, в дружбе с даурами.

Ерофей Хабаров выдвинулся вперед и поднял руку.

— Ухари, заткни глотки! Надо обсудить по-честному. Открываю круг!

— Говори, атаман, послушаем.

— Скажу — слушайте! Сила наша мала, харч на исходе...

— То правда!

— А если правда, то думайте головой. В обрат всем идти — толк невелик. Все лесные и степные народы доверились нашей силе. У нас пять городов за плечами.

— На кляп нам города!

— В городах сила. Пока вы будете за стенами городов сидеть, я с Поляковым в Якутск с отписками сбегаю. Нам без насельников и без царских ратных людей теперь не обойтись. Так ли думаю?

— Выходит, будто так. Однако что же мы будем с бабкой делать? — спросил Чеботка Базан.

— Бабочку мы без пользы для себя не оставим, — ответил Хабаров. — Бабочка смышленная, мы дадим ей поводыря и пошлем к Лавкаю с посульными вестями. По всей Даурской земле побежит добрая слава. Мы своей славой всех Шамшаканов и Шунчей к земле придавим. Гоже я говорю?

— Гоже!

— Еще, ухари, хочу спросить, кто вам люб в атаманы?

Томило Довбач стал с ним рядом и замахал руками:

— Слушайте, удалые, ермаковца старого!

— Говори, слушаем!

— Дума моя к тому: нужен нам атаман некорыстный и в ратном деле дюж.

— Добрая у тебя, дедун, думка!

— А коли добрая, лучше не найти нам, как Илько Жук.

— Изъян есть — скромн дюже.

— Скромность молодцу не укор.

— В круг его!

Илейку вытолкнули. Он встал, стыдливо осматриваясь.

— Казак он или не казак? — обратился к ватаге Хабаров.

— Матерый казак, в боях вырос!

— Гож ли Жук в атаманы?

— Гож!

— Так быть же ему атаманом! Воля его — моя воля. Илько, веди дело толком, рук не роняй. Ну, кланяйся кругу!

Хабаров обнял его и поцеловал в губы. Илейка, польщенный круговым доверием, поклонился на все стороны. Казаки наперебой, по обычаю, стали приглашать его к своим котлам с толокном и просили отведать в знак дружбы и уважения.

День склонялся к вечеру. Курчавые облака, волнуясь у дальних гор, понемногу темнели. Горы, освещенные последними лучами заходящего солнца, казались фиолетовыми. Глянцевитая движущаяся вода могучей реки отчетливо отделялась от зеленых неподвижных берегов. На отмелях бурел песок, изредка всплескивала рыба.

Дозорный стоял на вышке и зорко оглядывал окрестность. Кругом было пустынно, густые дремучие леса тянулись до самых гор. Вдруг он приложил руку к глазам и застыл, затем торопливо обернулся и прокричал, что из лесу скачет всадник.

Весть быстро разнеслась по стану. Казаки покинули костры, стянулись к Хабарову и стали ждать.

Всадник с желтым, узкоглазым лицом ловко спрыгнул

с коня и, окинув казаков острым взглядом, сразу угадал того, кто ему был нужен. Он подбежал к Хабарову и, не кланяясь, возбужденно заговорил. Это был человек невысокого роста, коренастый и, видимо, обладавший большой физической силой. Грудь у него была широкая и выпуклая, руки крепкие, мускулистые, ноги немного кривые.

— Что он лопочет? — спросил Хабаров, недоверчиво косясь на него. Моголчак насторожилась.

Туронча перевел. Даур сказал, что привез очень важные вести, и просил его выслушать.

— Спроси, как зовут и откуда?

— Меня зовут Колпа, — ответил даурец. — Я в горном лесу промышлял зверя и копал железо. Я люблю свое дело... Лавкай всех даурских людей за горло держал, все пожитки себе забирал...

Прежде чем говорить о деле, Колпа спросил, может ли военачальник дать ему землю и взять его под свою защиту.

— Я все могу и даром слов не бросаю, — заверил Хабаров. — Я за добрые вести наградить сумею и в беде не оставлю. Пусть скажет, какие у него вести.

Колпа оживился и поклялся своей головой, что скажет правду.

— Лавкай говорил, я слушал. Я слышал — большой человек пришел. Лавкай хотел утопить большого человека в протоке, я не захотел. Я все знаю, все видел...

Хабаров велел передать ему ясно и толково все, что говорила старуха. Колпа внимательно выслушал, глаза его засверкали. Он сказал, что Моголчак подослана Лавкаем с тайным поручением заманить казаков в ловушку.

Доводы его показались землепроходцам убедительными.

Томило Довбач, потрясенный известием, переменялся в лице и зловеще сощурил глаза.

— Атаман, я зреть не могу старую ведьму, — сказал он. — Я ее приволок, я и убью. Я срублю ей поганую голову!

— Убить — невелика хитрость, надо разобраться, — ответил Хабаров.

Землепроходцы обступили старуху и потребовали ответа. Моголчак стояла на своем.

Колпа посоветовал сжечь Моголчак на костре. Это было расценено казаками, как доказательство его искрен-

ности. Хабаров испытующе посмотрел на Колпу, ему понравилась решительность даурца. Он распорядился, чтобы старуху предали смерти, и Колпа сжег ее.

Колпа курил и думал о своем. Потом он рассказал про свою жизнь. Оказалось, что Лавкай закопал в землю живыми его отца и брата. Такое жестокое наказание они понесли будто за то, что не успели сделать маньчжурам к назначенному сроку мечи и наконечники для стрел. После этого Колпа затаил обиду, а когда представился удобный случай, собрал своих сородичей с женами и детьми, спрятал их в тайге, а сам явился просить защиты.

Хабаров спросил, знает ли он Шунь Чжи и Шамшакана.

Колпа сказал, что некоторые даурские князья с ханами в сговоре. Первый и самый сильный среди них маньчжурский хан Шун Чжи. Он называется богдыханом, покорил государство китаев Чжун-го<sup>1</sup>, закабалил все даурские и дючерские земли. Его отряды грабят и жгут селения, увозят жен и детей. Многие даурские люди у него в неволе маются: рубят лес, делают плотины для запруды рек, строят крепости.

Слушая Колпу, Хабаров убеждался в правильности принятого им решения о поездке в Якутск за ратными людьми.

Он пригласил даурца в свою ватагу. Колпа отказался, заявив, что неопытен в ратном деле, что его ждут сородичи с женами и детьми, и просил дать землю.

Хабаров обрадовался, у него была мысль поскорее заселить пустые земли. Теперь такой случай представился, он охотно согласился дать Колпе землю.

— Туронча, скажи: я жалую ему и его сородичам все земли около устья Урки. Там прожить будет способно. Пусть созывает своих людей, заводит пашни, ищет железо. От меня тягостей и утеснений ни в чем не будет. Пусть даурские люди живут, богатеют, владеют своим добром, а моя щедрость к ним не оскудеет.

Из-за дальних гор начала медленно выплывать луна. Она поднималась все выше и выше, большая и багровая. Колпа поблагодарил Хабарова за милость и стал собираться в обратный путь.

---

<sup>1</sup> Чжун-го — в древности так назывался Китай. В переводе на русский — Срединная империя.



— Меня люди ждут. Я привезу им добрые вести.  
— Ступай, я тебе верю,— напутствовал Хабаров.  
Колпа вскочил в седло, хлестнул коня и ускакал.

## 11

На большом столе лежали чертежи Даурской земли, образцы хлебных злаков и расспросные речи. Дмитрий Францбеков потирал руки. Оська Степанов читал вслух отписку царю:

— «...Даурское царство против всей Сибири будет всем украшено и изобильно. Землицы там людны и хлебны и собольны, всякого зверя много, и хлеба родится много, и те реки рыбны, и его государевым ратным людям в той землице хлебной скудости ни в чем не будет. Живут в лавкаевых городах и улусах скотные и хлебные сидячие люди. Они сеют ячмень, да овес, да гречу, да просо, да горох. Земля к пашне пространна и хлебородна. А только пашут дауры помаленьку на быках, а на конях охотой промышляют. Дауры, не как русские люди, сена не косят, хотя сенных покосов всюду довольно. Леса по великой реке Амуре — темные, большие. Родятся в них виноград и яблоки, водятся соболи и лисицы: черные, чернобурые и красные, есть и лютые звери. Реки угожи рыбными ловлями, есть в них всякая рыба. Полянъ на лугах такого роста, что может упрятаться в ней человек на коне. Волки красные и дюже свирепые. Вороны в грачиных перьях. Совы белые. Есть и чудные, малые птицы заморские. Буде бог поручит твоим государским счастьем ту землю, и тебе, государю, будет казна великая».

Ерофей Хабаров качнулся, взмахнул узловатой рукой.

— То неладно! Прежде взять надо, а потом царю писать. За похвальбу царь не пожалует.

— Эй, Ярофеюшко, и то ведаю! Но ежели тебе воеводский чин по душе, а царская шуба по плечу, возьмишь и Богдойское царство. Вперед зри, Ярофеюшко!

— Не укроюсь, шуба мне по плечу и царская милость по душе. Но без помощи не токмо богдойцев, но даже и даурцев не взять. Нужны мне сидячие и ратные люди.

— Об этом ли речь! Возьми полторы сотни служилых — и айда! Получит царь отписку, еще пришлет, а насельники сами приволокуются.

— Что ж, попробую и с малой силой, только на случай дай грамотку к Шунчи и Лавкаю.

— Оська, пиши грамоту! Да не забудь все царские титулы проставить. Нам с атаманом время доспело о деле поговорить.

— Ладно, батюшка.

Францбеков взял Хабарова под руку и повел в другую половину угощать вином, чтоб удача была.

Степанов склонился над столом и заскрипел пером по бумаге. Титулы писались легко: знал на память все царские титулы, труднее давался текст.

— «Ведомо ему, великому государю, учинилось на Амуре-реке князя Лавкаево княжение. По государеву, цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси указу воевода Дмитрий Андреев Францбеков да приказной дьяк Осип Степанов посылают своего знатного доверенного человека не для бою, а для говорения жалованного слова и царской милости. Ты, князец, будь под высокою рукою нашего государя в вечном холопстве, со всем своим родом. А государь наш, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси, силен и велик, и страшен, многим царям, и государям, и великим князьям повелитель и государь. Многих стран обладатель, всех, что в титуле государевом вписаны...»

Покачиваясь, вошел Дмитрий Францбеков, за ним вразвалку Ерофей Хабаров. Дьяк обратился к воеводе:

— Ладно ли написал, батюшка?

— А ну, чти!

Миновав царские титулы, Степанов прочитал отдельно и внятно. Дмитрий Францбеков одобрил грамоту, подписал, вручил Хабарову.

— Ты, Ярофеюшко, в той земле, для обережения и охочим людям на опочив, острожки поставь. Без нужды с богдойцами в драку не лезь. Веди дело толково.

— Про то ведаю.

— А коли ведаешь, в путь добрый. Не забудь поклон Матвею Лихачову. Скажи, что и его государь чином не обойдет.

— Добре!

Хабаров расцеловался с воеводой, как равный; поблагодарил за ласку, разыскал в кабаке Степана Полякова и с охочими и служилыми выступил из Якутска.

Надрываясь, шли в далекий путь государевы служилые люди, тянули груженные ратным пашенным скарбом дощаники. Шли охотно, была обещана земля и воля. К зиме добрались до реки Тугирь. Ерофей Хабаров оставил здесь на зимовку Степана Полякова с десятком стрельцов для охраны скарба, а сам с остальными пошел налегке, надеясь получить харчевые запасы у верных ему дауров и узнать у них о судьбе казаков.

Дауров возле устья Урки не оказалось. Стрельцы нашли в заводях несколько пустых стругов, сели в них и поплыли вниз по Амуру. Хабаров недоумевал и терялся в догадках. Мысль, что Колпа ему изменил, приводила его в бешенство, и он поторапливал стрельцов.

За неделю до покрова он был уже в городе Лавкая, но и здесь никого не нашел и метнулся вдогон за своими согласниками. В городе Шилгиenea Хабаров сообразил, что стало с его людьми, и поспешил им на помощь.

## 12

В дымном мареве томилось раскаленное солнце. Горели леса и степи, окружая долину венцом пламени. Метались напуганные пожарищем звери. Над городом кружилось неумное воронье. Возле стен бродили отряды маньчжуров: они держали город в осаде.

Колпа вестей о себе не подавал.

«Где он? Что с ним?» — думал Илейка. Скоро все объяснилось. Один из сородичей Колпы пробрался в город и принес тяжелую весть: отряд маньчжуров напал на мирных дауров и всех перебил. Маньчжуры увезли своему хану Шамшакану мешок ушей побежденных.

Бедовали казаки, терпели великую нужду. Переловили всех кошек и собак, а когда съели всю живность, стали варить в котлах кожаные мешки и ремни.

Уныние охватило землепроходцев. На почерневших лицах проступала суровость и тоска.

Илейка стоял, понурясь, на башне и, засунув руки за туго перетянутый пояс, то и дело сглатывал голодную слюну, облизывал иссохшие губы. Лицо у него сморщилось и побурело, только глаза горели жадным блеском. Илейка помощи не ждал, он лишь напряженно думал, как

выйти из беды. В душе копилось недовольство на Хабарова, усталость, озлобление.

— Воеводам проданся. Волю на червонцы променял. Эх!..

Хмурый вернулся в фанзу, долго сидел, угрюмый, неподвижный, тупо посматривая на своих соратников. Те насупились и молчали. Илейка сказал:

— Умствуйте, как быть! В отход на Якутск дорога заказана. Вперед — врагу в зубы. На месте сидеть — кормиться нечем. Думайте!

Заскребли ватажники лохматые головы. Томило Довбач встал, засветились у него под обвисшими бровями глаза:

— Слушайте, удалые, старого ермаковца!

— Говори, послушаем!

— Удумал, не миновать смерти, коли будем тут сидеть. Чую, как мерзнет кровь и отлетает дух. Для чего же мечи в руках?

— Для бою!

— Задавят многой силой, нас и полста не осталось, — раздался голос рябого стрельца.

— Гад без яду шею раздувает. Не сила, а гордость врагов страшит. Надо не ждать, а самим искать боя.

— Дедун сказал правду!

— Ой, сгинем, братушки, в неравном бою, и зарастут травой наши косточки, — засомневался Храп.

На него накинулись, хотели даже побить за такие речи. Вперед выдвинулся Чеботка Базан и потряхнул чубом:

— То ли бывало. Али вилы в бок, али сена клочок. Стоит ли погребать себя, когда шилгинев город рукой подать. Грянем дружно, и конец нашей муке.

Казаки подумали, погоревали и признали, что Чеботка сказал мудро и справедливо.

— Атаман, веди! Мы все тут с голоду околеем.

Пробудилась и у орочей жажда мщения.

— Веди, мы тебе во всем послушны!

Илейка обрадованно заговорил:

— Быть так! Видно, не болеет атаман о наших животах. Будем своею силой держаться. Так ли, соколы?

— Перетакивать не станем. Веди!

Казаки стали готовиться к бою. Прочистили от порохового нагара запалы, ввернули в пистолы новые кремни, наточили мечи. К вечеру доплыли до шилгинева города.

Не доезжая, остановились. Илейка Жук обошел город, отыскивая место, через которое можно было бы войти. Крепостное строение с башнями и глубокими рвами было деревянное.

Когда закраснелась заря, ватажники подобрались к городу и бегом поднялись на крепостной вал. Дауры ринулись им навстречу. Казаки начали отходить, стараясь увлечь дауров на луг, чтобы помериться силами в рукопашном бою. Один из казаков споткнулся. Князь Шилгиней напал на него, вонзил в горло меч, потом сел на труп врага, поднял лицо, откинув шею, чтобы лучше было дышать.

Казаки остановились в нерешительности. Прилив ярости снова заставил их взяться за мечи. Рыча и свистя, они кинулись на дауров, но те прятались за городскими стенами.

Двенадцать раз ходили казаки на город Шилгиней, но взять так и не могли. Дауры встречали их тучами стрел, горячей смолой и кипятком. Казаки отошли, сделали большие щиты, обили медвежьими шкурами, поставили щиты на колеса и стали приступать, отвлекая на себя внимание дауров.

Чеботка Базан воспользовался их замешательством, перебрался с частью казаков через стену и открыл ворота.

Ватага ворвалась в город. Дауры побежали.

Князь Шилгиней встретил грозную лаву у своей фанзы. Двое смельчаков кинулись к нему, но поплатились своими головами. К побоищу подоспел Томило Довбач. Он пригнулся, избочась, подбежал к Шилгиней и ловким ударом вышиб из его рук меч, вторым взмахом срубил ему голову.

Ватажники перескочили через труп и ворвались в хижину.

— Отощали, страсть, перекусить бы!

— Глянь-ко, кус лакомый!

На меховой постели сидела Юргала, наложница Шилгиней. Тонкая рубаха, заправленная в красные шелковые шаровары, плотно охватывала упругие груди и налитые плечи. Она смотрела на чужестранцев, не мигая, черными, чуть раскосыми глазами.

— Чего стал? Загребай.

— На кой она мне? Не диво, кабы еда.

Другие наседали. Поднялась возня, смех, крики. Юргала пробовала отбиваться, но силы ей изменили. Илейка Жук, молча раскидывая озорников, протискался в хижину. Он рванул из ножен меч.

— Разве в том наша правда, чтоб баб насильничать? Все разбежались.

Тяжело ступая, Илейка подошел к Юргале, поднял ее, дрожащую, и понес на постель. Она стиснула зубы и закрыла глаза. Илейка бережно положил ее на постель, покрыл собольим одеялом и сел рядом. От голода у него кружилась голова, седой от пыли чуб свисал на лоб. Он устало смотрел на Юргалу, вслушиваясь в смутный шум затихающего стана.

Юргала лежала неподвижно. Илейке очень хотелось, чтобы она очнулась и заговорила с ним. Его одолевала тяжелая сонливость, остро чувствовались приступы голода, он думал только о еде.

С надворья доносились обрывки разговоров, слышались возня, потрескивание костров. В окно сквозь прозрачную бумагу сочился сумрак. Над городом висела темная туча. Из-за деревьев виднелся чистый край неба с потухающей зарей и только что вспыхнувшей вечерней звездой.

Юргала открыла глаза и снова с дрожью зажмурилась, все еще не веря своему избавлению. Потом резко приподнялась, с мольбой протянула к нему смуглые руки и заговорила на тунгусском языке:

— Не обижай меня. Я слабая, ты — сильный. Не трогай меня.

Илейка хотел встать, хотел сказать ей что-то ласковое, но словно невидимые тяжелые цепи лежали на нем, он силился их сбросить и не мог. Губы его посинели, на худом восковом лице появилось озлобленное и вместе покорное выражение.

— Я хочу есть, — тихо, с усилием сказал он.

Юргала опустила руки. Раскосые глаза ее смотрели настороженно. Перед ней сидел чужой и сильный человек, он просил у нее, слабой женщины, еще более, чем он, беззащитной, сожаления, помощи. Подстрекаемая любопытством, она спросила:

— Где научился ты нашему языку? Ты похож на человека нашего рода.

— Я голоден, накорми меня,— снова попросил Илейка. Юргала быстро встала с постели, подошла к стене, отодвинула доску и достала из потайного шкафчика вяленое мясо.

— Дар за дар,— возвращаясь к нему, сказала она,— ты пощадил меня, а я тебя. Ешь!

Илейка взял мясо. Юргала смотрела теперь доверчиво и дружелюбно. Чутьем угадывая свою победу, она торопливо расспрашивала Илейку:

— Кто ты? Зачем пришел сюда?

— Я — вольный... Ищу свою долю.

На лице Юргалы появилось удивленное выражение, она смущенно улыбнулась, но тут же резко отшатнулась и быстро огляделась по сторонам.

— Ты очень смелый, я знаю. Однако тебе надо уходить отсюда. Шилгиной вернется и убьет тебя.

— А кто такой Шилгиной?

Юргала побледнела, слезы показались на ее глазах. Она долго молчала, склонив голову, будто припоминая нечто давно-давно прошедшее. Потом пристально посмотрела ему в глаза и горячо заговорила:

— Шилгиной мой враг. Он украл мою радость и заставил жить с ним. Шилгиной посадил меня сюда, а моему отцу и матери приказал переломить хребты. Уходи отсюда, здесь злые люди...

— Пусть тень Шилгиной не пугает тебя,— ответил Илейка.— Шилгиной больше сюда не вернется. Его уже зарубили казаки.

Юргала с изумлением подняла свои тонкие изогнутые брови и задумалась. Потом стала рассказывать о себе.

Илейка слушал, потупив голову.

— Тебе одной жить будет трудно. Я хочу вместе с тобой искать нашу долю...

— Ты ничего не найдешь. Многие и до тебя искали и не нашли. Только люди, одевающиеся в рыбы кожи, знают: на море есть остров. Там отдыхают смелые и сильные, крылатые драконы стерегут остров. Пробьемся к тому острову и будем жить в радости и довольстве.

Глаза у Илейки тревожно и сухо заблестели, лицо стало суровым и мрачным.

— Ты лучше скажи, как из беды выйти? У меня кончились харчевые запасы, мои люди отощали, а это хуже драконов.

— У тебя горячее сердце и мудрая голова. Я тебе верю. Я помогу тебе. Пойдем!

Юргала встала и поманила его за собой. Илейка доверчиво пошел за ней.

Она шла, как тень, спокойная и легкая, в туфлях из узорчатого сафьяна. Шелестели ее шелковые шаровары.

Ночь была тихая и теплая. Множество мигающих синеватых светляков кружилось в воздухе. Они летали над травой, низко над землей, реяли в кустах и вверху над деревьями. Илейке почудилось, что ноги его не касаются земли, что весь он стал как будто легче и со всех сторон его окружает лучезарное сияние.

У стены, в зарослях кустарника, Юргала остановилась и сказала:

— Тут ямы с хлебом. Хлеб прятал Шилгиной. Здесь много хлеба, на всех твоих людей хватит.

Это было совершенно неожиданное доказательство настоящей дружбы. У Илейки весело забилося сердце. Он взял руку Юргалы, чтобы поблагодарить за помощь, и ощутил дрожь и теплоту ее тела. Он молча вскинул ее на руки и понес в фанзу. Юргала послушно лежала и глаза ее в полутьме искали его взгляда.

...Укутав Юргалу в соболье одеяло, Илейка открыл дверь и сел у порога. Возле костра спали казаки. Над Амуром сгустился туман, в небе зыбились звезды. Сырой прелью дышал берег. На самом краю неба полыхала утренняя заря.

### 13

Казаки зарыли убитых, поставили на братской могиле дубовый крест и справили поминки. Савватей Храп отслужил панихиду.

В ямах нашли много хлеба и всякой другой снеди. Казаки повеселели. Они с большим уважением относились к Юргале и охраняли ее. А она смело улыбалась им, высоко и гордо держала свою счастливую голову.

Для всех она была только приветлива, для одного Илейки ласкова. В порывах шумной веселости она подбегала к нему сзади и, схватив неожиданно за голову, терлась щекой об его щеку и громко смеялась. Иногда она садилась возле Илейки, брала его за руку и с увлечением



рассказывала о счастливых островах, возбуждая его смелость и распаляя воображение.

После того как зарубцевались раны храбрецов, Илейка собрал ватагу и заговорил о новом походе.

— Нас мало,— сказал Илейка,— хуже того, у нас на исходе пороховые запасы, но у каждого есть смелость. А здесь нас могут запереть враги и побить без остатка. Надо плыть, впереди счастье и воля.

Все, что говорил Илейка, было похоже на правду. Даже Савватей Храп воспрянул духом, обещал живым отпущение грехов и вечную радость мертвым. Казаки согласились выступить в поход. Но Томило Довбач рассудил по-иному.

— Ты, Илейка, дюже ухватист и горяч,— заметил он.— Дело ты надумал ладное, а торопишься... Не гоже нам соваться в воду, не узнав броду. Надо ползуна послать за вестями.

Проведать, что впереди, вызвался Кырса. Томило Довбач сказал:

— Кырса ликом на даурца схож и на язык боек, ему сподручнее.

Савватей Храп снял свой медный нательный крест, навесил ему на шею и благословил на подвиг.

— Тяжко станет, вспомни о боге — полегчает.

Кырса улыбался и кланялся. Товарищи собрали ему на дорогу харчей и проводили за ворота. Илейка напутствовал:

— Ну, в путь добрый! Случится беда, не гнись! Пройдем день-другой — пойдем на выручку.

Кырса свистнул, поблагодарил своих товарищей за хлопоты и ходко пошел туда, где темнели горы.

Подкрадывалась осень. Увядшая и пожелтевшая трава понуро никла к земле. Сухо шелестел на ветру дубняк неопавшими листьями. Небо заволокло в тучи.

Кырса остановился в кустах орешника, достал из тайника мешочек с корнем сараны, привязал к медному кресту и спрятал все за пазуху.

— Один бог хорошо, а два лучше,— прошептал он вслух и пошел дальше.

Перевалив горный кряж, поросший густым лесом, Кырса попал в обширную долину. В Амур вливалась небольшая, но шумливая речка. На полях стояли суслоньей сжатой пшеницы. По траве бродили табуны лошадей,

стада коров и гурты овец. На холме красовался город, защищенный стенами из цельных бревен. Между стенами был насыпан хрящ и на нем частокол, а вокруг — три глубоких и широких рва. Это был город Албазин.

Вечерело. Горы тихо погружались в мрак. В городе зажгли костры. Дым от них стлался по земле. Хлопали бичи пастухов.

Беспечность дауров удивила и обрадовала Кырсу. Он смастерил из плавника плот и стал осторожно переправляться. Но как только ступил на берег, из таловых зарослей вышли трое дозорных, вооруженных луками и копьями.

— Откуда пришел?

— Бежал от лесовиков.

— С какой вестью?

— С плохой. Мне нужно видеть князя.

Дауры переговорили между собой, выделили провожатого и велели следовать за ним. Довольный удачей, Кырса пробовал заговорить, но провожатый отвечал неохотно, был настоюще.

В городе всюду горели костры. Воины упражнялись в стрельбе из луков и в метании копий. Под лиственью, возле яркого одинокого костра, камлал шаман. На нем кожаный кафтан, увешанный медными зеркальцами, железными побрякушками и чучелами змей; длинная бахрома обрамляла подол кафтана. Напевая тягучую и бессвязную песню, он ударял в жалобно гудевший бубен и неистово кружился, бряцая подвесками. На лице выступил пот, глаза налились кровью. Дауры с трепетом и суеверным ужасом вслушивались в его заклинания.

Фанза князя Албазы роскошно убрана. Там совещались даурские и дючерские военачальники. Были тут и маньчжуры. Они сидели на земляном полу, устланном войлоками. Поверх халатов и лосиных замшевых кафтанов на них надеты панцири из тонких железных пластинок, сцепленных ремешками.

Бронзовые лица военачальников надменны и вызывающи. Это князья покинутых городов и князья, которых только еще ждали испытания. Албаза в ярком, китайского шелка, халате сидел на пуховой подушке. У его ног лежали лук и кожаный колчан, наполненный оперенными стрелами. Провожатый, пропустив Кырсу вперед, отвесил князьям земной поклон и удалился.

— Говори, что нужно? — спросил Албаза.

Кырса упал на колени.

— О великий и могучий князь, лесовики во множестве идут сюда, и я спешил тебя предупредить.

— Я уже знаю. Кто ты?

— Улусный человек князя Шилгина.

— Что ты врешь! — закричал вдруг князь Гильдега и встал. — Я видел тебя, хитрая лиса! Ты толмачил у пришельцев.

Военачальники повскакали, схватились за оружие.

— Смерть собаке!

Кырса пробовал заговорить, но его никто уже не слушал. Посыпались с разных сторон удары. У Кырсы помутилось в глазах. Он зашатался. Албаза сказал:

— Не горячитесь зря. Этот лесовик достоин смерти, но умертвить его мы всегда успеем. Посадим в яму, а там видно будет. Может, еще сгодится.

Князья покричали и согласились. Дюжие дауры схватили Кырсу, закрутили руки, выволокли из фанзы и бросили в яму. Сбежались ребята, кидали в него камнями, показывали языки. Кырса очнулся, зарычал на них, они разбежались.

В яме было холодно и сыро. Кырса высвободил руки, ощущал дно и лег, где было суше. Он видел над собою только синее небо да изредка колющие глаза сторожевого даура. Кырса достал крест и начал звать на помощь бога, но русский бог молчал; тогда он стал звать духа гор и лесов, обещая ему хорошую пищу, но и дух не подавал о себе вестей. Пленник разозлился на всех богов и сорвал крест, думая хотя бы этим привлечь русского бога, затем сам съел сарану, приготовленную для духа гор и лесов, свернулся в комок и задремал. Он жалел, что так безрассудно рискнул собой, и готов был по-волчьи завывать от горя.

Он слышал сквозь сон, как шумела река да изредка перхали в закутах овцы.

Томительно шли дни и ночи. Кырса сидел в яме и думал о воле. Однажды перед рассветом в городе поднялась суматоха. Дауры сбежались на площадь, зашумели, заспорили. Пленник догадался, что спорят о нем. Его вытащили, хотели убить, но Албаза запретил.

— Его надо поставить на стену. Лесовики увидят своего и не станут стрелять. Пока они будут раздумывать,

мы соберемся с силами. А если им своего не жалко, то они же и убьют его.

Совет Албазы всеми был признан мудрым. Кырсу вывели на крепостную стену, поставили на самом видном и уязвимом месте, а чтобы не сбежал, скрутили руки за спину, связали ноги, а конец веревки спустили со стены и привязали к нему камень.

Когда рассвело, казаки увидели Кырсу на стене и в смятении остановились, опасаясь за его участь. Илейка оставил Юргалу на струге, а сам, не раздумывая, повел храбрецов врукопашную. Дауры вышли к ним навстречу. Завязался бой. Однако силы оказались неравными: казачьи ряды дрогнули, послышались радостные крики дауров. Наступил переломный момент. Юргала выскочила из струга, схватила меч убитого даура и ринулась вперед, увлекая за собой казаков. Ликующие голоса дауров сменились криками ужаса и растерянности. Увидев женщину с мечом, они приняли ее за колдунью и через запасные ворота бросились наутек, позабыв о пленнике.

Долина запестрела беглецами. Распалясь, Илейка с горсткой смельчаков устремился за ними вдогон. Кырса махал руками и дико кричал:

— Все теперь ладно! Бей! Режь!

Казаки шумно вошли в город и первым делом на руках сняли Кырсу со стены. Всяк по-своему выражал сочувствие и радость: кто совал сухарь, кто обнимал, кто ободрял ласковым словом. А Кырса, сам себя не помня, плакал и приговаривал:

— Все ладно. Теперь все ладно. Жить можно!

В городе Албазы оказалось много харчевых запасов и добра. Было найдено сорок кузовов крупы, муки, зерна, много мяса и свежих пшеничных лепешек, до десяти бочек виноградного вина, в изобилии сукна и шелка, меха.

...Вечером приплыл со стрельцами Ерофей Хабаров. Он был доволен всем: удачно завершённым походом, добычей, отвагой Илейки Жука, храбростью казаков и счастливой встречей. Все это давало право на хороший отдых. Хабаров созвал есаулов и решил ознаменовать встречу гульбой.

Илейки Жука между есаулами не было. Он погнался за даурами и, увлекшись боем, забыл про все на свете. И когда кто-то спросил о нем, Хабаров сказал, что семеро одного не ждут.

— Ухари, зачем! — крикнул он и поднял чашу.

Звякнули чаши, раздались здравицы в честь Илейки. Есаулы заговорили о его мужестве и отваге. Многие сожалели, что атаман не дождался его и начал пиршество. Хабарова кольнула зависть, он покосился на своих соратников и нахмурился.

В фанзу тихо вошла Юргала. Есаулы наперебой просили ее разделить с ними общую радость.

Хабаров пристально посмотрел на красавицу. Савва-тей Храп прилип к его уху и что-то горячо зашептал. Юргала, краснея, сказала:

— Илейка мой воин, мое счастье. Я жду его, я хочу его видеть. Где Илейка?

У Хабарова гулко забилося сердце. Приседая, он шагнул к ней и рывком кинул ее к себе на руки.

— Я, любушка, не хуже его и по чину выше.

Он прижал ее к груди, поцеловал в губы и посадил рядом с собой. Юргала всхлипнула, закрыла лицо руками и заплакала.

— Пей, гуляй, ухари!

В разгаре гульбы подоспел с ватажкой Илейка. Он остановился у порога, тяжело дыша, сжимая рукоять меча. В нем одновременно поднялись ревность и злоба. Юргала вскрикнула и потянулась к нему, но Хабаров удержал ее. Чеботка Базан бережно положил у своих ног даурский панцирь и меч с костяной, украшенной золотом рукоятью. Этот подарок он готовил атаману. Томило Довбач крякнул, переступил с ноги на ногу, по-бычиному наклонил голову, сжал связку жилистых пальцев в кулак. Илейка вырвал из ножен меч, блекло сверкнул голубизной клинок.

— Кто тронет Юргалу — заплатит мне своей головой!

Смелость Илейки вызвала восхищение Томилы. В молодости случалось не раз и ему выступать на защиту такой добычи. Гуляки виновато и смущенно заулыбались. Ерофей Хабаров вскочил на ноги, до боли закусил губы и, передохнув, сказал:

— Не лезь под ноги. Я тяжел, сомну!

Илейка смело встретил его гневный взгляд.

— Атаман, знай — меч мой ни разу не изменял мне!

— Рано когти востришь! Аль без меня тут зачванился?

— Кто из нас зачванился — покажет время. Сразимся, атаман.

Рука Хабарова тяжело легла на рукоять меча. Он обнажил меч до половины, заметил злобный взгляд Чеботки Базана и, устыдясь своей горячности, снова вдвинул меч в ножны.

— Илько, не балуй! Я шутейно. Я удаль твою испытать хотел. Остудись. Ну! Не омрачай встречу. Ты лучше сядь, да потолкуем, как быть далее.

Хабарову удалось пересилить свою зависть, он казался добродушным и спокойным, только глаза его искрились нехорошо и злобно. Налив до полна две чаши, поднес одну Илейке, другую взял сам и чокнулся с ним.

— За согласие, за дружбу, ухари!

— О то добре! — вскричал Томило Довбач и, не дожидаясь, пока поднесут, налил себе сам и пригласил Чеботку Базана. Илейка глянул на Юргалу, увидел в ее глазах испуг и преданность, обрадовался, что она любит его, и звонко чокнулся с атаманом.

Ерофей Хабаров развеселился, подливал себе и другим, потом поднялся, зашевелил желваками.

— Пей, ухари, а ума не пропивай. Нынче не пора с бабами тешиться. Зима не за горами, путь велик, враги люты. Удумал, что надобно Илейке в Якутск с отпиской идти, а нам плыть вперед. Упустим время, соберутся богдойцы и даурские князьки с силами, и горе нам. Так ли разумею, ухари?

Есаулы подняли чаши и выпили за мудрое слово атамана. Илейка подумал, что Хабаров нарочно посылает его с отпиской, чтобы избавиться от него и завладеть Юргалой, но атаман и все есаулы так доверчиво и с надеждой смотрели на него, что Илейке стало неловко.

— Ваша воля — моя воля, — согласился он. — Я кругу перечить не стану. Быть так! Однако смутно мне...

— Ты зря не смутничай и не раздумывай, — перебил его Хабаров. — Бабу твою никто не тронет. В том даю слово.

Илейка посмотрел в глаза атаману, взял его руку, крепко сжал:

— Я тебе верю, как себе... Береги Юргалу, она из беды нас выручила.

Хабаров подтвердил свои слова ответным крепким пожатием и, чтобы доказать свою дружбу и бескорыстность, крикнул:

— Сдается мне, ухари, пора и честь знать. Выметайтесь-ка, пусть молодые тешатся.

Гуляки рады были уйти, они похватали своих девок и баб и шумно покинули фанзу. Хабаров ласково тронул Илейку за плечо:

— Пойду и я... Светать станет, возьми челнок, провожатых — и айда! Не забудь отписку к воеводе у Савватаея Храпа... В пути доведется встретить Степанку Полякова — скажи ему, чтобы ехал к нам шибче.

Илейка и Юргала, после того как ушел Хабаров, долго стояли друг против друга, как бы не веря, что пришел конец их короткому счастью. Юргала первая напомнила о себе:

— Не оставляй меня одну, — умоляла она, тяжело вздыхая всей грудью, глядя на него любящими глазами.

— Я скоро вернусь. Я буду везде о тебе думать.

Илейка усадил ее рядом с собою и обнял. Она прижалась к нему и подняла голову. Он целовал ее в пухлые губы. Она ответно ласкала его блестящими от слез глазами и терлась щекой об его щеку.

— Умру без тебя... Как я одна буду?

Юргала ненасытно глядела на него, задыхаясь, шептала ласковые слова, и дрожь ее тела ощущал Илейка.

— Мой воин, мое счастье, не оставляй меня. Я завяну без тебя... Я иссохну! Я боюсь оставаться одна без тебя, мой воин.

— Не бойся, — отзывался Илейка. — Обиды никакой не будет, мои други тебе помогут.

Он успокаивал ее, а сам проникался тревогой за ее участь. Истомленная, она прижалась к нему и заснула на его руках. Илейка положил ее бережно на меха и пробовал задремать, но мысли мешали уснуть. Так до рассвета и промаялся в думах о ней, а чуть развиднелось, тихо разбудил ее:

— Пора уж... Вставай, моя любушка!

Она привстала на колени, скорбно поглядела на его чуб, на покрытые тенью глаза и цепко обвилась вокруг него. Он рознял ее руки на своей шее, хмурясь, отступил от нее:

— Ну, не томись! Прощай, Юргала!

Хотел еще что-то сказать, но махнул рукой и выбежал из фанзы. Он взял у Савватаея Храпа отписку и созвал провожатых. Савватей Храп благословил его, провожа-

тые уложили в челноки подарки воеводе. Илейка уселся в головной челнок и свистнул, провожатые казаки взмахнули шестами. Челноки, вздрагивая, вспенили воду, оставили позади себя волнистую тропу.

Юргала очнулась и выбежала на берег, поглядела из-под ладони вдоль по реке, углы губ ее дрогнули. Она обхватила руками голову и заплакала. Ветер сушил слезы, пошевеливал слегка волосы.

Ширился и разливался рассвет, Амур ласково зыбился, розовея в разгорающейся заре. Илейка то и дело оборачивался, стараясь надолго запечатлеть образ Юргалы, женщины, которая принесла ему счастье. Надолго ли оно, это счастье?

## 14

В городе Гойгудара собрались на военный совет все дючерские и даурские князья: Лавкай, Албаза, Лютодий, Бакбулай и Толга. Гордых и упрямых князей собрала вместе беда. Князь Лавкай сидел на оленьем коврике, поджав ноги, и говорил сквозь слезы:

— Лесовики хитры и свирепы. Они обольстили многих моих людей речами, верных моих людей побили, а мужиков натравили на меня. Шилгинея и Гильдега уже сложили свои головы, я еле уволок ноги. Думайте, что будем делать?

Князья сидели понуро. Лютодий сказал в печали:

— Смелые погибли, а мы обнищали духом. Нет у нас сил, надо в тайгу бежать.

Бакбулай возразил ему:

— В тайге выживут умеющие промышлять зверя, а у меня люди хлебные, помрут с голоду в снегах. Лучше на своей земле кости сложить.

Албаза посоветовал послать гонца к богдыхану Шунь-Чжи. Дючерские князья заупрямились. Гойгудар сказал:

— Люты лесовики, а маньчжуры не лучше. Пока есть у нас силы, надо держаться... Будем сами думать о нашей земле, и ни у кого не надо просить помощи. Маньчжуры сильнее закабалят нас, а мы хотим вольно жить, как раньше жили.

Бакбулай настаивал, чтобы все даурские и дючерские князья договорились с лесовиками о мире и затем вместе с ними выступили против маньчжурских завоевателей.



Нынче ослабли маньчжуры. Сказывают, что они хотят у русских просить помощи против китайцев.

Албаза не сдавался: стоял за дружбу с маньчжурами, считая их сильнее лесовиков. Загорелся спор.

Лавкай, чтобы помирить князей, предложил послать на поклон к богдыхану гонца, а пока придет помощь, держаться всем заодно и городов не сдавать.

На том и порешили.

Охотники внесли в хижину убитого тигра и положили у стены. Князья подходили к зверю, кланялись до земли, мазали оружие тигровой кровью и клялись бороться с пришельцами до конца.

Когда начало светать, дозорные прокричали тревогу. Гойгудар вывел свое войско и расставил людей вдоль берега Амура. Он ходил перед рядами и ободрял воинов. На нем был медный чешуйчатый панцирь, в руках — лук, за спиной — колчан с оперенными стрелами, на боку — меч.

Ерофей Хабаров пустил струги змейкой и велел по разу выстрелить из кремневок. Ряды дючеров дрогнули. Они отхлынули от реки, оставив раненых и убитых. Хабаров воспользовался замешательством противника и велел причалить к берегу. Казаки и стрельцы выпрыгнули из стругов. Они разломали частокол возле острожного рва, сделали из него мостки, по ним перешли наполненный водой ров и полезли на стены.

Дючеры обливали атакующих кипятком и смолой, поражали стрелами и копьями.

Видя большой урон в людях, Хабаров велел отойти от стен, а сам выдвинулся вперед и закричал:

— Эй, князек! Не устоять тебе против нашего царя и нашего боя. Будь нашему царю послушен и покорен. Сдавайся без драки и плати ясак по своей мочи, а не то городок твой разнесем и по ветру пустим!

Гойгудар просунул голову в прорезь башни, погрозил кулаком:

— Даем мы ясак маньчжурам, а вам откуда возьмем? Уходите, пока целы!

Речь Гойгудара распалила Хабарова.

— Гей, ухари, айда навалом! Сбивай спесь! — зычно прокричал он.

Со свистом и гиканьем казаки побежали к воротам. Стрельцы прикрывали атакующих залпами через ружье:

одни стреляли, другие в это время заряжали. Пушкари выкатили пушки на берег и стали пускать ядра. Пороховой дым окутал поле сизой завесой. Казаки ворвались в город, рубя дауров и дючеров.

Князья укрылись за стенами второго города, но ядра залетали и туда, поражая по пяти и более человек сразу. Князей обуял страх. Они вышли навстречу победителям с поднятыми руками, сдались на их милость. Гойгудар сказал:

— Будем вам послушны и ясак станем давать на все годы.

Казаки его обезоружили, воинов сгуртовали и погнали в стан к атаману.

Толга упал перед атаманом на колени и стал просить, чтобы Хабаров отпустил мужиков, жен и детей.

— Они будут соболя промышлять и тебе ясак давать. В заклад за них у тебя наши головы.

— Просьбу уважу,— согласился Хабаров и строго предупредил:— А коли ваши люди вздумают воеваться, всем сшибу головы.

Он положил на камень меч и велел целованьем присягнуть на верность. Князья присягнули.

## 15

В Якутск с указом и тайным поручением от самого государя приехали московский дворянин Дмитрий Зиновьев и дьяк Никита Слепнев. С ними прибыло две сотни стрельцов. Привезли награды и подарки.

Когда посланцы въехали во двор, Оська Степанов выглянул в окно и изрек уныло:

— Не миновать нам беды!

Дмитрий Францбеков тоже испугался, но вида не подал:

— Не твоего ума дело. Я в ответе. Молкни знай!

Дьяк намекал на события, памятные якутянам, связанные с походом Ерофея Хабарова в Даурию.

А произошло вот что: 17 марта 1650 года, в день государева ангела Алексея божия человека торговые и промышленные люди хотели своей волей устранить Дмитрия Францбекова, а на его место посадить младшего воеводу Ивана Акинфова.

Заговор возглавил Петр Стеншин, бывший дьяк при воеводе Василии Пушкине. Задержанный в Якутске якобы для отчета, а потом, пока не кончится следствие по расходованию денег и ясака при Пушкине и Головине, дьяк вознегодовал на воеводу. Распря приняла затяжной и злобный характер.

Будучи сыщиком царя, Петр Стеншин писал доносы на воеводу в Москву, возводил всякие хулы на якутского правителя. Он говорил, что, приходя в церковь, Францбеков мир мрачит, а православия за собой не имеет, что он, немкин сын, непрямым крещением крещен, будто бы воевода выгнал свое христианское крещение и не покинул латинской веры.

Дмитрий Францбеков люто возненавидел доносчика и хулителя. Он послал преданных людей к дьяку во двор, и они, чтобы уморить его голодом, забрали все его запасы, а когда Стеншин пришел на них жаловаться в съезжую избу, стрельцы схватили его, выволокли вон, били по щекам и, повалив, топтали ногами. После такой взбучки дьяк еле оклемался. Но на этом не кончились мытарства кляузника.

Взбешенный Францбеков запретил Стеншину жить в остроге и повелел ему жить в казачьей избе за воеводским двором.

Это была непоправимая ошибка воеводы. Изба опального дьяка стала тайным пристанищем недовольных купцов и промышленников. Здесь они, под покровом ночи, собирались и советовались, как избавиться от тирана и вымогателя. Острословы говорили:

— Был-де Головин, и тот-де головнею покатыл, а приехал с товарищи Василий Пушкин, так-де стало пуще, а как-де Дмитрий Францбеков приехал, так весь мир разбежал...

В скопе оказались самые влиятельные люди: таможенный голова Василий Ростовщик, гостинной сотни купец Василий Горбов, купец с Выми Иван Осколков, ярославец Никита Агапитов, а также приказчики богатых московских купцов: Петрушка Босиков, Савва Копыгин, Семен Нерадовский, Афанасий Аврамов. Все они признавали свое могущество, даже царь считался с ними, а Дмитрий Францбеков им всем предпочел одного Хабарова, которому завидовали, считали выскочкой и авантюристом. Проторив путь в Даурию, на Амур, по слухам,

сам Хабаров обогатился и обогатил воеводу Францбекова, а другие, по его вине, стали на грань банкротства, понесли большие убытки.

Семен Нерадовский писал в Москву своему хозяину Василию Федотовичу Гусельникову:

«...И промыслы, государь Василий Федорович, не удались, а по Олекме промыслишка было и прильнуло, ино помешал Ерофий Хабаров, а тепере, государь Василий Федорович, торги в Якутском горазно плохи, ни на какие товары походов нет... Ни на какие промыслы ни один человек не пошел, потому что обиды и налоги стали великие».

Гусельников подал царю челобитную и приложил письмо своего приказчика. Ведуны сказывали, что Алексей Михайлович, прочтя, очень разгневался. Ему нужны были деньги, нужна мягкая рухлядь, продовольствие. Все добро добывали купцы и промышленники. На них царство держалось, а воевода раздражал их своим поведением.

Однажды ночью к избе Петра Стеншина пришли Никита Агапитов и приказчик Афанасий Аврамов. Сквозь ледяные оконца едва пробивался свет. Когда Агапитов постучал в грубую дверь, в избе тревожно зашептались. Афанасий Аврамов склонился к двери, прислушался. Он узнал голос таможенного головы Василия Ростовщикова. Приказчик приободрился. Агапитов был в родстве с Ростовщиковым, приходился ему кумом.

— Кто докучает? — сердито спросил Петр Стеншин, подойдя к двери и вслушиваясь.

— Свои, дьяк, Никитка и Афонька. Впусти, не скаешься...

В избе снова зашептались, послышались шаркающие шаги, затем звяк щеколды, и дверь отворилась. Морозный пар клубами вкатился в избу через порог и вскоре растаял. В камельке потрескивали дрова, свет растекался по избе, освещая бородатые лица заговорщиков.

— Пошто полуночничаете? Пошто не спите? — спросил, волнуясь, Василий Ростовщиков.

— Кум, время пришло, — ответил Агапитов. — Нет больше мочи терпеть воеводини причуды и поборы... Замучил поминками и посулами.

— А ты, Никитка, какого от него, Францбекова, добра хочешь? — посмеиваясь сказал Стеншин, но, что-

бы скрыть свою мстительную радость, повернулся к камельку и подбросил в его пасть несколько поленьев.— Ведь он, воевода,— вор, немкин сын, двоеверец!

— Об этом и хочет Никитка миру поведать,— заторопился Афанасий Аврамов.— Желает Никитка свое сонное видение рассказать.

Все, кто был в избе, оживились и зашептались. Василий Ростовщик, как таможенный голова, знал всех торговых и промышленных людей Якутска и всех богатых приезжих гостей. Ярославец Никита Агапитов был смел и богат умом: умел выдумывать такое, что все верили его байкам. Приказчик Афанасий Аврамов быстро соображал, мог дать совет, как поступить в любых обстоятельствах, за это и ценил его хозяин. Он мог положиться на своего приказчика. Ростовщик знал, что избретательный Аврамов подсказал Агапитову сонное видение. Это видение могло помочь их общему делу.

— Кажи, Микита! Кажи видение! — поторопил Ростовщиков.

Агапитов благодарно посмотрел на таможенного голову, пошевелил узловатыми пальцами свалявшуюся бороду.

— Вчерашней ночью явился мне Спас трою, не дал спать: «Пойди, Никитка, и поведай в мире...»

Пряча смешок в рыжую бороду, Петр Стеншин уловил паузу, вставил свое острое слово, чтобы взбодрить ярославца:

— То не Спас трою пришел во сне, тебе трою явилась баба якутская... Бражкой упился, и повезло тебе...

Гости засмеялись. Агапитов обиделся, посмотрел на дьяка с укоризной.

Горячий Афонька Аврамов пристыдил дьяка и пригласил гостей послушать, а потом судить.

Агапитова выслушали. Купец говорил так складно и божественно, что многие поверили и даже прослезились. А Стеншин не унимался:

— Ох, будет тебе, Никитка, кнут... Сперва пойди к воеводе и ему поведай, а потом приходи и нас обведи. Битый ты, Никитка, человек.. Будет тебе кнут...

Запугивая Агапитова, дьяк проверял его волю, убежденность. Дело было нешуточное. Стеншин знал крутой нрав воеводы Францбекова. На себе испытал его месть. Теперь он хотел заручиться поддержкой именитых лю-

дей, а не лезть на рожон. Эти люди сами шли к нему и просили защиты. Зная, что многие торговцы и промышленники были искренне преданны христианской вере и верили в чудеса и явления, он, как и таможенный голова Ростовщиков, перестал высмеивать и запугивать ярославца. Он понял сокровенный смысл маскировки и решил еще раз потягаться с воеводой обидчиком. Начало было придумано неплохо.

— Микита, а где ты вещать будешь? — спросил дьяк купца.

Агапитов замаялся. Об этом он не подумал. На гостинном дворе можно бы повешать, но там много черного люда шатается, а вовлекать этот люд в бунт опасно, могла произойти большая смута. На воеводском дворе тоже небезопасно: неясно, как поведут себя служилые. Францбеков мог закрыть ворота и всех арестовать. Агапитов не раз был бит на воеводском дворе.

Заводчики бунта стали думать, где удобнее всего выступить Агапитову. Некоторые высказывались за то, чтобы пойти на воеводский двор и после того, как ярославец расскажет о видении, навалиться всем миром на воеводу и убить его, другие, более осторожные, хотели только поугагать Францбекова, чтобы он стал сговорчивее и уступчивее.

Сообразительный Афонька Аврамов, не раз выручавший своего хозяина из беды, не спасовал и здесь. Освещаемый светом камелька, он казался бронзовым, поворачивал заросшее курчавой и острой бородкой лицо то в одну, то в другую сторону и казался искусителем, пришедшим из ада. Пучки волос, торчащие над его лбом, походили на рожки. Аврамов примирил спорщиков, предложил время и место для важного общего дела. Он посоветовал Агапитову выступить в соборной церкви Якутска в час торжественной службы в честь государева ангела Алексея божия человека. По его мнению, это наиболее подходящий день: можно убраться от неугодного воеводу, причинившего ущерб казне и купечеству, выразить свою преданность и усердие в царский день Алексею Михайловичу.

— Ох, Афонька, удалая твоя голова, — заключил Стеншин. — Лучшего не придумаешь.

На том и порешили.

В день государева ангела Алексея божия человека

заводчики бунта пришли в церковь. Обедня еще не началась: благовестили к заутрене. Воевода Дмитрий Францбеков и дьяк Осип Степанов стояли на месте, положенном их чину, возле алтаря. За ними теснились сотники, пятидесятники и служилые люди. Возле них стал Петр Стеншин с детьми. Много было купцов и промышленников. Они перешептывались и оглядывались. Это насторожило воеводу. Он поманил к себе попа Перфирия.

— Почему вы, батька, мешкаете, заутреня не поете? — спросил он. — Почему в такой великий праздник государева ангела Алексея божия человека о царском многолетнем здоровьи бога не молитесь?

Перфирий заюлил и заторопился, начал службу. Агапитов протискался к алтарю и движением руки остановил попа:

— Постойте, батька, не спешите заутрени говорить. Дайте допрежь миру повещаю о сонном видении... Мне было сю ночь от Спаса нерукотворенного образа явление, не хочу яз потаить, должен яз объявить миру.

— Не добре пастыря, богову слугу, перебивать, — попрекнул его Перфирий. Он это сказал больше для вида, чем по убеждению. Когда прихожане зашумели, поп затаился. Ссориться с именитыми людьми ему не хотелось.

— Погодь, погодь, батя, бог потерпит! — вмешался Петр Стеншин. — Кажи, Микита, свое видение!

Почуяв недоброе, Францбеков пошел было к выходу, но его удержал Петр Стеншин:

— Постой, Дмитрий Андреевич, не послушав Спаса явления, вон не выходи!

— Бог не велел во сны веровать!

— А ты послушай, может, и уверуешь.

Когда народу стало больше, Агапитов вопрошающе взглянул на своих сообщников. Василий Ростовщиков подал условный знак — почесал себя за ухом. Агапитов начал:

— Послушайте, мир крещеный! Сея ночи яз стоял на молитве, говорил канун акафистов и, проговоря канун, лег на постелю, и глаза мои вместе не сошлись, стукнуло в сенях у дверей, и яз вышел в сени, и сенные двери заперты, и яз-де, вошед в избу, стал говорить канун Иисусу Навину и, проговоря канун, лег на постелю. И как я стал

забываться сном, и двери сенные и избные отворилися, и яз-де в то время, устращася, встал. Ажно идет впереди Алексей человек божий, а в руках своих несет свечи, а за ним идут два юноши млады, несут в руках всемило- стивого Спаса нерукотворенный образ, и от того образа мне глас бысть: Микита, не страшися, а поиди-де ты в соборную церковь, говори священникам, чтобы они велели благовестить, а сам-де ты, Микита, посылай в острог по дворам и за острогом, где кто живет, служилых и торговых и промышленных людей, чтобы-де они шли в соборную церковь, сказывай-де, Микита, не утай, чтобы- де они, миряне, не жили беззаконством... И не велел-де Спас всяким людям, служилым и промышленным, крещеных и некрещеных девок и женок у себя на постели держать, а будет-де не послушают тебя по сему видению, ино будет гнев божий...

«К чему бы слово ядовитое изрыгает?» — подумал Францбеков, все более и более проникаясь тревогой. Ни для кого не было тайной, что Францбеков вел разгульную жизнь, жил с якуткой Варваркою. Но ведь так не один он жил, а многие именитые и богатые якутяне.

Молящиеся уже не шептались, а вслух поощряли сновидца. Кое-кто из служилых осуждал проповедника. А Никита Агапитов, все более и более смелея, продолжал обличать. Уставя перст на воеводу, кося на него глазами, возвысил голос:

— И не велел Спас воеводу Дмитрия Францбекова в церковь пущать... Чужи он христианства, живет беззаконством, держит у себя на постели некрещеные бабы... А не подобает ему, Дмитрию Францбекову, быть у государева дела, а что есть у него, Дмитрия, неправедного в сундуке,— деньги и соболи и лисицы и бобры, и то-де велел Спас взять на царя...

Вначале, когда Агапитов начал свое обличение, Францбеков думал, что купец пьян. Он знал, что многие купцы, приехав в Якутск, напивались до чертиков и мололи языками всякую ересь и несурязицу. Услышав продуманное поношение его имени, он понял, что в церкви затевается заговор против него, что Агапитов задумал недоброе, что у него есть сообщники. Гнев ослепил воеводу.

— Микитка, я перед тобой не ответчик! — багровея, выкрикнул он.— Сам ты, Микитка, воруешь ежедень, не-



крещенные бабы на постели у себя держишь, а меня попрекаешь. Будешь языком блудить — голову потеряешь.

— То не мой язык блудит, то Спас вещает. Да покарает тебя, вероотступника, гнев божий!

Агапитов призывал к расправе. Францбеков огляделся и, заметив сотника Семейку Рогачева, приказал:

— Возьмите буюна, посадите в тюрьму. На чепь его, смутьяна!

Петр Стеншин поспешил на выручку Агапитову.

— Эй, воевода, не стражай! Мы уже пуганы тобой и перепуганы... Мы такое тебе устроим, что жизни будешь не рад... Позабудешь нас в тюрьму сажать и за бороды драть.

— А, вот кто заводчик смуты! — закричал Францбеков. — Это его поганых рук дело... Мало я его учил!

Петр Стеншин гневно возразил:

— Я знать ничего не знаю, а сам по себе терплю от тебя всякие беды и обиды. Ты, Дмитрий, живешь не по царскому указу. Берешь скот у ясашных якутов: кони добрые, коровы и быки, а сено якутов велишь к себе возить. Из твоей алчной дурости от государя две волости отложились.

— За скот и за сено государь мне доправит, — отвечал Францбеков. — А за копну сена — недорогое дело — по две деньги велят заплатить в казну, а волости от государя не отложились. То ты, дьячишко, брешешь.

В злую перебранку между воеводой и дьяком втягивались торговцы и промышленники. Люди, бранясь, накалялись гневом. Взаимная ругань грозила потасовкой. Так часто бывало и прежде. Напрасно Осип Степанов и поп Перфирий ходили среди прихожан и урезонивали горячие головы. Уговоры еще более распалили бунтовщиков. Воеводу называли бездельником, плутом, посульником, обвиняли в поборах, в неправославии, в двоедушии и двоеверии.

Служилых в церкви было немного, и они в распрю не вмешивались. Дмитрий Францбеков понял, что попал в ловушку. Когда угроза не помогла, он пошел на хитрость. Заплакал, крупные слезы потекли из его выпуклых глаз оловянного цвета, взбирались на темно-синие мешки под глазами и оттуда срывались вниз.

— Коли яз, грешный, недостойн быти в церкви, и яз поиду вон, — сказал он, вытирая тыльной стороной ла-

дони слезы. Он рассчитывал, что, выйдя, на подворье найдет служилых людей, не знающих о бунте в церкви, и сумеет расправиться с зачинщиками смуты. Ему не раз приходилось обращаться к служилым в сложных случаях. Однако разжалобить ему не удалось. Петр Стеншин схватил его правой рукой за грудки, а левой — за пальцы и сжал, словно клещами. Агапитов взял другую руку воеводы и закинул ему на спину. Афанасий Аврамов, расталкивая людей, подбежал и ударил Францбекова по носу, кровь залила кафтан воеводы.

Но тут произошло непредвиденное. Именитые купцы и промышленники, считавшие, что Францбекова надо проучить, решили, что цель достигнута, и, боясь, что разгорится большой бунт, пошли на попятную. Афанасия Аврамова не поддержали.

— Что вы, православные, стали? — обратился к прихожанам Стеншин. — Порадейте государеву делу! Спас велел взять воеводские животы<sup>1</sup> на государя.

Дьяк призывал идти на воеводский двор дуванить<sup>2</sup> добро Францбекова. Советники и ушники воеводы стали пугать верующих грозными карами. Первым заговорил Иван Осколков, тучный купчина, всеми почитаемый гражданин Якутска. Его одолевала одышка, он волновался, сопел, шумно и тяжело втягивал в себя воздух, пропитанный ладаном и потом.

— Что вы зовете нас идти на воеводский двор Дмитрия Андреевича Францбекова, животы его иметь на государя? — хрипел он, выдавливая слова. — Есть государев указ, как бывает воеводам перемена, в то время велено у воевод животов досматривать, будет-де лишку объявится за государевом указом, то велено иметь на государя, да и о том велено писать государю, к Москве...

Приказчики Семен Нерадовский и Савва Копыгин высказались в том же духе. Они не хотели убивать воеводу и грабить его добро. Нерадовский не имел зла против воеводы, он негодовал на Хабарова, нанесшего своим походом ущерб купечеству, он полагал, что хитрый даурец недостойн покровительства воеводы. Ерофей Хабаров, предложивший воеводе дерзкий план похода в Дау-

---

<sup>1</sup> Животы — имущество.

<sup>2</sup> Дуванить — делить.

рию, был повинен во всей этой заварухе. Поход стал купцам в круглую копейку: возросли поборы и налоги, нарушилось доверие к воеводе. Но виновника здесь не было, бунтовать не имело смысла, а черного люда, который ждал случая, чтобы посчитаться с обидчиками-богатеями, боялись все.

У служилых людей чудодейство, происходившее в церкви, вызвало недоумение и страх. С воеводой можно стакаться заодно, а с бунтовщиками иметь дело не было никакой корысти. Потаенные думы служилой верхушки высказал сотник Семейка Рогачев:

— Православные и мир крещеный! Что у вас негораздо делается, мятеж и убивство заводить! Лучше было бы того велеть заутреня петь, потом молебствовать, о царском многолетнем здравии бога молить, ангела его государева Алексея человека божия на помощь призывать, не токмо убивство заводить.

Десятник Семейка Чуфаристов, недовольный воеводой, готовый быть заодно со смутьянами, подскочил к сотнику:

— Что ты, старик, говоришь? Разве можно мешать правому делу?

— В мире делается негораздо,— отвечал Рогачев.— Убивство и кровь заводят в такой в нынешний день господень: на Московском государстве винным грешникам, которые приговорены по государеву указу к смертной казни, и тех бог помилует, государь для ради ангела хранителя и многолетнего своего государева здоровья тех винных пожалует, в смерти велит живот дати видеть. А притчами дела, что здесь делается негораздо, торговые пойдут к Руси, промышленные разойдутся по промыслам; преже всех будет вашим головам: быть маслу на спине, течи по пятам...

Сотник говорил убедительно. У всех разные интересы: у богачей свои, а у служилых свои. Влезать в смуту не имело смысла.

— Ты прав, сотник!— сознался Чуфаристов.— И так у нас на наших спинах кожи дубленые. Надо кончать сие непотребство!

По совету Рогачева он незаметно выскользнул из церкви и, пробежав на воеводский двор, собрал служилых и привел в церковь, чтобы помешать бунтовщикам сотворить их черное дело.

Нежданная поддержка ободрила Францбекова. Он властно посмотрел на своего врага. Стеншин отпустил его руку. Предательство богачей оскорбило зачинщиков и посеяло смятение.

— Вы потому государевым делом не радеете,— сказал дьяк Осколкову,— что приплыли в Якутский острог со многими своими товары для ради больших торгов и великих себе нажитков, а нас, бедных людишек государевых, вы ни во что не ставите. Вы с воеводой скались!

Затея Агапитова не удалась, бунт заглох в самом начале.

Служилые люди, которых привел Семен Чуфаристов, вошли в церковь в шапках и с оружием и стали выгонять молящихся. Ругаясь и споря, купцы и промышленники поспешно расходились по своим лабазам в гостинном ряду. Дмитрий Францбеков подбадривал стрельцов, но арестовать зачинщиков в тот же день не решился. Возвращаясь из церкви, он видел, как то здесь, то там собирались кучками черные люди и горячо спорили. Некоторые грозили воеводе кулаками.

Подождав два дня, придя в себя от пережитых волнений, Францбеков назначил смотр якутскому гарнизону, чтобы устрашить непокорных и проверить верность служилых присяге. После смотра воевода устроил стрельцам даровое угощение. Когда он убедился, что зачинщики не имеют опоры, он приказал их арестовать. В акафистову субботу, во время обедни, верные ему стрельцы ворвались в церковь, где молились смутьяны, и стали их хватать и бить. Первым попался приказчик Афанасий Аврамов. Будучи сильным и рослым, он не давался служилым, но те настигли его возле алтаря. Рухнули перед образами свечи. Поп Перфирий, не желая быть свидетелем, спрятался в алтаре. Избиваемый служилыми, приказчик кричал:

— Православные христиане, не дайте двоеверцу Францбекову меня убити, ведаю на него, Францбекова, государю дело.

— Волоките злоязычника в съезжую, там разберем! — командовал сотник. Аврамов упирался, заявляя, что не пойдет в съезжую, пока не придет дьяк Осип Степанов. Служилые подхватили упряма под руки и поволокли в пыточную избу.

Пока служилые усмиряли Аврамова, Никита Агапитов успел выбежать из церкви и кинулся к Стеншину. Дьяк приютил заговорщика, напомнил:

— Говорил, Микитка, будет тебе кнут. Так и вышло!

— Вышло дышло. Знал бы, где упасть, соломки бы постелил. Будем заодно беду делить.

Однако Стеншин думал по-другому. В его голове вырвалась дума о том, чтобы примириться с воеводой.

Приближался день пасхи. Воевода счел благоразумным не трогать зачинщиков в дни праздника. Стеншин назначил этот день для примирения с победителем. В этот праздник люди христосовались, прощали обиды друг другу, мирились.

Придя в церковь, Стеншин подошел к воеводе и заявил, что есть у него важное дело. Францбеков недоверчиво и зло глянул на обидчика.

— Говори, что у тебя за дело?

Петр Стеншин сказал, что раскаивается в содеянном, и сообщил, что Агапитов скрывается у него, а затем громко, чтобы все слышали, сказал:

— Христос воскрес, Дмитрий Андреевич!

Ругая сыщика про себя и презирая его как предателя, Францбеков ответил:

— Воистину воскрес, Петр Григорьевич. Доброе дело сотворил.

Бывшие враги троекратно поцеловались, немало удивив прихожан.

— Впредь не будем ни в чем враждовать, Дмитрий Андреевич!

— Не будем! Не будем, Петр Григорьевич,— заверил его Францбеков и подумал: «Изворачивается и юлит дьячишка, свое получил сполна и еще получит...» Ему было лестно, что дьяк повинился, однако его предательство настораживало: такой отца родного не пожалеет.

Дмитрию Францбекову хотелось расположить Стеншина в свою пользу, обезвредить его как доносчика. А чтобы впредь дьяк не заводил смут, повелел примерно наказать Агапитова. Давно у него был зуб на озорного купчишку.

После пасхи служилые, посланные воеводой, пришли во двор к Стеншину, нашли на чердаке купца, доставили в пытошную избу, где его встретил сам воевода и под-  
верг самым изощренным пыткам.

На случай, если бы у крамольника нашлись выручальники, Францбеков распорядился запереть в остроге все ворота и поставил в ружье всех служилых гарнизона.

Никита Агапитов не выдержал пыток и отдал богу душу.

Узнав про это злодейство, Петр Стеншин, боясь попасть в немилость царю, написал в Москву челобитную о волнениях в Якутске и неугодных делах воеводы Францбекова. Что касается Даурии, то дьяк писал, будто даурская служба стала воеводе не дешево, что Францбеков сам говорил, что он Хабарова своими деньгами ссужал и все животы свои истерял, а пищали, порох, свинец и пушки из царской казны взял, а кроме Хабарова и других кредитовал.

Стеншин подговорил написать всех, кто был в обиде на воеводу и Хабарова. Семен Нерадовский писал своему хозяину Гусельникову: «И он, воевода, теперь на меня кручинен, сулит огонь да пытки, а яз на себя дела не ведаю никакова и во все чины лишь бы где сыскать, ино налоги становятся велики, а отпуску яз себе не ведаю.

И ты, государь Василей Федотович, не покинь меня здесь, как мочно меня доставай отсели, животу твоему, Василей Федотович, стала налога великая, хочет взять много, дать ему много не за што, и потому он на меня и кручинится, что яз ему много не ношу никогда. А твоего добра, Василей Федотович, не помнит ни много, ни мало, ни в чем не побережет и никогда тебя не помянет ни к чему. И всяким людем от него великие налоги чинятся и промышленных по сторонним рекам судов пятишести не пошло... А иного, Василей Федотович, с кручины писать не ведаю».

Получив письмо от своего приказчика, Гусельников подал жалобу царю и приложил челобитные от других купцов и приказчиков.

Вскоре дошел до Якутска слух, что Алексей Михайлович очень осерчал на воеводу Францбекова: повелел писать грамоту, для чего они, Дмитрий и Осип, великого государя казною корыстовались, а затем обыскать про них под присягой, каждого порознь.

Слухи подтвердились. Вот она, расплата! Вспомнилось: смута в церкви в день рождения царя, недовольные купцы и приказчики, избитые служилыми, он сам

пытал зачинщиков. Это неслыханное кощунство. Вспомнив об этом, Францбеков сам себе не поверил: «Да было ли все это? Не сон ли?»

Нет, все наяву: впереди царский посланник, за ним младший воевода Иван Акинфов, рядом с ним дьяк с погребцом. «А этот небось наябедничал. Мало я его за бороду драл...» — подумал мстительно про младшего. Он держал его в черном теле, к правлению не допускал.

А гроза неотвратимо надвигалась. Решил встретить беду достойно, не роняя головы.

Зиновьев вошел, сухо поздоровался, скинул на руки дьяку соболью шубу, сел развалясь и хищно посмотрел на воеводу. Ему не понравилась заносчивость Францбекова. Еще в пути Зиновьев узнал про все его корысти и причуды. Ему захотелось сбить спесь и показать свою власть. Он позвал дьяка Никиту Слепнева, взял из его рук погребца, достал грамоту и победно протянул Францбекову:

— Чти!

Неучтивость дворянина оскорбила якутского воеводу. Назло ему не стал сам читать грамоту.

— Я на глаза слаб. Оська, прочти уж, что там?

Степанов взял указ, глянул на царскую черную печать с орлом, и руки у него задрожали. Он растерянно посмотрел на воеводу.

— Чти! — приказал Францбеков, подавив в себе робость. Ему было теперь все равно. Все перегорело. Он не считал себя виноватым. Отписки царю посылал исправно, мягкую рухлядь отправил с нарочными, и не его вина, что они задержались в пути. Хабаровцам Дружинке Попову и Ефтюшке Даурскому поручалось самолично доложить государю о вновь открытых землях и народах. А что нарушил указ и сверх государева указного числа приверстал к якутскому гарнизону сотню человек, то в этом была необходимость. Слова указа врывались в размышления и воспринимались как нечто обидное и несправедливое:

«...В Сибирь, в нашу дальнюю отчину Якутск столынику нашему и воеводе... Ведомо нам, великому государю, учинилось: послан тобой в дауры Ярофейко Хабаров с товарищи. От того вора добра не ждать. Оный Ярофейко к изменному делу склонность имеет, среди всех лихих людей самой лихой и пакостный, того и гляди —

возгордится и возомнит себя самозванцем. За недогляд и нерадение быть тебе и дьяку твоему в опале, а вместе тебя ставлю младшего воеводу Ивашку Акинфова, да дьяком к нему сына боярского Никитку Слепнева. Повелеваю взять ему печать Якутского острога, и острог, и острожные ключи, и на остроге наряд, а тако ж дворянину Зиновьеву произвести сыск о неугодных делах воеводы Митьки Францбекова и дьяка Оськи Степанова, самолично про того вора Ярофейку сыскать, а пуще того проведать пути в Даурскую землю для знатного числа нашего войска. Жесточью и самоуправством даурских и богдойских людей не злить, жить с ними в добре и дружбе. Для обережения и опочива служилым людям — на реках Амуре, Урке и Зее острожки поставить, ясак посылать, минуя Якутск, нам, государю. А того вора взять не силой, а посулами. А буде противиться, скрутить и на Москву доставить. Воеводу и дьяка после сыска отправить тож в Сибирский приказ...»

От волнения у Степанова выступил на лбу пот.

Слушая и возмущаясь, Францбеков глядел упрямо в землю, не поднимая глаз на Зиновьева. Лицо налилось кровью. В наклоне головы, в сжатых губах, в его облике ощущалось бычье упрямство. Воеводского чина не жалел, сам хотел того, но грызла обида на царя, не оценил государь его забот, напрасно обидел. А что купчишек дуванил, так без того ни один воевода не обходился. На то и щука в озере, чтобы карась не дремал. За себя не постоишь — замнут, проглотят.

Дмитрий Зиновьев сидел напротив и временами поглядывал то на воеводу, то на дьяка, их растерянность не ускользала от его взгляда. Из-под его густых бровей светились ястребиные глаза, хищно свисал клювообразный нос, в черной бороде прятались серебряные нити. Он был доволен.

— Чул, что царь прописал?

— То ябеда,— ответил Францбеков. Губы его задрожали.— То купчишки наябедничали. А мы хоть и на болоте сидим, мхом не обросли.

— Кто где сидит, сыск покажет... Никитка дьяк дошлый, до всего доходчив.

Дьяк Слепнев, польщенный, расправил бороду и спрятал в нее довольную ухмылку. От него зависел ход дела: подсчеты доходов и расходов, проверка ясачных



именных книг, учет мягкой рухляди и кабальных записей, беседы с обиженными и челобитчиками.

Оська Степанов искоса поглядывал на приезжего дьяка и соразмерял силы. «Тут уж разумеи, свою сметку имей. Поборемся, коли на то пошло».

Со двора донеслись вдруг беспокойные голоса.

— Стойте! По какой надобности идете?

— Казаки мы! Из Даурии, с вестью к воеводе!

Дмитрий Францбеков прислушался, угадал знакомые голоса, но посыльные были сейчас некстати.

— Оська, глянь-ко, кто докучает?

Степанов выбежал на крыльцо и вскоре вернулся.

— То послы от Хабарова.

— Недосуг нынче. Прогони!

— Время твое прошло,— настойчиво сказал Зиновьев.— Послы кстати. Впусти их, Никитка!

Своим вмешательством сановник обескуражил Францбекова, и он почувствовал, как гнев и стыд окутали его сознание. В глазах заблестали мстительные искорки и погасли. Слепнев высунул в окно голову:

— Голуби, заходи! Эй, заходи, желанные!

Шумно вошли казаки, внесли поклонные дары: шестнадцать сороков соболей, десять штук сукна, шубу соболью, три княжеских даурских панциря, два булатных меча. У Зиновьева расширились глаза.

— Поклон воеводе от атамана. Послан к тебе, батюшко, за советом и помощью. Поредели в боях с даурцами наши ряды.

Дмитрий Францбеков недовольно насутился на Илейку, кивнул на Зиновьева:

— Не по чину объявляешься. К нему ступай, пусть обласкает.

Зиновьев взял отписку и стал читать. Казаки стояли перед ним, переминаясь с ноги на ногу и любопытно разглядывая важного чина.

Хабаров писал о Даурской земле и смерти боярского сына Лихачева в кровавом бою, о том, что следовало бы обменяться послами с богдойцами, а послов подкрепить войском.

«...А того мы, Дмитрий Андреевич да Осип Степанович, не знаем, где мы зазимуемся, а в Даурской земле на усть Зеи и на усть Шингалу теми людьми сесть не смеем, потому что тут Богдоева земля близко, и войско

приходит на нас большое с огненным оружием и с пушками и с мелким оружием огненным, чтоб государеве казне порухи не учинить и голов казачьих напрасно не потерять; и летом по той реке Амуру ходим, и тех иноземцев под государское величество призываем, а к зиме сплываем вниз; а теми людьми, Дмитрий Андреевич да Осип Степанович, той землей овладеть не можно, потому что та земля многолюдна и бой огненной, а из той земли и с той реки Амура без государева указу сойти на иные реки не смеем...

...А с правую сторону выпала река, зов ей Шингал, и по той реке сказывают, что живут многие люди, да и города-де у них есть; и на усть той реки Шингала стоят на той же стране два улуса великие, в тех улусах юрт шестедесят и больше, и яз Ярофейко с того у них улусу мужиков ясак прошали, и они мужики нам отказали, и ясаку государю не отдают...

А ходу в ту Даурскую землю из Якутского острогу в малых дощаниках, по тридцати человек в судне до Олекмы восм дней, да Олекмою и Тугирем реками до волоку ходу полпята недели, а через волок с ношами пешего ходу на Амур реку восм ден, и на той на Амуре реке Урки реки сделать суды, большие дощаники, чтобы поднял дощаник по сороку и по пятьдесят человек... А в Богдойскую-де землю ходят степью недель в шесть, а какими местами ходят и каков ход, того не ведаем...»

Отписка Хабарова ошеломила всех, кто был в съезжей избе. Шутка ли сказать, землепроходцы нашли землю, которая издавна манила иноземцев! Они утвердились на берегах Амура...

Дмитрий Францбеков победно глянул на Зиновьева: Хабаров не вор, он верен государю, подсказывал, что надо делать. Советы землепроходца пришлись не по душе дворянину. «С царем панибратствует... Великий государь без него знает, что надо делать».

Воспрянул духом и Осип Степанов: не подвел Хабаров. В самый нужный час отписку прислал. А Иван Акинфов остался, каким был. Ему никогда не нравились рискованные затеи, он думал о том, как бы наладить порядок в остроге: совсем служилые и казаки от рук отбились — пива, браги и хмельные квасы варят, в зернь играют, табак пьют, бражничают — оттого и обнищали, а ходячи по ясак, ясашным людям чинят беды и утес-

нения... «Погодите ужю, сяду воевовать, приберу к рукам, накажу по винам, кто какого наказанья доведетца...»

Полагая, что младший воевода не по уму ретив и заносист, Дмитрий Францбеков не раз драл его за бороду и сажал в тюрьму. То, что царь назначил такого незадачливого человека, Францбекова удивляло и раздражало. А Зиновьев приблизил Акинфова, советовался с ним. Но что мог посоветовать человек ограниченного и трусливого ума? Когда Зиновьев спросил его о Хабарове и отписках, Акинфов только пожал плечами и сказал, что пусть отвечает тот, кто заварил всю эту кашу. Он намекал на Францбекова.

Дмитрий Зиновьев с особым тщанием допросил Илейку Жука и его товарищей о Даурской земле и про богдойского царя. Казаки рассказали все, что знали: про Амур и его богатые берега, про дауров и дючеров, про соболи и про узорочья, и какие у них бои с даурскими и дючерскими людьми многие были, про города и про реки, про урочища и про все то, о чем писал Ерофей Хабаров в своей отписке. Гонцы сообщили, что хлеба в Даурской земле родится много, окромя ржи. Как и Хабаров, они заявили, что путей в Богдойскую землю не знают.

Распросные речи были записаны, Илейка Жук приложил руку за себя и за своих товарищей.

Зиновьев поблагодарил казаков, похвалил подарки и мягкую рухлядь, которые они принесли царю и воеводе, но о помощи ответил уклончиво.

— Недально время, сам буду у Хабарова на Амуре. Там столкуемся. За добрые вести жалую государевым жалованьем. Никитка, выдай!

Никита Слепнев открыл погребец, выдал Илейке два золотых, казакам по золотому. Гонцы обрадованно поклонились щедрому дворянину.

— Ступайте! С богом! — напутствовал их Зиновьев. — Когда в обрат, посыльщик напомним. Готовьте, что в путь надобно.

Казаки взяли деньги и поволоклись в кабак.

Зиновьев встал, подошел к государевой казне, любовался мехами и, резко обернувшись, сказал:

— Утро вечера мудренее. Подите, а я тем часом помекаю.

«Давно бы так-то», — подумал Францбеков.

Перед лицом опасности, которая вдруг возникла

перед Хабаровым, мелкая возня Зиновьева, его спесь показались ненужным и глупым делом. Богдойцы могли разгромить ватагу, а это сулило большой ущерб для воеводы и для Руси. Это понял и Зиновьев.

Два дня он никого не принимал: читал отписки Хабарова и расспросные речи. И чем больше он постигал суть дела, тем больше убеждался, что без Францбекова и Степанова ему не обойтись.

Пригласив опального воеводу и дьяка, Зиновьев заметно подобрел. Он пригласил их к столу для тайной беседы особой важности.

Сановник не стал напоминать Францбекову о бунте в Якутске, принудительных угощениях, стоивших купцам и промышленникам многих денег, о сожительстве с некрещеной якуткой Варваркой. Настороженность, с какой он отнесся вначале к воеводе, теперь, перед большими задачами, казалась ему лишней.

Поборов свою гордыню, Францбеков согласился обсудить с посланником царя сложное дело.

— Богдойцы хотят воеваться, — сказал Зиновьев. — То ведомо государю.

Посланник сообщил главную цель, ради которой прибыл в Якутск. Алексей Михайлович, получив известие от Дружинки Попова, что Хабаров соприкоснулся с маньчжурами, повелел енисейскому воеводе Пашкову готовить войска, чтобы защитить земли, принадлежащие Руси в Приамурье.

Министр по иноземным делам Ордин-Нащокин, умный и образованный дипломат, настойчиво побуждал Алексея Михайловича отправить к богды-хану послов, подкрепив их силой. Приамурские земли должны были стать порубежной площадкой для торговли, он советовал защищать эти земли, послать трехтысячное войско под начальством Лобанова-Ростовского.

Но ни царь, ни его советники почти ничего не знали о загадочной стране богдыханов.

Португальцы были первыми европейцами, которых увидел Китай. В 1516 году около острова св. Иоанна появился португальский флот под командованием Переса

де Андрадеса. В следующем году капитан да Мар поплыл в Кантон с подарками для богдыхана. А через четыре года в Пекин прибыло первое португальское посольство. Его постигла полная неудача: китайцы, раздраженные захватом полуострова Малакки, правитель которого считался вассалом Китая, казнили одного из членов посольства, а посла заключили в тюрьму. В ответ на это загремели пушки португальской эскадры. Пушки произвели на китайцев впечатление, но цель, которую ставили перед собой португальцы, не была достигнута. Не повезло и соперникам португальцев по захватам чужих стран — испанцам.

Голландцы и англичане хотели проникнуть в Китай северным путем. Они искали дорогу вдоль северных берегов Европы и Азии и тщетно боролись со льдами Ледовитого океана. Потерпев неудачу в северных морях, искатели Китая, Индии и Америки облюбовали себе устье Северной Двины и хотели там укрепиться, но московское правительство разгадало коварный план захватчиков и выдворило их из пределов русского Поморья, решительно запретив плавание к устьям сибирских рек и к Мангазее, ключевому городу Сибири.

Голландцам и англичанам пришлось идти по следам испанцев и португальцев, мимо берегов Африки.

В 1637 году пять английских судов оказались перед Кантоном и открыли враждебные действия. На помощь военным пришла католическая церковь. Толпы иезуитов ринулись в Китай, проникнув во дворец богдыхана, некоторые из них стали близкими советниками Сына Неба. Кое-кому эта близость стоила головы.

Однако цель была достигнута: европейские правители получали более или менее точную информацию о Китае.

Иван Грозный первым из московских царей обратил внимание на Китай. Его послы — смелые и энергичные атаманы Иван Петров и Бурнаш Ялычев в 1567 году побывали в Монголии и Китае, добрались сухим путем до Пекина. Однако спесивый богдыхан их не принял, полагая, что все народы ему подвластны и обязаны приносить дары. А подарков у послов не оказалось. Вернувшись, казачьи атаманы написали «Сказку и роспись» — подробный рассказ о тех местах, которые посетили, и карту: первые достоверные сведения о китайцах и монго-

лах. Алексей Михайлович с интересом читал «Сказку и роспись», однако сведения, сообщаемые Петровым и Ялычевым, изрядно устарели. Почти сто лет прошло, а сближения не наступило. Надо было заявить богдыхану, что на свете есть и другие государи, которые имеют право стоять с ним на равной ноге.

Ерофею Хабарову выпала первая честь представлять Русь на берегах Амура. После его похода в Даурию Русь стала близким соседом Поднебесной империи. Открылся сухопутный путь в Китай.

Когда маньчжуры утвердились в Китае и расправились вместе с китайскими феодалами с крестьянским восстанием, богдыхан Шунь Чжи обратил свои взоры на берега реки Черного дракона, так назывался у маньчжуро-китайцев Амур — край великих лесов и обширных степей. Некогда в этом краю жили могущественные чжурчжени — предки приамурских народностей. Это они, единственные хозяева берегов Амура и Уссури, поставили на колени гордых и высокомерных правителей сунского Китая и привели на грань гибели их феодальное государство.

Межплеменные и родовые распри подточили государство чжурчженей, а орды Чингис-хана завершили его распад. Уцелевшие чжурчжени вернулись на свою родину — на берега Амура. Теперь это были разрозненные и немногочисленные народности с разными названиями. Только в песнях и сказаниях сохранилась слава о некогда былом могуществе.

Маньчжуро-китайские феодалы, договорившись между собой, начали закабалить приамурские народности, запугивая их и науськивая на казаков Ерофея Хабарова. Вскоре на берегах Амура появились войска богдыхана Шунь Чжи и стали провоцировать войну.

Назревал серьезный конфликт. Направляя дворянина Зиновьева в Якутск и на Амур к Хабарову, Алексей Михайлович ждал от него известий о Китае. Что это за сосед? Что он замышляет? Кто управляет страной у Теплого моря? Почему этот сосед ведет замкнутую жизнь? Хочет ли он торговать и какие у него есть товары?

Зиновьев обязан был произвести дипломатическую и военную разведку загадочной страны, которой интересовался весь мир.

Чтобы честь московского государя не была помрачена и унижена, нужные сведения должно добыть негласное посольство от имени якутского воеводства через Хабарова. В случае неудачи престиж царя не был бы оскорблен, а удача сулила большие выгоды.

Это была традиционная политика. Но кто такой Хабаров? В дворцовых кругах о нем мало кто знал. Говорят, бунтовал против воеводы Головина. Но сей воевода сам ожесточил людей против себя своим тиранством и поборами. А купчишки тоже называют даурского атамана вором, будто бы он радеет своим прибыткам, будто к его рукам много добра прилипло. Если такого не унять, далеко шагнет. Но такие, как Хабаров, будучи передовщиками, открывали и осваивали новые земли, заводили дружбу с встречными народами, вовлекали их в большой мир, внедряли земледелие и ремесла, учась у своих соседей жизни в тайге и тундре, в жарких степях и холодных горах. Ермак подарил Руси Сибирь, Семен Дежнев открыл пролив в восточные моря и океаны, Стадухин и Атласов прибавили к Руси Чукотку и Камчатку. Ерофей Хабаров начал осваивать Приамурье и открыл путь в Китай.

Размышляя, Алексей Михайлович одобрял Грозного, который достойно оценил Ермака. Так следовало бы поступить и ему, но осторожность и расчетливость всегда брали верх, он раздваивался.

Приказав енисейскому воеводе Пашкову готовить войска для похода в Даурию, он вскоре отменил свое повеление. У Пашкова служилых людей было мало, у других сибирских воевод и того меньше. Большое войско под начальством Лобанова-Ростовского требовало изрядной подготовки: знания путей, запасов продовольствия, постройки новых острогов, где служилые могли бы закрепиться и отдохнуть.

Занятый внутренними реформами, западными соседями, царь не хотел войны с богдойцами и осуждал Хабарова за его прямолинейность и заносчивость.

Во всем этом надо основательно разобраться. Царю казалось, что Дмитрий Францбеков, увлеченный тяжбой с купцами и промышленниками, потворством Хабарову, может вызвать нежелательные осложнения с маньчжуро-китайцами.

Зиновьев, конечно, не знал всех переживаний и вол-

нений царя, однако вполне понимал ответственность, которая выпала на его долю. Преодолев громадный путь из Москвы до Якутска, он самолично убедился, что большое войско, о котором говорили в Сибирском приказе, придет не скоро. А если бы оно и пришло, то погибло бы в таежных урманах без продовольствия. Ни Хабаров, ни воевода не позаботились о постройке острогов для служилых людей. Говоря о поручении царя, Зиновьев не преминул напомнить, что, по словам знатцев, на Тугирском волоку нет никакого острожка, где бы можно войску отдохнуть, что там есть только два зимовья — избы с сенями, построенные покрученниками Ивашки Квашнина и Андрюшки Ворыпаева. А живет в тех избах Никифорка Хабаров, скрываясь от долгового иска окольного Прокопия Соковнина.

Дмитрий Францбеков угадал, куда клонит сановник. Ставить острожек на Тугирском волоку не имело смысла: люди здесь не задерживались, а проходили к Амуру. О том, кто живет в избах, ему-де, воеводе, неизвестно, а что Никифорка Хабаров должен Соковнину и сбежал, то в этом его вины нет. Поверстал брата Хабарова в служилые потому, что в людях оскудение, а тот Никифорка пошел охотой.

Как бывший дипломат, Дмитрий Францбеков не хотел войны, он верил в силу переговоров. В этом была у него и своя выгода: в случае войны все долги Хабарова легли бы на его плечи, а ему хотелось, чтобы землепроходец оставался на Амуре и посылал оттуда мягкую рухлядь. Торговля с богдойцами сулила большие выгоды как для царя, так и для него лично.

— Амур — дорога для торговли, — сказал он. — Амур — путь в теплые и студеные моря.

Францбеков предложил послать в Китай послов и начать переговоры, завязать торговлю. Зиновьев стоял на том, чтобы сначала показать богдойцам силу, а потом отправить посольство и повести речь о торговле.

Иван Акинфов плохо слушал спорщиков, занятый мыслями о своем будущем воеводстве. Дьяки уклонялись от споров, не желая подставлять свои спины под удар.

Желая примирить оба мнения, Зиновьев пошел на хитрость: послать Хабарову подкрепление, а в его составе посольство, на случай, если бы богдойцы оказались сговорчивыми. На том и порешили.



Послом назначили сотника Терентия Ермолина, человека солидной внешности и большого ума, ему же поручили и командование отрядом. Изворотливый и ловкий Артемий Петриловский, племянник Хабарова, сумел войти в доверие сановнику и был назван заместителем Ермолина с равными правами. Это он сообщил Зиновьеву о всех неблагоприятных делах Никифора Хабарова: с ватажкой пробирается на Амур к своему брату, отпустил Никифора в Даурию воевода Францбеков ради своей корысти, как охочего новоприборного человека.

Петриловский столь пришелся Зиновьеву по душе, что он присвоил ему звание приказного человека Амурской земли. Это уравнивало его в правах с Хабаровым и Ермолиным. Петриловский мстил своему дяде за то, что тот не продвигал его в званиях, держал в черном теле, не делился добычей. Теперь племянник мог разговаривать со своим упрямым и несговорчивым дядей как равный, а при удобном случае мог и заменить его.

Чтобы Никифор Хабаров не помешал ему в корыстном деле, он подговорил Соковнина подать долговой иск на Ерофея и взять от него поручные записи, а его брата Никифора арестовать, привезти в Якутск и посадить в тюрьму как заложника, пока не будет уплачен долг. Соковнин подал челобитную Зиновьеву, и судьба Никифора Хабарова была определена. Десятник Никита Проккопьев настиг его на Тугирском волоке, арестовал и доставил в Якутск.

Дмитрий Францбеков и не подозревал, что племянник Хабарова занимается черным делом, хотя и знал, что тот славолюбив и нечист на руку. Он считал, что Петриловский не будет помехой ни ему, ни Хабарову. То был серьезный просчет воеводы. Когда речь зашла об Илейке Жук, которого Францбеков советовал в проводники отряда, Иван Акинфов напомнил, что Жук не знатного рода, бражник.

— Жук хотя и бражник и не знатен, а всем доходчив,— возразил Францбеков.— Он умом сметлив. Ему путь в Даурию введом. Равного ему знатца нет.

Зиновьеву Жук понравился. Его рассказ об Амуре, о богдойцах, о боях с князьками изобиловал подробностями, которые давали представление о новой стране. Свою преданность он доказал делом: доставил казну и подарки в Якутск. Чтобы не попасть на глаза недобрым

людям, шли таежной целиной, чаще всего ночами. Да, такого проводника найти трудно. Однако, говорят, Жук не знатен и своеволен. За ним надо глядеть, не давать воли. Надо дать наказ Ермолину и Петриловскому, чтобы бдительно следили за проводником. Зиновьев был доволен, получилось, как хотел.

Когда все было согласовано, вспомнили, что пути к богдыхану никому не ведомы. Иван Акинфов подсказал, что в Якутске живет тунгуска Даманзя, ясырка Хабаровова, подаренная брату Никифору, который корысти ради продал ее купцу Сиворылову, получив деньги, а Даманзю перепродал толмачу Богдашке Габышеву.

Даманзю разыскали и доставили в съезжую избу. Дрожая от страха, Даманзя говорила о том, что ее муж убит маньчжурами, о своей жизни у Хабарова, у его брата Никифора, у толмача Богдашки Габышева. Она сетовала на то, что ее хозяева очень часто меняются. Толмачом Богдашкой она была довольна и просила, чтобы ее оставили у него.

Даманзя говорила неясно и увертливо, думая, что ее будут продавать новому хозяину. Слушая ее, Зиновьев махнул рукой и велел толмачу Устинке Панфилову прекратить допрос.

— Даманзя — размазня... И где Ярофейко уловил такую?

— Женка не умом, а ликом красна,— съязвил Акинфов, пряча в широкую бороду глумливую улыбку. Он намекал, что Хабаровов живет со многими женками, нарушает христианский обряд. Осип Степанов, желая угодить Зиновьеву, добавил:

— Без ума красота не сладка, для того и подарил женку своему братцу.

— А Никифорка, не будь плох, у купца деньги за нее получил, а потом дружку своему перепродал.

— Тот купец вчера приходил,— добавил Слепнев.— Сказывал, будто Никифорка обманом живет. Деньги у торговых людей взаймы берет, а долгов не платит.

Зиновьев поручил дьяку учинить розыск и расспрос, а тунгуску оставить у Богдашки Габышева.

Слушая, Францбеков морщился, как от зубной боли. «Отомстил все же, старый боров,— подумал он об Акинфове.— Мало я его в тюрьме морил и за бороду драл. А Даманзя женка пригожая, по всем статьям вышла».

Пока шел колкий спор, Даманзя доверчиво и выжидательно смотрела на них. Бородатые люди управляли ее судьбой. Ей, как и всякой женщине, повидавшей на своем веку немало горя, хотелось семьи и покоя. Она была действительно красива и привлекательна: смуглое, чуть румяное лицо, черные брови над раскосыми глазами, белые зубы, сочные, под стать лицу, губы, небольшой, немного приплюснутый нос. Ощущая липкие взгляды мужчин, она, того не сознавая, подчиняясь своему женскому инстинкту, всем видом своим, казалось, бросала им гордый вызов. Ее увели, и в избе словно бы стало пусто и сиротливо.

## 17

Зиновьев вызывал нужных ему людей в часы, когда не было соглядатаев, беседовал с глазу на глаз. По его зову Терентий Ермолин явился в съезжую избу поздней ночью. Смелый, говорливый, хватистый, он знал грамоту, что в то время было не малой редкостью. Врожденная смекалка и ум позволяли сотнику не теряться в любой обстановке. Осмотрительность и выдержка сочетались у него с отвагой и любовью к отчизне. В пути от Москвы до Якутска Зиновьев не раз убеждался в готовности Ермолина честно исполнить свой долг. Собранность ощущалась во всем его облике: русая борода подстрижена, расчесана, кафтан застегнут и подпоясан цветным матерчатым кушаком, за ним — заморский пистоль, украшенный золотом и перламутром. Раскосые глаза смело и озорно поблескивали. Он не бражничал и не курил. Ермолин не подведет.

Дмитрий Зиновьев, исполненный важности, остро вглядывался в русского богатыря, еле вмещавшегося в избе. Он долго сверлил Ермолина взглядом и любовался его пригожим обликом. Такой может представлять великую Русь в стране богдыханов.

Сановник повелел Ермолину подойти ближе, торжественно начал:

— По государеву цареву и великого князя Алексея Михайловича всея Руси указу, велено тебе идти в Богдойскую землю с государевыми титлами и посольскими грамотами. Только те титлы и грамоты будешь хранить при себе в строгой тайности, а пойдешь к богдойцам от

имени приказного человека Ерофея Хабарова, до встречи с ним на Амуре поведешь служилых людей ему в подмогу, а тебе помогать будет в пути Артюшка Петриловский, проводником назначается Илейка Жук.

Поручение царского сановника и обрадовало и озадачило Ермолина. Он слышал о загадочной стране богдойцев и никанцев, но никогда не думал, что ему придется быть послом, да не от государя, а от Хабарова. Посольство частное, и правительство не брало за него никакой ответственности. Ермолин должен взять ее на себя. В наказной памяти, которую ему дал Зиновьев, ставилась задача плыть из Якутска вверх по Лене до устья Олекмы и по ней до устья Тугиря, затем вверх по Тугирю, через волок речками вниз до Шилки-реки, и Шилкою-рекою до Албазина, а затем до Чипина острожку, где стоит Ерофей Хабаров со служилыми людьми, идти наспех днем и ночью.

Велено было составить подробное описание пути: «Идучи, сколько которою рекою и через волок пойдут дней, урочище от урочища и место и от места, чтоб подлинно про все было ведомо; и как пойдут от Тугирского волоку речками до Шилки-реки и Шилкою-рекою до Амурской реки, и ему Тренке где сойдется с Даурскими людьми, и тех Даурских людей спрашивать, как мочно всякими мерами, в Даурских землях много ли городов, и какие города, и на каких местах и реках которой город стоит? И кто у них над Даурскими землями владеет, царь или князь какой, и под одною ль областью все Даурские земли и города или под разными владетели? И какие узорочные товары у них в Даурских землях есть ли? И золото и серебро у них родится, и тут ли родится, или из иных земель каких ходит? И сколько у них в Даурских землях ратных людей и огненной бой у них есть ли? И те все иноземские речи велети записывать на роспись подлинно».

Ермолину вменялось разузнать и проверить все сказки о богдойских и никанских землях, дойти до Богдоя и выяснить его намерения: хочет ли он торговать с Русью, каков у него бой и войско, какие товары.

— Все ли до ума дошло? — спросил Зиновьев, когда Ермолин прочитал наказную память. Волнуясь, сотник ответил, что выполнит повеление государя и не дрогнет перед опасностью.

— Готов порадеть ради моей отчизны и государя. Головы не пожалею.

— Вот и уважил! Вот и ладно! Поутру и отваливайте. Да чтоб без огласки. Идти тихо и остерегательно. В драки с даурами и богдойцами без нужды не вступать.

Когда Ермолин вышел из съезжей избы, начинало светать.

Хороши майские рассветы. На востоке всю ночь багрово полыхает небо, постепенно оно окрашивается в розовый, а затем в палевый цвета. Над землей поднимается солнце, как весенний цветок, лучезарно и чудесно. Тот, кто видел якутские весенние рассветы, никогда их не забудет. Вглядываясь в знакомые очертания башен, наблюдая чарующую красоту северного города, Ермолин сердцем ощущал кровную связь с ним, полюбил далекий город на берегу Лены. Город был ему дорог и близок. Здесь чувствовалась масштабность и великость Руси.

И в самом деле, острог напоминал собой сказочный город: легкие четырехскатные крыши из теса над дозорными вышками. Башни из толстых лиственниц, срубленные в лапу, лежащие на моховых подушках в искусно сделанных желобках. Это замок. Такое строение невозможно разрушить. Ему страшен только огонь. В башнях — полати, лесенки к ним и небольшие прорези — оконца для пушек и пищалей. Между башнями — ходы сообщений, вделанные в стены. Защитники острога могли скапливаться там, где создавалось опасное положение.

Глядя на острог-диво, четко отпечатавшийся на фоне нежно-голубого неба, Ермолин ощущал в себе прилив сил и связанность со строителями, с делом, которое ему поручалось. Он принадлежал к смелым и отважным людям, которых называли передовщиками. Ему предстояло открыть ворота в загадочную страну. На душе радостно и тревожно. Впереди долгий и опасный путь. Но ему ли печалиться? Он бывал во многих боях и походах, на севере под Псковом и на западе под Смоленском, в горах и степях. Всюду живут люди, а где есть люди, есть и жизнь. С людьми всегда можно договориться, придя к ним с добрыми намерениями, без злого умысла. Перед лицом больших и важных задач мелким и незначительным делом казались ему наветы и ябеды, которыми занимался дворянин Зиновьев.

Ермолину вменялось в обязанность, кроме командования отрядом до встречи с Хабаровым, содействовать десятнику Прокопьеву в аресте Никифора Хабарова, проверить ясачные книги у его брата, отправить с посылными мягкую рухлядь, какая обнаружится, проверить отписки Хабарова и сведения, сообщенные даурцами о богдойцах, доставить приказному человеку Амурской земли государеву казну — порох, свинец и снаряжение.

Хлопот было много, а времени в обрез.

Зайдя к Артюшке Петриловскому, Ермолин поручил ему готовить отряд в поход, а сам занялся посольскими делами: надо было познакомиться со всеми расспросными речами и отписками, где сообщались какие-либо сведения о Китае и путях в эту страну, и подобрать надежных людей в состав посольства.

Через два дня Петриловский доложил, что отряд к походу готов. Он состоял из жалованных служилых людей и добровольцев, пожелавших нести ратную службу своею охотою. Их называли охочими или новоприборными. Некоторые промышленники включились в отряд со своими покрученниками и своим снаряжением.

В скрытом месте, на острове, счаленные борт к борту, ждали отплытия струги и дощаники.

Вестовщик нашел Илейку Жука с товарищами на постоялом дворе. Едва добудившись, он сообщил Жуку о назначении его проводником большого отряда и что ему надобно без промедления явиться на остров, где его ждут вожаки отряда сотник Терентий Ермолин и Артемий Петриловский. Весть будто обожгла Илейку Жука. Проводник в отряде — первый человек. Илейка понимал важность своей роли. Ему доверялась судьба государевой казны и судьба людей. Атаманы всегда сажали проводников на почетном месте и заискивали перед ними.

— Сперва отвальную справим, а потом поплывем, — сказал он вестовщику, стараясь не выдать своего волнения. Его обрадовало не звание, а весть о скором походе. Ему не нравилась осторожная жизнь, где всюду подстерегали воеводские доглядчики. Вольнолюбец опасался, что его могут надолго задержать в Якутске, а в Даурии его ждала Юргала. Ревнивое чувство часто посещало его. «Что там? Как живет моя любушка?» — думал он. Жук

опасался, что Хабаров с его необузданным нравом может обидеть его подружку.

Ополоснув лицо холодной водой, взятой из бочки со льдом, вытерев лицо и шею подолом холщовой рубахи, Жук разбудил своих товарищей. Прображничав допоздна, они никак не могли поднять похмельные головы.

— Чарочку винца, Христа ради! — взмолился Онанья Урусланов и снова уронил голову на свою котомку, служившую ему вместо подушки. Илейка Жук знал, что без отвальной его согласники не поднимутся. Подав каждому по доброй кружке бражки и вестовщику, принесшему добрую весть, он сказал:

— А ну, други, обококайтесь! Я поведу вас в Дауры, в места заповедные. Волокитесь на струги.

— Ого, нашла коса на камень, попал топор на сучок! — воскликнул Урусланов и бросился обнимать Илейку. Казаки повскакивали с нар, окружили Жука, пили бражку и поздравляли своего вожака с высоким званием.

Опхмелившись, казаки надели свои котомки, взяли оружие и потащились на остров.

В скрытом месте, у острова, поросшего лозняком, покочивались на воде струги и дощаники. В них, покрытое корьем и шкурами, лежало снаряжение и оружие: две пушки, тридцать пудов пороху и столько же пудов свинца, пищали и пожитки стрельцов.

Терентий Ермолин выделил Илейке Жуку два легких струга и приказал быть во всем передовщиком.

Когда начало светать, струги и дощаники расчалили, служилые впряглись в лямки и потянули суда против течения.

Плыли служилые и новоприборные, на тихих плесах пели песни, а на перекатах, где бурлила и пенилась вода, на переборах, горевали и маялись. К зиме едва доволоклись до Тугиря. В двух избах отдыхали по очереди. Одни спали в избах, другие грелись возле костров. Служилые из ватажки Никифора Хабарова, оставшись без своего вожака, которого арестовал десятник Прокопьев, присоединились к отряду Ермолина. По их словам, богдойский царь собрал большое войско с огненным боем и пушками возле Шунгала-реки и готов начать большую драку. Слухи обрастали подробностями и преувеличе-

ниями, но в них таилась правда. О том, что Хабарову трудно, Ермолин знал еще в Якутске.

Он созвал круг и стал советоваться, как быть: всеми отрядом идти по снежной целине или только налегке, облегчив себя от тяжелого груза? Не было таких, кто не хотел бы оказать помощь Хабарову, но не все знали путь, по которому им предстояло пройти. Весомое слово должен был сказать Илейка Жук. Все смотрели на него как на избавителя от многих сомнений и затруднений. А он стоял, освещаемый пламенем костра, натужно думая о том, какое принять решение. Сердце его рвалось на Амур: там Томило Довбач, там Юргала, там товарищи. Они могли бесславно погибнуть в неравном бою, тогда как помощь, хотя и небольшая, могла бы их воодушевить на битву с богдойцами.

— Вскочив в седло, надо поднять плеть, а не сползать на землю,— начал Илейка Жук.— Умелым и смелым везде приют и дорога.

Он предложил идти налегке, а государеву казну оставить на волоке, пока растопятся реки. Выйдя на Урку, пройти по льду до ее устья, в зимнее время построить суда, а весной, когда лед тронется, плыть к Хабарову.

Робкие заупрямились: опасались, что не хватит харчевых запасов, что государеву казну могут похитить недобрые люди, что, пока солнце взойдет, роса очи выест. Они были по-своему правы. Идти без пушек и боевого снаряжения рискованно. Как быть? Поднялся галдеж, как на торжище. И тут встал сидевший возле костра десятник Иван Нагиба. Он был строен и широкоплеч, взмахнул дланью:

— Тише! Дайте говорить Жуку! Духом пасть — силе пропасть. Говори, удалой!

— Я все сказал... Сон — что богатство: чем больше спишь, тем больше хочется.

— Ох, и златоуст Жук... Ишь чего наплел.

— Не каркай! Чего зря лаять.

Соображение Илейки Жука было веским.

— Пусть так и будет! — заключил Ермолин.

Государеву казну, пушки и снаряжение упаромили в крепком месте под волоком, для охраны припасов оставили двадцать человек самых верных и выносливых стрельцов, им было велено жить до весны, а как вскры-



ются реки, доставить казну за волок и соединиться в Бакбулаевском городке.

Нагрузились служилые котомками, что потяжелее — уложили в нарты, впряглись в них, попрощались с теми, кто остался на волоке, и побрели по таежной целине.

Вел отряд Илейка Жук.

Пройдя через перевал, служилые увидели небольшую речку — верховье Урки. Быстрое течение не давало образоваться льду, лишь в заводях белели забереги.

Ермолин приказал делать небольшие плоты и на них спускаться к Амуру. Усталые люди рубили сухие ели и сосны, связывали небольшие бревна ивовыми кольцами, распаренными на огне, вырубали устойчивый шест и плот сталкивали на воду. Такие плоты можно было перетаскивать через мели и завалы.

Стрельцы работали, не жалея сил. Впереди ждала радость — сидеть, покуривая табак, изредка выправлять плот гребью или шестом и в то же время сознавать, что продвигаешься вперед, что с каждым часом уменьшается долгий путь.

— Ай, молодцы! — восклицал Петриловский, подбадривая служилых. — Гляди, какой плотишко приготовили из сухих лесин. Молодцы!

— У нас харчишек всего на неделю, — досадовали стрельцы.

— То не беда: река быстра, понесет хорошо. А ну, берем. Раз-два!

Маленькие плоты закачались на воде, повернулись и, направляемые шестами, ринулись по течению. Здесь Урка не была глубокой, под плотами быстро мелькали на дне длинные гладкие гальки. Стрельцы впервые почувствовали за много тяжелых дней радостное облегчение. Котомки не давили больше натруженные плечи, истертые износившимися ичигами ноги наслаждались отдыхом, а река несла плоты скоро. Можно было позволить себе подумать, вспомнить. Плеск воды, переливы ее журчанья на узких галечных косах, быстрое движение маленьких волн — все казалось полным веселой жизни после гнетущего молчания, однообразия и неподвижного воздуха огромных марей — болот.

Речка текла извилисто, описывая крутые кривуны. Мимо проплывали низкие берега. Небольшая пойма осталась позади, лес подошел прямо к речке и зажал ее

русло в темные высокие стены. Плоты шли словно по коридору, меж густых елей. Многие деревья, подмытые рекой, склонялись к воде. На безлистных кустах чернели переспелые ягоды черной смородины. Рябчики и глухари лакомились сочными ягодами. Когда плоты плыли близко от берега, птицы шумно взлетали.

А долина все сужалась, отроги пятнистых, черно-желтых от осенних лиственниц гор спускались к реке, течение которой все убыстрялось. Тусклая, свинцовая поверхность воды словно дышала, плавно вздымаясь и опускаясь. Галечные косы возвышались, как валы. Быстро неслись назад отмели, деревья, черные промоины. Вот скалы надвинулись совсем близко, зашумели волны, вся река покрылась струйчатыми бороздами и островерхими пенными гребешками. Вода заливала несшиеся по шивере плоты. Несколько тревожных минут, слова команды, взмах шестов и скрежет бревен по дну — и плоты снова вышли на просторную воду, затем опять ныряли в узкие места. Подмытые рекой деревья склонялись к воде и скрещивались над водой, терявшей свой блеск, выглядевшей сумрачно и холодно. Огромная, недавно поваленная лиственница лежала поперек реки, почти касаясь своей вершиной широкой отмели левого берега. Плоты причалили к берегу, служилые, прыгнув в воду, протащили их по гальке. Дальше попало еще несколько таких деревьев, возле которых образовались наносы.

Быстрое движение бодрило истомившихся людей, охваченных тревогой за судьбу своих товарищей. Наконец в полной мере их охватило веселье одержанной победы, когда река раздвинулась и показался Амур.

Начинался ледостав. Кое-как добрались стрельцы до городка Бакбулая. Острожек был разорен и пуст. Плыть на плотиках по Амуру опасно. Решили зазимовать, построить суда, а весной, когда Амур вскрыется, плыть на понизовье, дождавшись людей с казной и снаряжением, оставленных на волоке под начальством десятника Ивана Артемьевича Портняги. Они должны были зимой на лыжах выйти с груженными нартами к устью Урки и присоединиться к отряду.

Построив избы, служилые расположились на зимовку. Плотники стали делать боевые суда, чтобы на

них можно было плыть по Амуру. Однажды служилые, заготавливавшие лес для судов, наткнулись на небольшое зимовье, в нем захватили даура: он небольшого роста, в меховой одежде, с лицом, изрытым оспой.

— Кто таков? — спросил Нагиба.

— Бокан... Бокан... Чурончи... Меня зовут Шанауль...

Толмач перевел слова даура. Однако и он не знал, что означает слово бокан. Кое-как дознались, что бокан — слуга, раб князька Чурончи.

— Ого, важная птица Шанауль! — заметил кто-то из проводчиков. Служилые дружно захохотали.

— Бросьте зубы скалить, — оборвал шутников Нагиба. — Если он раб, то знает больше, чем князец. Расспросить надобно.

Шанауля привели в городок к Ермолину. Даур сказал, что его повелитель живет в тайге со своими женами и детьми, что он к тайге непривычен, хочет жить в степных местах.

— Да, тайга-матушка слабых не любит. Если твой князек согласится платить ясак белому царю, то пусть приходит. От нас ему обиды не будет.

Шанауля накормили и отправили к Чуронче, чтобы тот принес ясак и привел своих людей в городок Бакбулая. Некоторые служилые сомневались. Артемий Петриловский советовал послать вместе с Шанаулем в тайгу смелых проводчиков. Терентий Ермолин был против, он считал, что доверие — самое главное оружие.

— Сила наша малая... Нам надо с даурами и дючерами в дружбе жить, а не воеваться.

Ермолин был прав. Через несколько дней Шанауль вернулся вместе со своим хозяином. Чуронча принес тридцать два соболя и присягнул на ноже, что будет платить ясак исправно за сто человек. Он обязался, когда замерзнет Амур, привести всех своих людей, но просил защиты от маньчжуров, которые запретили даурам платить ясак русским.

— Мы довольны от маньчжуров натерпелись... Ваши люди зря нас обижают.

— В том вы сами повинны. Зачем воевались? Почему ушли из своих городков?

Князек ответил, что, когда пришли русские на Амур, конные маньчжуры не раз появлялись возле даурских го-

родков и следили за битвой русских с приамурцами: Они запугивали дауров и тунгусов, называли русских грабителями и разбойниками. Тогда-то и появилось слово «лоча» — черт. Этим словом маньчжуры называли казаков.

Когда маньчжуры убедились, что русские побеждают, что многие дауры и дючеры стали возвращаться в свои поселения и дружить с казаками, они заявили о своем праве на приамурские земли и стали задирааться. Дело приняло серьезный оборот. События развивались не так, как того хотели в Москве и Якутске. Надо было спешить.

— Живи, князек,— сказал Ермолин.— Только худа не мысли. От нас будет тебе защита и помощь.

Князек кланялся, прикладывал руки к груди. Через несколько дней его люди доставили много мяса, рыбы и хлеба. Это было доказательство верности слову.

Когда Ермолин спросил Чурончу о Хабарове, тот ответил, что не встречался с ним, что был в тайге, но слышал, что Хабаровшка поплыл в дючеры.

— Дючеры наши соседи,— сказал Чуронча.— Но живут они далеко от нас. У них своя дума.

Между Ермолиным и Петриловским возникли серьезные расхождения. Хитрый Зиновьев наделил их одинаковыми званиями и равными правами. Племянник Хабарова полагал, что доверять амурским князькам нельзя, что все они в сговоре с маньчжурами, что даурских князьков надо держать при себе, в аманатах. Споры затянулись, мнения разделились. Охочие люди, те, что жили на свой счет, поддерживали Петриловского. Им нужна была добыча, чтобы оправдаться затраты, которые они понесли. Многие стрельцы, которым нравилось вольное житье, стояли за Ермолина. Илейка Жук, занимавший почетное место проводника, был на стороне Ермолина.

«Пережитое быстро сотрется, забудется, покажется тяжелым сном,— думал он.— Пройдет немного времени — и тысячи людей придут туда, где томились они в плену лесов и болот. Могущество труда рассечет тайгу дорогами, раскорчует леса, высушит болота. На берегах Амура заиграет жизнь и разные люди станут братьями».

Так ему думалось. Это согревало и ободряло. Так

думал Иван Нагиба и его друг Иван Уваров. Что заставляло их, а таких было немало, идти на невиданные, никому не известные подвиги? Разве кто-нибудь узнает об их стойком героизме? Да и героизм ли это? Ведь они шли, влекомые своей давней мечтой о воле, о земле, где нет зла и неправды. Это не героизм, а такая же необходимость, как пища и вода. Без мечты нет человека, он превращается в зверя, в раба своей жадности.

Длинные зимние ночи располагали к размышлениям. Иногда споры разгорались, и драчуны засучивали рукава, чтобы померяться со своими недругами силой. Купчишка, имевший своих покрученников, потрясая мощной, говорил:

— Пустеет, братцы, киса. Деньга не бог, а тоже милует.

— Купец — тот же стрелец: чужой оплошки должен ждать. На этом все зиждется.

— Эх ты! Борода! Ударить бы, да жаль кулака!

Купчишка подскочил к Нагибе, заглядывая на него снизу по причине малого роста.

— У меня вот! — горделиво подняв кису, запрыгал купчишка. — А у тебя какое приданое?

Иван Нагиба помедлил малость. Задира показался ему смешным. Он сказал:

— Вот какое приданое! У тебя, дурило мученик, такого никогда не бывало.

Стрельцы затихли. Купчишка, задрав бороду, вызывающе глядел на десятника:

— Ну! Ну! Говори! Говори!

— У меня липовы два котла, да и те сгорели дотла, сережки-двойчатки из ушей лесной матки, два полотенца из березова поленца, да одеяло стегано алого цвету, а ляжешь спать, так и его нету, сундук с бельем, да невеста с бельмом.

— Таких мне не надо. Проваливай, смелый человек!

— А смелым счастье помогает...

— Ох, и ядовитый ты, Ивашка, — сказал купец и спрыгал кису за пазуху.

— Кто людей веселит, за того свет стоит.

Однажды дозорные стрельцы заметили на холме конных людей. Верховые часто появлялись возле острога, но близко не приближались.

— Что за люди? — спросил Ермолин Чурончу.

— Какие люди? Те, что на конях?

— Те, что на конях.

Чуронча мялся, переспрашивал, в его узких глазах блуждал страх. Видно было, что даур чего-то боялся.

— Это не наши люди... Это маньчжуры. Я вам о них говорил.

— Что же они тут делают?

— Наблюдают! Это плохие люди.

Вскоре трое верховых подъехали к воротам, и самый нарядный из них заявил, что хочет побеседовать. Двое соскочили с коней и помогли старшему покинуть седло. Дозорные привели их в избу к Ермолину.

Это был маньчжурский сановник Кабышейка, посланный наместником богдыхана Иженеем для встречи русских отрядов. Маньчжур был в камчатном халате, наподобие поповской рясы, поверх которого была надета короткая кофта. Из-под собольей шапки, украшенной синими шариками, живописно ниспадала по спине туго скрученная коса и своим пушистым концом почти достигала земли. На пальцах заметно выделялись длинные ногти, не особенно чистые и опрятные. Сапоги из черного атласа на толстых подошвах. У пояса — вышитый драконами кисет и трубка с длинным чубуком, футляр с ножиком и двумя костяными точеными палочками для еды.

Раскосые глаза-щелочки сверлили Ермолина, блуждали по избе, задерживаясь на стрельцах. Зрачки освещались искорками, которые то появлялись, то гасли. На смуглом, широком и кругловатом лице небольшой, почти правильный нос и уши несоразмерной величины, — считалось, что чем больше уши, тем пригожее человек. Не было ни одной черты, которая бы гармонировала с другой. Все в этом облике воспринималось отдельно.

Улыбаясь и кланяясь, Кабышейка учтиво заговорил. Вызвали Чурончу и заставили переводить. Князек долго отнекивался, а войдя, и совсем заробел. Маньчжурский язык он знал плохо и боялся важного гостя.

— Я послан державцем Нюлгуцкого города Иженеем для встречи русских отрядов. Зовут меня Кабышейка, я мандарин третьей степени.

— Поздно встречаете... С чего бы такая честь?

— Встречать большое войско никогда не поздно, —

ответил Кабышейка, и его круглое лицо засветилось улыбкой, а искорки заметались в раскосых глазах.

«Лукавит Кабышейка,— подумал Ермолин, но ничем не показал своего подозрения.— Пусть думает, что нас много».

Кабышейка кланялся, прикладывал руку к груди и уверял, что богдыхан не хочет воеваться с русскими. А чтобы русские не сомневались в дружбе, богдыхан повелел Иженею устроить угощение, как это заведено у богдойцев. Но Иженей не знает, сколько русских идет и какие нужны запасы.

— Вы добром и мы добром,— ответил Ермолин.— Нашим и вашим людям надо свидеться, но об этом речь впереди. Мы спешим к Хабарову.

— О, Хабаров! Хабаров! — воскликнул Кабышейка.— То великий человек и отважный. Чего таить, скажу всю свою правду. Осенью в Нюлгуцкой город к посаженнику богдыхана с усть Шингалу приехали дючерские и даурские князья, расплакались и говорят, что Хабаров всю нашу землю вывоевал и вырубил, и жен и детей в полон взял, что они-де своими людьми собирались обороняться, но сил было мало, и Хабаров всех побил. Даурские и дючерские князья просили их защитить от пришельцев, а если помощи не будет, то они станут им ясак давать. Иженей пожалел тех князей, и один из них именем Албаза пошел в Пекин к богдыхану советоваться. И Сын Неба обласкал его и обещал помочь слабым народам Амура. Но прежде Сын Неба пожелал добром обрадовать русских. Богдыхан приглашает всех хабаровцев служить ему.

— У нас есть свой царь и своя земля,— настойчиво сказал Ермолин.— Русские никому не продавались и продаваться не будут.

Кабышейка сообразил, что поторопился и сказал не то, что надо. Он улыбался и кланялся, заверяя, что богдыхан не покушается на русских, а в его приглашении нет никакого злого умысла.

Слуги Кабышейки во всем подражали своему господину. Они улыбались и кланялись.

Из беседы с Кабышейкой Ермолин понял, что Приамурье богдойцам не принадлежит, что они хотят наложить на Амур свою руку. Ермолин сказал, что малые народы хотят быть под началом русского царя, что зря

они послушались недобрых людей и покинули свои поселения и острожки, а что хуже того — стали задираться. Если бы не было тех недобрых людей, не было бы и худа.

Говоря об этом, Ермолин давал понять Кабышейке, что все то плохое, что случилось на Амуре, произошло по вине маньчжуров, запугавших дауров и дючеров, посеявших смуту на берегах великой реки.

Кабышейка, кажется, понял намек, и его веки почти сомкнулись, спрятав злые искорки, полыхавшие в его черных зрачках. Он сделал вид, что доволен беседой, и еще раз пригласил на пир в честь русских. Ермолин поблагодарил и отказался, заявив, что пировать еще рано, что об этом будет речь впереди, когда все русские отряды сойдутся вместе.

— Давайте дружить и торговать, — заключил он беседу. — Мы будем рады свидеться. Мы пошлем послов к богдыхану. А если вздумаете воевать, то пеняйте на себя. Мы за себя постоять сумеем.

— Дружить и торговать! Дружить и торговать! — восклицал Кабышейка и кланялся. Его слуги повторяли движения, которыми он сопровождал свои слова.

Терентий Ермолин воздал сановнику честь: угостил медвежатиной, доброй кружкой вина и подарил отличного соболя. Тот отблагодарил пачкой байхового чая и фигуркой какого-то божка из нефрита.

Кабышейку проводили с почестями, желая показать, что готовы вести с богдыханом переговоры.

О, если бы знал Терентий Ермолин, какую змею он повстречал! Он не оказал бы такого гостеприимства человеку с камнем за пазухой.

Ночью прибежал в острожек человек и попросил, чтобы его представили самому высокому русскому чину. Дозорные привели его в избу Ермолина. Человек крутил головой, размахивал руками, требовал внимания. Коса, свернутая вокруг макушки, лоснилась, как лакированная, голова перед лбом была до половины выбрита. Лицо несло на себе следы душевного волнения и скорби. Ветхая одежда, состоящая из штанов и черной куртки, плохо согревала тощего человека.

Чуронча не мог перевести ни одного слова. Он позвал даурку, которая, будучи в плену у маньчжуров, бывала вместе с ними в Китае. Выслушав бедняка, она



сказала, что этот причудник назвал себя никанцем<sup>1</sup>, что был взят маньчжурами в плен под Пекином, отдан в рабство Кабышейке.

Никанец сказал, что слышал беседу Кабышейки с Иженеем, что маньчжуры хотят заманить русских к себе на пир, узнать намерения пришельцев, идут ли за ними другие, и нападать на мелкие отряды, не дав им соединиться друг с другом. Иженей говорил Кабышейке: «Как-де поплывут русские сверху или снизу, мы-де их приманим к берегу, да тут-де их и побьем. А если русские соберутся и станут зимовать, какой город поставят, мы пошлем войска — давом казаков задавим».

Никанец клялся и божился, что богдыхан Шунь Чжи послал в устье Сунгари большое войско и повелел русских на берега Амура не пускать.

Никанец мстил маньчжурам за свою поруганную родину. Он сообщил, что между богдойцами и никанцами идет великая свара, что богдойцы овладели многими никанскими землями и городами, захватили столицу Пекин, но покорить никанцев не смогли, потому что никанская земля несказанно велика, покорить ее никто не сможет.

— Если никанская земля велика, почему же ты в плену оказался? Почему не боролся за свою землю?

— Потому, что наш военачальник продался богдойцам и завел нас в ловушку. Все воины попали в плен.

Никанец сказал, что никанцев от богдойцев отделяет порубежная река Бучун, впадающая в Теплое море, что теперь в Никанской земле стоит шатость и войны большие. Богдойцы хотят овладеть всей Никанской землей.

«Так вот она, земля Никанская, и Теплое море», — думал Ермолин. Не об этой ли земле ходили самые заманчивые слухи, а голландцы, англичане и немцы стремились туда проникнуть... И хан Кучум намеревался подружиться с ними и открыть дорогу в Китай через Сибирь. Ермак разгадал намерения сибирского хана и навсегда лишил его заводить интриги и козни против

---

<sup>1</sup> В старину так назывались китайцы. Монголы, осевшие в Китае после его завоевания, назывались богдойцами. Маньчжуры — третья этническая группа. До маньчжурского господства у Китая было несколько названий: «Цветущая империя», «Земля цветов», «Срединная империя», «Поднебесная империя» и др. Халбаровцы называли маньчжуров и китайцев богдойцами.

Руси. Удастся ли ему, Ермолину, открыть дорогу в страну богдыханов?

Ермолин настойчиво допытывался о стране, в которой ему надлежало побывать. Судьба распорядилась благожелательно и послала ему никанца, который, мстя захватчикам, готов был оказать русским любые услуги. Он сообщил, что в Никанской земле рождается золото и серебро, жемчуг в раковинах, дорогие камни. Никанцы ткут разные шелка, из которых делают камки и атласы, хлопчатую бумагу для дабы и кумачей.

— Почему же богдойцы задрались с никанцами?

На этот вопрос никанец не сумел ответить. Но из его рассказа было понятно, что он желает добра своей родине и хотел бы надеяться, что русские помогут никанцам обрести свободу. Но как и чем помочь? Что могла сделать горсть храбрецов, без всякой надежды на помощь, против большого, хорошо вооруженного и опытного войска, у которого были свои пушки и ружья? Какой смелостью и безумством надо обладать, чтобы воевать, не зная врага, его мощи, его замыслов? Маньчжуры могли в любое время вторгнуться в Даурию. Надо быстрее начать переговоры.

— Если дело пойдет в задор, добра не будет,— сказал Ермолин.— Надо жить миром, надо торговать. И чем скорее мы пойдем в страну богдоев, тем лучше.

Артемий Петриловский возразил. По его мнению, посылать послов не было никакого смысла.

— Богдойцы теперь в силе, они хотят захватить Приамурские земли.

Каждый упущенный день мог обернуться непоправимой бедой.

— Правда твоя, Ортюшка,— сказал Ермолин.— Здесь нам житья не будет. Надо поскорее повстречаться с Хабаровым.

Но идти без пушек и снаряжения было рискованно. Как быть?

— Для того ли мы шли сюда, чтобы на печи пупы греть? — вскинулся Илейка.— Может, Ярko кровью истекает в драках с богдойцами, а мы тут крутимся.

Ермолин настоял на своем. Порешили, как только Амур растопится, отправить для розыска Хабарова проведчиков, а главные силы поплывут после того, как установится с ним связь. Такой план был всеми одобрен.

Илейка Жук хотел возглавить отряд разведчиков, но его, как проводника, Ермолин не отпустил.

— У тебя дел впереди много, да и горяч дюже. Думается мне, Ивашка Нагиба в проводчики гош.

«То-то добрых кровей человек», — подумал Жук, любуясь богатырем.

Был Иван Антонович Нагиба рукаст и жиловат. Густая рыжая борода едва обнажала изрытое оспой лицо, а голубые, как небо, глаза излучали столько доброты и тепла, что казалось, он мог согреть каждого. В нем жила потребность поиска, движения, борьбы. Любознательность толкала его все вперед и вперед, он не боялся риска, ему казалось, что где-то там впереди, за горами, за долами, лежит райская сгрна, которую он должен открыть и подарить людям. Он был неграмотен, но ратное дело знал и умел постоять за правду.

Ермолин доверил Нагибе набрать добровольцев по своему выбору.

Вызвалось двадцать шесть человек. Своим заместителем Нагиба назначил Ивана Уварова. Этот казак был хотя и некрепок телом, но покладист и знал грамоту, хорошо пел. Он вырос в семье сельского попа, рано научился грамоте, бойко писал отписки и челобитные. Такой человек был нужен передовщикам. Ивашка Уваров любил Нагибу, был с ним дружен.

Условились, что передовщики поплывут по Амуру десять дней, будут зорко осматривать рукава и протоки, оставлять в дуплах деревьев и на приметных местах памятные грамотки о себе.

А чтобы Хабаров не раздумывал и не беспокоился, Ермолин дал отписку.

«Да послан я, Тренка, по государеву указу, с государевыми титлами и с посолскими грамотами, что велено мне идти в Богдойскую землю, а со мною в товарищах Онанья Урусланов да подьячей Богдан Габышев, да со мною ж, Тренкою и Ртюшкою, послано государевы казны 30 пуд зелья да 30 пуд свинцу, да служилых людей жалованных и новоприборных 144 человека, и та государева казна осталась за волоком, а у тое казны осталось служилых людей 8 человек, да старого прибору 13 человек, а казну велели волочи за волок с великим береженьем: а мы за волок перешли и суды делали, а гнались за вами восмеры сутки до заморозу, а нигде нам

до Банбулаева городка довольно хлеба не было, аплыли мы с великою нужею, а зазимовались мы в Банбулаеве городке...

...И мы, Тренка да Ортюшка,— писал он,— посоветовав с десятниками и рядовыми казаками, послали мы к вам для ради проведыванья служилых людей 27 человек, чтоб тебе про государеву казну и про нас вестимо было. И как те посыльщики сыщут, и вам бы тут стоять, ждать бы вам государевы казны и служивых людей, а казну ждем на первый срок на Николин день, другой срок с неделю спустя после Николина дни, а буде в те срока казна не будет, и мы к вам отсюда поплывем, а тебе б, Ярофей Павлович, тою казною и служилыми людьми промышлять, а та казна и служилые посланы к тебе в полк».

Однако судьба распорядилась по-своему. Письмо попало не Хабарову, а через три года в Якутскую съезжую избу новому воеводе Михаилу Лодыженскому.

## 18

Казаки Ивана Нагибы обшаривали острова и протоки, но найти Хабарова не сумели. Одни сложили свои головы в стычках с богдойцами, другие погибли от голода и простудных болезней. За Шингалом-рекою, в стране натков, проведчиков подстерегали многие беды. Натки, напуганные маньчжурами, встретили казаков враждебно. Одни из них не подпускали нагибовцев к берегу, другие на плоскодонных судах, в которых находилось по полсотне воинов, появлялись из засад, окружали казаков и метали стрелы. Опрокидывая с боем засады, казаки пробивались вперед. Ночевать приходилось на воде, подальше от берегов. А берега теперь были не близко. Амур катил свои воды по обширной долине, похожей на узорчатый ковер. Цветов было так много, что от них рябило в глазах. Трава на лугах, особенно на заливных, могла укрыть человека с конем. На больших островах было много черемухи и красной смородины.

Но что впереди? Где Хабаров и жив ли он? Надежда встретиться покинула проведчиков. Надо было подумать о себе. Иван Нагиба слышал, будучи в Якутске, что Ва-

силий Поярков, проплыв Амуром, вышел в Студеное море, по морю дошел до речки Ульи, по ней в Алдан, затем в Лену. Значит, еще не все потеряно. О возвращении назад не могло быть и речи. Враги бдительно следили за казаками. Низкие борта стругов плохо защищали от стрел.

Иван Уваров посоветовал приладить к стругам из толстых досок бортовые щиты. На одном из островов казаки причалили, облюбовали толстые лиственницы, срубили их и вытесали из них доски. Получилось ладно. Щиты оказались столь прочными, что стрелы отскакивали от них, как от железа. Гребцы и кормщики были надежно защищены от стрел.

Ночью, во время сильного дождя, струги рванулись и ходко побежали на понизовье. Опытные и смелые гребцы не жалели сил. Натки послали вдогонку тучи стрел, но они не причинили казакам вреда. Это озадачило преследователей. Их тяжелые лодки не могли угнаться за быстросходными стругами.

Можно было бы плыть, не приставая к берегу, где казаков поджидали враги, но голод вынуждал на отчаянные вылазки.

Заметив поселение натков, казаки спрятались на острове в лозняке и стали наблюдать. На деревянных вешалах вялилась крупная рыба. Женщины в штанах и рыбьих куртках, расшитых красными узорами, доставали из лодок трепещущих рыб, разделявали их и нанизывали на вешала. Собаки и медведи жадно поедали внутренности рыб. Животные ладили между собой, лишь изредка слышался медвежий рев или собачий лай. Женщины пели унылые песни. Мужчин было мало. Одни были на охоте и рыбной ловле, другие — несли сторожевую службу.

Казаки думали: как быть?

— Презрев страх, надо идти на приступ,— сказал Иван Нагиба.— А будем бояться — все умрем тут голодной смертью.

— Умереть все можем, то нам не страшно,— возразил раненный в щеку казак.— Страшно помирать без пользы.

— Эх, казаче, не дело говоришь,— попрекнул Иван Уваров.— Надо думать, как жить, а не отходную петь. Где люди, там жизнь.

— То не люди, а враги люты. Кажи, что надумал?

Иван Уваров сообразил, как из беды выйти. Щиты из коры лиственницы надежно прикрывали от стрел. Он показал, как надо их делать. Вскоре все обзавелись такими щитами. Темно-красные, они придавали воинам грозный вид.

На рассвете, прикрываясь щитами, казаки ринулись на берег. Береговые лучники, спрятанные в кустах, встретили наступающих потоком стрел. Битва велась целый день. Лучники не выдержали огненного боя и в страхе отступили и скрылись.

Ворвавшись в поселение натков, казаки завладели вяленой рыбой, медвежатиной и черемуховыми лепешками, создав харчевой запас на много дней пути.

В деревянных юртах без окон, освещаемых рыбьим жиром и украшенных орлиными крыльями и перьями, посредине располагался очаг, который никогда не потухал. Огонь поддерживался женщинами.

Несколько женщин и стариков казаки обнаружили в юртах, возле очагов. Все здесь было дивно и неприлично. Натки шили себе одежду из рыбьей кожи, раскрашивали ее красками собственного изготовления. Зимнюю одежду они шили из звериных шкур, мехом кверху. Для сшивания шкур употреблялись тонко нарезанные ремешки из кож крупных рыб.

В носу и ушах натки носили большие серебряные или медные кольца. Голов они не брили, кос не носили, а свои длинные, жесткие волосы завязывали в пучок и украшали их в дни праздников орлиными перьями. Женщины на подолах своих платьев и штанов нашивали серебряные монеты и маленькие бубенчики, издававшие при движении легкий звон. Волосы они заплетали в несколько тонких кос и украшали их зеркальцами и другими безделушками.

Забрав вяленую рыбу и кожи сохатых, сопровождаемые громким лаем собак и ревом медведей, казаки вернулись на струги. Едва они успели отчалить, появилась флотилия натков. Счалив суда, они образовали круг, из которого не было выхода — ни назад, ни вперед. Казаков ожидала верная гибель. Даже Ивашка Уваров, не находя выхода, приуныл. Но сколько же времени можно было стоять на якорях в окружении врагов?

Ночью, когда порывистый ветер взъерошил гладь

Амура, суда натков стали биться бортами друг о друга и расходиться. На реке стало шумно.

Этим воспользовались казаки. Они подняли якоря и устремились вперед. Струги пробежали почти рядом с вражескими, и дозорные их не заметили, полагая, что два казачьих струга в надежной клетке.

Выбравшись на простор, казаки огляделись. Началась осень. Берега Амура разукрасились в разные цвета. Островов стало больше, но без всякой растительности. Только чайки возились на песчаных косах и жалобно кричали. Много было отмелей и подводных камней.

Надежда покинула казаков. Иван Нагиба твердо решил пробиваться вперед. В этом был большой смысл: они расскажут о великой реке, о народах, проживающих на ее берегах, и этим принесут пользу родному краю. По их следам пойдут другие. Ведь пошли же они по пути Василия Пояркова. Путь нелегкий. Весь Якутск полнился слухами о неудачном походе Пояркова. Тогда еще не был известен короткий путь по Олекме и Урке. Поярковцы шли самым дальним и трудным путем: по Алдану и его притоку до устья Гонома и по этой порожистой речке до волока через Становой хребет, здесь у хребта выходили в верховья Зеи и по ней в Амур и далее в Охотское море, затем по Улье до ее верховьев, волоком до Май, по ней в Алдан и на Лену.

Так, перебираясь из реки в реку, переваливая горные кряжи, преодолевая обширные мари — болота, терпя голод и холод, поярковцы совершили великое открытие — впервые проплыли по Амуру и Охотскому морю, затем через тайгу и горы, по знакомым речкам вернулись в Якутск, который был для многих из них желанной родиной. В пути немало натерпелись. Немногие вернулись из этого похода.

В Якутске проживал закадычный дружок Нагибы, который ходил с Поярковым и рассказывал такое, что кровь застывала в жилах. Но он же и гордился походом. Теперь Иван Нагиба понимал, что осуждал и чем гордился его друг.

Думая о Пояркове, Иван Нагиба пришел к выводу, что и Хабаров допустил непоправимый промах. Ему бы строить острожки на берегах Амура, приглашать жителей пахать землю и разводить скот, а не думать о своих

прибытках, закабалить своих же соратников, которые жаловались на него в Якутск. И вот расплата за самонадеянность: заговор в Якутске торговцев и промышленников, беззащитность на берегах Амура, недовольство людей, плативших за его промахи своей кровью.

Нет, Иван Нагиба не пойдет таким путем. Но как же быть?

Нагиба собрал круг.

— Братья казаки, служилые и вольные! Мы порадели делу, как могли и умели, не наша в том вина, что Хабаров не отыскался. А обратный путь мы не осилим, все истощились, да и натские мужики не пропустят. Поплывем путем Васьки Пояркова. Порадеем отчизне нашей...

Поднялся шум и гвалт. Одни настаивали, чтобы возвращаться назад, другие — чтобы плыть вперед. Плыть по течению было легче, чем против течения идти бечевою. Однако участь казаков Пояркова многим была известна, и не все соглашались разделить их судьбу.

— Ты Ваську Пояркова не порочь! — вскинулся Иван Нагиба на охочего человека, вопившего о погубленных жизнях. — Васька Поярков свое сделал, он Руси дорогу на восток проторил, открыл великий Амур.

Многие сомневались.

— Наши струги негодны для морского ходу, — говорили они. — У нас нет судовых снастей, нет парусов.

Иван Уваров поддержал Нагибу:

— Перестаньте воду толочь. У нас есть паруса и судовые снасти для морского ходу. Вы думаете, я вру? Оглянитесь круг себя: у каждого есть кафтан, есть подстилка. Стоит их сшить — и получится парус.

Иван Нагиба благодарно посмотрел на Уварова. Ему и в голову не пришло бы сказать такое. Нехитрое дело паруса из шкур и пестрядины сшить... Ему нравился осмотрительный и находчивый попович. С таким нигде не пропадешь.

Иван Уваров мог найти дорогу к сердцу каждого. Против его совета нельзя было возразить: все согласились, что лучшего выхода не найти.

Пока нашивали борта и ладили паруса, натки тайно скопились возле стоянки и напали. Произошла злая рукопашная схватка. Победителями вышли казаки, но сра-



жаться с подкреплением не имело смысла. Казаки вскочили на струги и успели отплыть от берега. Ряды проводчиков заметно поредели.

Чтобы плыть вперед и быть незамеченными, надо было ловчить и хитрить.

Проплывая мимо большого острова, дозорные заметили длинную плоскодонную лодку возле берега, ведомую собачьей упряжкой. Управлял лодкой человек, сидевший на корме с рулевым веслом. Изредка он покрикивал на собак, которые бежали возле самой воды, высунув красные языки. Возле того места, где было улово, человек остановил собак, закинул сеть и поставил несколько переметов.

Пока человек ловил рыбу, собаки, повизгивая, лежали на гальке, возле воды.

Это был старый гиляк. Его безбородое, морщинистое лицо с узкими глазами было непроницаемо. Одежда состояла из рыбьих кож, искусно сшитых сухожильными нитками.

На дне его оморочки лежала крупная рыба: кета, два осетра и несколько сомов. Всю свою добычу старик подарил казакам.

— За рыбу спасибо,— сказал Нагиба.— Но нам нужно и доброе слово. Не случилось ли тебе, старик, видеть таких людей, как мы?

Старик заморгал веками без ресниц, его глаза почти закрылись. Рыбак не понимал. Иван Уваров изобразил на песке воина с ружьем. Сообразив, чего хотят бородастые люди, старик взял палочку и нарисовал Амур, на нем несколько лодок и воина на переднем струге в шашке и кольчуге, а впереди несколько стрел. Одна из них упиралась в берег, другие летели дальше.

— Видеть не видел, а слышал,— ответил гиляк.— Звать его Хабарошка. Он на низ поплыл.

Там, где стрела упиралась в берег, старик показал несколько строений. Возле них — собаки и медведи, нарты, рыба на вешалах. Старик согласился быть проводником.

Вскоре на берегу запылали костры, появились котлы, стали варить уху. Гиляк ходил возле казаков, присматривался и принюхивался. Нагибовцы повеселели. Вот она, радость! Не зря муки терпели. Но один из казаков сказал Нагибе:

— Чуется мне, сей сыроядец доглядает за нами, глаза прячет.

— Ему теперь не до жиру, быть бы живу, — ответил Нагиба. — В пути узнаем.

Отведав казачьей ухи, старик растрогался и разговорился. Он сказал, что в низовьях Амура нет никаких городов и острожков, что натки и гиляки, живущие здесь, никому не подчиняются. Старик согласился вместе плыть в селение натков.

После сытной ухи казаков разморило. Многие улеглись на днища стругов и заснули. Не дремали только дозорные да гребцы.

Оставив собак на берегу, старик поплыл впереди. Он завернул в узкую протоку. Струги пошли за ним. В том месте, где течение прибывало к обрывистому берегу, появились две лодки и спрятались в тальниках. Старик вскрикнул, бросился в воду и поплыл туда, где прятались оморочки. Тучи стрел обрушились на казачьи струги. Казаки падали на днища стругов. Пока они лежали, спасаясь от стрел, амурцы окружили их. Они не решались подплывать ближе полета стрелы, но и не выпускали из окружения. Можно было бы ждать, но не стало харчей, начался голод. Раненые требовали ухода и помощи.

## 19

Казаки отбили нападение, захватив добычу — вяленую рыбу и медвежатину. Когда натки опомнились, струги успели выбежать на середину реки, где их подхватило быстрое течение. Один из стругов при повороте накренился, зачерпнул бортами воду и опрокинулся. Несколько человек погибло, а те, кто остался в живых, были подобраны Нагибой. Чтобы уйти от врагов, которые подстерегали на берегу и на воде, казаки гребли изо всех сил, сменяя друг друга. В пути казаки узнали, что на амурских землях побывали маньчжурские гонцы и запугали людей, живущих там. Они подкупили старика.

Вскоре берега Амура стали едва различимы. Река ширилась, растекалась между низменными островами. Потом исчезли и острова, отдалились берега. Они едва различались в туманной дымке.

— Свежеет... Не лучше ли переждать у берега?

— С каких пор ты свежего ветра боишься? — в свою очередь спросил Уварова Нагиба. — Или мы с тобой штормов не видывали, соленой воды не хлебали?

— Я не за себя... — замялся Уваров. — Волна-то, глянь, как играет!

— Вижу! Волна — не страшно. Плохо, если вода смерзнется.

Надвигалась зима. Все гуще и гуще становилось ледяное сало. Потом появились шершавые льдины. Пока было можно, казаки пробивались сквозь разводья. Они и не заметили, как оказались в море.

Проснувшись однажды, они увидели свой струг вмержшим в большую льдину. Все молча глядели на ледяное безмолвие, оно как будто сковало людей.

Десять дней носило льдину с замороженным стругом по Охотскому морю. В ясную погоду виднелся желанный берег. Он то появлялся, то пропадал, словно дразня утомленных людей. Казаки утоляли голод вяленой рыбой и сушеной медвежатиной, а воду вытапливали из снега. Однако и на этот раз судьбе угодно было пощадить смельчаков. Сильный ветер с моря прибил льдину к берегу. Сдавливаемая льдина трещала и вздрагивала. Иван Нагиба, поднявшись во весь рост, закричал:

— Вставайте, братья казаки, и оболакайтесь! Захватывайте сбрую и котлы, заряжайте к бою пищали. Вперед! Земля!

Немногие откликнулись на его голос. Казаки собирались пойти на землю, но произошло неожиданное. Льдина треснула, сжалась, засыпала торосами струг и увлекла его в пучину.

Едва казаки спасли свои души. Все имущество, какое было, затонуло. Не стало ни харчей, ни одежды, ни свинца, ни пороха.

Насквозь промокшие и окоченелые, собрались казаки возле своего атамана. В их глазах был страшный вопрос: «Что делать?»

Но кто мог ответить на этот вопрос? Иван Нагиба посоветовал идти по берегу моря до первой речки, туда, где заходит солнце. Там, за тайгой, за синеющими вдали горами, Якутск, родина. Сюда проторил дорогу Иван Москвитин. Возможно, по берегу, где рядом бесновалось ледяное суровое море, шли в Якутск люди Василия Пояркова. Значит, еще не все пропало, еще можно жить.

И побрели казаки по морскому берегу... Шли около пяти суток, питались травой и ракушками, а когда на время удалялись от берега в тайгу, лакомились мерзлой голубикой и брусникой. Однажды набрали казаки на дохлую нерпу, развели возле костер, разрезали зверя на куски и, поджаривая на огне, ели черно-багровое мясо. Когда нашли на берегу убитого кем-то сохатого, устроили праздник. Все повеселели и обнадежились. Мясо коптили и жарили. Впервые за много дней слышались шутки, а Ивашка Уваров даже спел песню.

В устье небольшой речки, на островах, нашли много плавника, соорудили из него зимовье, сложили печь-каменку, набросали еловых ветвей на жесткие нары и отоспались как следует.

Собрались было казаки зимовать в этом угрожем месте, благо речка оказалась рыбной, но жить без людей и без дела стало невмоготу.

Ивашка Уваров выручил своих согласников и на этот раз. Он подобрал обтесанные водой лесины из плавника одного размера, положил по краям две жерди, связал бревна пропаренной лесной вербой. Такие плотики назывались саликами. На них большей частью и пробирались землепроходцы по мелким таежным речкам.

— Молодец, Ивашка! Смотри, какой салик смастерил! — восхищенно сказал Иван Нагиба. Все столпились возле незавидного плотика, в глазах у каждого засветились радостные искорки, несущие надежду. Вряд ли казаки думали о трудностях, которые им надо было преодолеть, волоча плот против течения. Кто-то сказал, что харчи на исходе.

— То не беда, была бы река — харчи будут. А ну, берем!

Салик закачался на воде и, подталкиваемый шестью, поплыл вверх по реке. Чтобы салик плыл бойчее, Ивашка сплел бечеву из краснотала. Сильные впряглись в бечеву, слабые сели на плот. И поволоклись казаки вверх по безымянной реке. Чем выше поднимались, тем мельче она становилась. На отмелях вода не замерзала, проходили сравнительно легко, но на плесах был лед. Плотик хотя и не много весил, но перетаскивать его по льду оказалось делом нелегким. Участились места, где русло реки перегораживал плавник, скопившийся на мелких местах и возле островов.

Однажды, перетащив плотик через залом, хотели плыть, толкая его шестом, но течение здесь оказалось быстрое. Шест, воткнутый в дно реки, с треском сломался, и плот бешено устремился на груды стволов, перегораживающих реку. Ветки и тонкие стволы пружинили под напором воды, производя всплески. Казаки похватили котомки. В ту же минуту плот нырнул под залом, остановился, как бы прощаясь, и начал подниматься вертикально, уходя все глубже под воду. Залом оказался ненадежным мостом, людям пришлось брести к берегу по грудь в воде.

Сколько предстояло непосильной работы, никто не знал. Надо зимовать, другого выхода не было. Строить зимовье — дело привычное. Но как быть с харчами? Об этом надо думать ему, Нагибе.

Пока казаки делали балаган и разжигали костер, Нагиба пошел по берегу реки, поднялся на гору. Он увидел густой лес, в котором пряталась река. В одном месте тайга понижалась, и там виднелся горный склон, подходящий вплотную к воде. Под уступом берега, погрузив копыта в воду, стоял сохатый. Могучее тело зверя казалось издали совсем черным. Широкие рога были светлыми, а между ними, обращенные в сторону Нагибы, торчали большие уши. Нагиба не шелохнулся, его изумление сменилось острым желанием поразить зверя. Но как его добыть?

Нагиба подкрался к животному. Он мог бы вскочить лосю на спину. Однако силы были неравные. Лесной богатырь как будто угадал мысли человека и, чтобы не дразнить его, запрокинул рогатую голову на спину и помчался в тайгу. Нагиба бросился по его следу. И, только умаявшись, он понял, что напрасно потратил силы. В сознание вдруг вонзился цепкий страх: если не выйдем, никто не узнает. Больше того: скажут — погибли от неумелости, неосторожности. А у него там, в далеком мире, жизнь, счастье, ожидающая давно, тревожно и нетерпеливо любимая женщина. Нагиба очнулся, сердце его бурно заколотилось.

Но нет, не зря Нагиба бежал за сохатым. Зверь как будто понял беду человека и привел его к жилому месту возле ручья, над которым дымился морозный туман. Сохатый как бы растворился в тумане, а на том месте, где он должен быть, появилось несколько чумов из коры ли-

стенниц. Через верхние отверстия сочились дымки. Они медленно таяли. Возле одного из чумов охотник свеживал гурана<sup>1</sup>. Он посмотрел из-под ладони на человека, который вдруг появился в распадке, и бросился в чум. Оттуда он вскоре выбежал и кинулся в чащу, за ним устремились дети и женщина.

Догонять рискованно. Иван Нагиба, подчиняясь голосу благоразумия, вернулся к шалашу. Обрадованные казаки не заставили себя уговаривать. Они взяли котомки и пошли за Нагибой.

В чумах жили якуты, промышлявшие охотой. Побросав свое добро, они бежали в тайгу.

Казаки нашли в чумах много мороженого мяса и вяленой рыбы. Они расположились тут, заварили кипяток чагой<sup>2</sup> и согрелись черным напитком. Этот напиток очищал и горячил кровь. На еловых ветках, набросанных на мерзлую землю, постелили оленьи шкуры и улеглись на них.

Жили — не тужили. Однажды Иван Уваров, бродя по тайге, увидел следы оленьих упряжек.

Иван Нагиба посоветовал идти по следу аргушницы, разведать, что за люди живут рядом с ними. Теперь они считали чумы своими.

Три дня бежали казаки на лыжах по свежему следу, на четвертый — наткнулись на стойбище.

Якуты не сопротивлялись, они соглашались платить ясак.

— Нам нужен не ясак, а дружба, — сказал Нагиба по-якутски, узнав в охотнике старика, свеживавшего гурана. — Мы землепроходцы, идем в Якутск. Напрасно ты, старик, убежал от меня...

Якут, смутившись, потупился и полез за трубкой, дивясь, что пришелец заговорил с ним по-якутски. Высокий, необыкновенно худой, старый якут располагал к себе доверием и запоминался: большие круглые глаза, горбатый нос и узкое лицо, изборожденное морщинами, с редкой длинной бородкой.

Предложив свой кисет, якут произнес:

---

<sup>1</sup> В Сибири так называют самца козули.

<sup>2</sup> Чага — нарост в дуплах берез, иногда употребляется вместо чая.

— Капсе, тогор!<sup>1</sup>

— Со-охк, ень капсе<sup>2</sup>,— ответил Нагиба.

Обменявшись еще несколькими обычными фразами, старик неожиданно заговорил по-русски. Теперь удивился Нагиба, русская речь напоминала родину. Казаки жадно слушали старого якута, и он казался им добрым богом.

Пригласив казаков в чум, старик угостил их свежинной, моченой брусничкой и мухоморной настойкой. В чум то и дело приходили охотники. Старик говорил им, чтобы не опасались русских, называл их своими друзьями. Постепенно стойбище погрузилось в свою обычную жизнь. Ребятишки любопытно заглядывали в чум, но, заметив на себе взгляды чужих людей, быстро исчезали. Женщины занялись своей работой — выделкой шкур, шитьем. Они делали вид, что все происходящее их не касается.

Поев и выпив, старик совсем размяк и разговорился.

— Мы таких, как вы, знаем,— сказал он.— Допрежь был у нас Москвитин, а после него Поярков. Василий Поярков, как и вы, пришел от моря. Его люди были очень слабы. И сам он был немощен. Его люди у нас жили долго...

Старик поднялся и прошел в угол, где лежала кожаная сума, открыл ее и извлек отделанный костью компас.

— Откуда он у тебя?

— Это память Пояркова. Он знает, где кто живет, показывает юг и север.

— О, ты, видать, знатной старичок-моховичок! — восхищенно воскликнул Нагиба, рассматривая компас Пояркова.

В то время редко кто имел такие приборы.

— А знаешь ли ты, старичок-моховичок, где Якутск?

— Теперь знаю. Вот, смотри!

Якут положил компас на обрубок. Стрелка сначала закачалась и забегала по кругу, а затем остановилась, указывая север и юг.

— Якутск там! — сказал старик, показывая пальцем между стрелками, на запад.

---

<sup>1</sup> Рассказывай, друг!

<sup>2</sup> Нет, нечего рассказывать, ты рассказывай.

Да, действительно Якутск в той стороне. Но до него очень далеко. По трудной речке, по уверению якута, казаки должны были пройти сотни верст, перевалить хребет, а оттуда на речку, впадающую в Алдан. Но не надо спешить.

— Поживите у нас, отдохните. У нас место доброе, зверя и рыбы много.

Иван Нагиба, проникнувшись благодарностью и доверием к лесному жителю, снял нательный серебряный крестик и подарил охотнику.

— Дарю тебе нашего бога... Он поможет тебе, когда будет трудно.

Нагиба повесил крестик якуту на шею. Старик, гордый, польщенный щедростью русского, потряс узловатую руку Нагибы.

— Все ладно... Очень хорошо! — говорил старик, приглашая казаков жить на стойбище. — Живите у нас. Будем добывать зверя... Будем хорошо жить.

Его сородичи рассматривали бога, призывали к дружбе.

Якутское становье нравилось казакам. Здесь тепло, сытно и вольно. Сознание вины за невыполненное дело рождало опасение, что в Якутске им несдобровать. Быть в опале не хотелось. Не все ли равно, где жить? Главное, чтобы русская земля была. А земля, видать, русская, и они вольны на ней жить. В благодатном тепле, при красноватом мерцании уютно потрескивающих дров в очаге хмурые, обветренные лица отмякали, суровые морщины разглаживались.

Сквозь дремоту до сознания доходили звуки внешнего мира: далекий грохот оседающего льда на реке, треск лопающихся деревьев, беготня согревающихся оленей.

Бледное небо лежало сверху над ними — высокое и ясное. В недвижимом воздухе носились мельчайшие льдинки из влаги, образуемой дыханием людей и животных. Трение льдинок на лету друг о друга производило тихое шуршание. Этот тихий шелест якуты называли шепотом звезд. Казаки научились говорить языком лесных людей, обзавелись семьями, вместе с якутами ходили промыслять зверя.

Однако далекий и трудный поход заявлял о себе: то ломотой в суставах, то желудочными болями, то при-



ступами тоски. Каменный, застывший, скованный морозом мир не был враждебен Нагибе. Еще с детских лет он знал этот мир, все его очарование и всю беспощадность. Этот мир пробудил в нем любознательность, желание побороться с невзгодами и почувствовать счастье победителя. Он строил Якутск, плавал по Лене и ходил с Семеном Дежневым на Колыму, был на Яне и во льдах Студеного моря. Ему ли бояться трудностей? И радовал Нагибу, что, где бы он ни побывал, всюду жили люди. Они жили по-разному, добывали себе пищу, любили и выращивали детей. Не в этом ли простом круговороте, повторяемом каждым поколением, и состоит смысл жизни? То, что он делал до сих пор, представилось, как нечто чуждое человеку. Чуждое ли?

Всюду некорыстно живут люди. Не его ли задача, как человека большой страны, вывозить людей из дикости и застоя? Компас, подаренный Поярковым старому якуту, сделал свое дело. Ивашка Уваров может научить их грамоте. Что ни говори, а в общении людей друг с другом есть своя большая польза...

Иван Нагиба проснулся в холодном поту. Все тело ныло. Мучительно не хотелось вставать, казалось просто невозможным пошевелить рукой. Крики сов надрывно разносились в гуще леса, перекликаясь с сохатыми и косулями. Пучеглазые любопытные птицы, склонив набок головы, рассматривали чумы яркими желтыми глазами. Их крики были невыносимы. С огромным усилием Нагиба поднялся и разбудил Ивашку Уварова.

Тот быстро встал, сел рядом.

— Ивашка, вот что... — Нагиба замялся.

— Говори, Иван Антонович, слушаю.

— Если разболеюсь, так ты сходи в Якутск... Расскажи... Напиши отписку. Так, мол, и так...

Уваров не поверил. Нагиба казался ему человеком особой породы. Он всегда ощущал его могучую силу и настойчивую волю. Ему ни разу не приходилось видеть атамана беспомощным.

Нагиба рассердился, увидев улыбку Уварова.

— Я не шучу, Ивашка. Видно, не судьба... Чую, время мое dospело.

— Иван Антонович, отдохни, проспись, и тебе станет легче. Все пойдем! — громко сказал Уваров, сам не находя в своем тоне нужной уверенности.

Темный страх сковал его цепкими тисками. Он разбудил старого якута. Тот достал какие-то травы и медвежьей желчь, но снадобья не помогли.

Как все сильные люди, Иван Нагиба угасал молча, не желая омрачать своим недугом играние жизни. Он велел Ивашке Уварову написать отписку воеводе, чтобы тот не думал, что казаки не выполнили своего долга. Нагиба просил написать подробно об Амуре и всех злоключениях, которые там произошли, о боях с некоторыми приамурскими племенами, которых натравили богдойцы, о всех бедах, которые пришлось испытать им в Охотском море, о таежных людях, которые их приютили.

Ивашка Уваров, притулившись возле очага, писал отписку воеводе, а Нагиба диктовал ему, но вдруг он взмахнул рукой, как бы благословя Уварова, и затих.

— Иван Антонович, говори, я слушаю...

Оглянувшись, он увидел беспомощно лежащую руку и открытые глаза Нагибы, в упор смотрящие на него. В зрачках отражалось пламя горящих дров на очаге.

Ивашка подбежал к постели, взял холодеющую руку.

— Иван Антонович!..

Лишь совы отозвались надрывным криком. Уварова охватил страх, он еще раз назвал Нагибу по имени и отчеству, что считалось признанием особого уважения и знатного звания. Голос Нагибы все еще звучал в его ушах.

Прежде, чем будить казаков, Уваров решил дописать отписку. Он заявлял о большой нужде в порохе и свинце, просил сверла, топоры и теслы, давая этим понять, что землепроходцы собираются жить долго и основательно.

«...А мы здесь, я, Ивашко, с товарищи, на Тугире-реке наги и босы, и голодни и холодни, со всякие нужи в конец погибаем, потому, что у нас топоров нет...»

Сгущая краски, Уваров хитрил, рассчитывая на то, чтобы разжалобить воеводу.

Он хорошо знал, что воевода взыскал бы за то, что Нагиба не подавал о себе вестей. Желая отвести возможный гнев воеводы и государя, Уваров так заключил свою отписку: «...А писать было государю челобитные о нужде и бедности, чтобы государь пожаловал, да не стало бумаги, писать не на чем, и подарков у нас государевых нет, чем якутов и тунгусов дарить...»

Отписка была упакована в бересту. Несколько охотчих якутов взялись доставить ее в Якутск.

— Путь ваш отмечайте засечками,— напутствовал их Уваров.— Может случиться, пойдем и мы следом.

...Казаки не дождались ответа. Дмитрий Францбеков был отозван в Москву, вскоре уехал и Акинфов, а новый воевода, Михаил Лодыженский, не поспевал читать отписки казачьих отрядов, которые открывали и осваивали новые земли от Студеного моря до берегов Амура.

Якуты и русские, помогая друг другу, начали дружную жизнь.

На том месте, где они встретились, появилась деревня. Добротные избы обросли небольшими огородами. Якутские слова перемешались с русскими. И только через много лет забредшие промышленники узнали об этой деревне и необыкновенной судьбе Ивана Нагибы, его плавании по реке Амуру и по Охотскому морю, о прибытии на реку Тугирь и общей жизни якутов и казаков в тайге.



ЧАСТЬ  
ТРЕТЬЯ

Князь Албаза ехал по монгольской земле, захваченной и присвоенной маньчжурами. Монголов трудно было одолеть в открытом бою, они умели лучше врагов владеть саблей и пикой, маневрировать на огромных просторах своей земли. Тогда маньчжурские власти повсеместно стали насаждать ламаистов — своих агентов в желтых рясах. Десятками тысяч ламы расплозились по монгольской земле, именем богов призывая аратов к покорности и смирению, обещая трудовому люду вечное блаженство в следующем рождении. Боясь лишиться многочисленных своих стад и привольных пастбищ, монгольские князья поддакивали желторясникам, шли на службу к маньчжурским императорам. В степях, где кочевали араты, стали селиться маньчжуры. Их военачальники вскоре превратились в помещиков и ростовщиков.

До сторожевого поста Албазу сопровождал монгол с прирученным черным орлом, сидевшим у него на правой руке, одетой в кожаную рукавицу. Рука поддерживалась на весу подпоркой, упиравшейся в луку седла.

Они ехали по холмистой степи, заросшей густыми цветущими травами. Орел зорко поглядывал по сторонам, часто взлетал: ловил птиц, зайцев и даже волков. Для приманки орла, когда он охотился, монгол держал чучело головы дикой козы.

На вторые сутки Албаза увидел на высоком холме сторожевой пост: маленькое глинобитное укрепление с деревянной вышкой и резными воротами. На вышке стоял дозорный с большим фитильным ружьем.

— Я туда не поеду. Мне там делать нечего, — заявил монгол. Он пожелал гонцу удачи и остался в степи, продолжал охоту. Дальше Албаза поехал один.

Дозорный высоко поднял руку и несколько раз взмахнул ею: раздался дробный звон колокольчика. Навстречу гонцу из ворот тотчас же вышел в длинном халате, с ме-

чом у пояса начальник поста — дзаргучей. На шапке у него был вышит герб богдыхана: черный дракон на ярком желтом поле.

Сойдя с коня за несколько шагов, Албаза, кланяясь и приседая, подошел к дзаргучею.

— Мир и благополучие слуге мудрейшего из мудрых повелителей вселенной,— сказал Албаза.

Дзаргучей потребовал ярлык. Албаза достал из пояса красный лоскут с печатью богдыхана Шунь Чжи. Внимательно осмотрев печать, дзаргучей спросил, кто он и куда едет. Албаза ответил, что родом из Даурии и едет просить у богдыхана защиты от лесных людей. Похоже, что дзаргучей испугался. Он позвал двух воинов и приказал сопровождать гонца до Великой китайской стены к старшему начальнику. Воины кинулись во двор, оседлали лошадей и подвели их к воротам.

— Да будет тебе всюду удача! — воскликнул дзаргучей.— Скачи скорее и сообщи важную весть Сыну Неба.

Албаза в знак уважения к богдыхану поднес кулаки к груди, попятился, потом поклонился и, вскочив в седло, помчался к подножию холма. За ним последовали воины. Возле холма пролегалла оживленная степная дорога. По ней двигались караваны верблюдов и стада завьюченных баранов с подарками и данью богдыхану Шунь Чжи от подвластных народов.

Через несколько дней среди однообразного серо-желтого песка появились вишневые рощицы, дикие виноградники и абрикосы. Здесь в глиняных фанзах жили маньчжуры, у которых находились в рабстве участники великой крестьянской войны. Впряженные лямками по несколько человек, они волочили плуги, а маньчжуры, управляя плугами, подгоняли своих рабов бичами.

Албазу и его провожатых часто встречали почерневшие головы казненных повстанцев, нанизанные на колья. Иногда они проезжали мимо мертвых городов. Остатки рвов, башен, каменных статуй рассказывали о красоте исчезнувших городов. Один из воинов поведал Албазе печальную правду о городе, лежащем на их пути. В этом городе царствовал татарский властитель Утай-хан. В войне с богдыханом он был побежден и выгнан из своего царства. Его столица была разграблена и разрушена. Жалкие обломки напоминали о некогда могучем городе. Вот

высокая каменная восьмиугольная башня. У каждого ее угла каменные изваяния: большая скульптура хана, сидящего по-монгольски, с поджатыми ногами, статуи каких-то героинь с копьями. Дальше опять хан с опущенной головой, а кругом — отвратительные черти. Все это было сделано с тонким искусством, и камень, казалось, готов был ожить. Скульптурные изображения льва и черепахи превосходили все, что было тут. За остатками городского вала не было ни одной живой души. Густая трава покрывала развалины. По улицам и площадям мертвого города прыгали только зайцы.

Мертвый разрушенный город навеял Албазе тревожные мысли: он ловил себя на том, что ему не следовало бы обращаться к богдыхану за помощью и добровольно накидывать себе петлю на шею.

Переночевав, путники отправились по дороге, обозначенной сторожевыми башнями. В них находилось по пять-шесть воинов. На верхушках башен развевались желтые флаги. Когда первый караул у Великой стены замечал врагов, он тотчас зажигал свой флаг и этим давал тревожный сигнал. Каждый следующий караул делал то же самое, и пламя, пробегая по верхушкам башен, за несколько часов доносило в Пекин об опасности.

Дорога, высеченная в скалах, привела их в охотничий заповедник богдыхана. Здесь по полям бродили кабаны и олени, а в тени деревьев резвились тигры и пантеры. Рожи звенели голосами птиц, особенно много было канареек.

В центре заповедника возвышалась лесистая гора — любимое место охоты богдыхана. Властитель приезжал сюда каждый год в сопровождении воинов-маньчжуров, вооруженных луками и копьями. Он останавливался у подошвы горы, а воины, числом до трех тысяч, медленно поднимались к вершине. Тигры выгонялись из своих убежищ звуками барабанов и труб. Сначала, стремясь ускользнуть от людей, они делали большие скачки и злобно рычали, но потом, усталые и изнуренные, позволяли богдыхану приблизиться к ним без всякого риска. Копейщики из охраны при малейшей опасности должны были прийти на помощь.

Так богдыхан убивал тигров собственными руками, а слава о его подвигах, подогреваемая мандаринами, бежала по всему Китаю и за его пределы.

После охоты богдыхан отправлялся в город, лежащий недалеко от заповедника, в котором жили его наложницы. Этот город состоял из великолепных каменных дворцов, покрытых глазурованной черепицей.

Миновав заповедные забавные места богдыхана, посланцы через день пути подъехали к Великой китайской стене. На синем фоне неба вырисовывался зубчатый узор амбразур и поднимались башни, с которых можно было далеко наблюдать. Стена из кирпича и дикого камня, высотой до восьми метров со всеми ее разветвлениями и удвоениями, занимала свыше трех тысяч километров.

Громадный вал, снабженный воротами, башнями и бастионами, полз через горы и долины, перерезывал каждую тропинку от солончаков Гоби до вод Желтого моря. Целые века были потрачены на затею, которая сначала была прихотью капризного деспотизма, затем сделалась чем-то вроде символа всей китайской цивилизации и вошла в пословицу.

Богдыхан Цинь Ши-хуанди первый погнал на границу неисчислимые армии каменщиков, носильщиков, штукатуров, чтобы при их помощи защитить от кочевых монголов свою империю, которую недостаточно охраняли его солдаты. Он угрожал смертью каждому, кто оставит в каменной кладке щель настолько широкую, чтобы в нее мог войти кончик гвоздя.

Пятнадцать столетий длился адов труд по расширению и поддержанию стены. Рассказывали, что во время постройки стены потребовалось так много материала, что в горах не осталось камня, в степях — песка, в реках — воды и в лесах — деревьев. Ограбленная людьми земля родила пустыню.

Климат резких контрастов подвергал стену большим испытаниям. Почти не прекращались починочные работы, а двойной ряд укреплений, защищающий Пекин с северо-запада, дважды подвергался капитальной перестройке.

Восхищаясь архитектурным величием сооружения, Албаза не мог понять, как держава, способная осуществить такой труд, не смогла выставить войско, достаточно многочисленное, чтобы обуздать захватчиков. Негодность стратегии, основывающейся только на самоизоляции, обличилась на этом примере с потрясающей убедительностью.



Пока монголы были слабы и разрозненны, они ограничивались мелкими набегами. Но когда во главе кочевых племен оказался талантливый и смелый военачальник, чудовищная каменная игрушка, тешившая своими размерами тщеславие богдыханов, не спасла ни страны, ни династии.

Впрочем, урок этот пропал даром: окитаившиеся монгольские богдыханы, забыв о подвигах своих предков, снова принялись чинить и достраивать забор длиною в три тысячи километров.

Окончательную отделку стена получила после монгольского нашествия, но ко времени маньчжурского завоевания она уже успела сильно разрушиться. Албаза и его провожатые некоторое время следовали вдоль глинобитного вала, порою прерывавшегося на значительные промежутки. Местами лишь башни, одиноко поднимавшиеся среди голой степи, напоминали путникам об исполинской крепости, заключавшей в себе целую империю.

У больших ворот, охраняемых караулом, Албазу встретил пограничный начальник и осмотрел все имущество.

— Обычай наш требует осматривать всех, чтобы, возвращаясь, люди не могли ничего увезти из Китая, — пояснил он.

После осмотра Албазу провели еще через двое ворот, укрепленных башнями и хорошо окованных железом, за которыми открылась площадь, прикрытая сетью укреплений и бастионов. Албаза видел целые участки разрушенной стены; громада ворот и все грозные укрепления возле них казались ненужными.

Пограничный начальник пояснил, что только теперь начинается настоящая Срединная империя, которой управляет мудрейший Сын Неба богдыхан Шунь Чжи.

Угостив гонца от имени великого повелителя чаем, начальник сказал, что ему придется ждать ответа из Пекина. Шли дни, а ответа не было. Когда Албаза напоминал о себе и беспокоился, начальник говорил:

— Если тебе тяжело ждать, возьми палку и бей меня по голове и бесчести меня как хочешь.

Удивленный Албаза, конечно, отказывался от этого и настаивал на своем. Начальник на это невозможно от-

вечал, что без указа богдыхана он не может ни везти его в Пекин, ни отпустить обратно: если Албаза захочет уехать, он схватит его за ногу и пойдет рядом с ним.

— Как один бог на небе, так одно и неизменяемо богдыханово слово, — сказал он.

Оставалось покориться и терпеливо ждать.

Один китаец, который глубоко ненавидел завоевателей маньчжуров, под большим секретом, с испуганным видом сообщил, что пограничный начальник считает Албазу разведчиком, за которым идет большое русское войско.

— Дауры не ищут дружбы и любви, — говорил он, — хотят обмануть богдыхана, чтобы начать вместе с русскими войну.

Острое чувство обиды закралось в душу Албазы. Такого лукавства он не ожидал и раскаивался, что поехал в Китай.

Воины следили за каждым шагом гонца. Начальник не спускал глаз с него. Он часто приходил к Албазе и его смуглое широкое лицо светлело в улыбке, а маленькие глаза метали искры недоверия. Небольшой, почти правильный нос и уши несоразмерной величины венчали портрет пограничного начальника. В Китае считалось, что чем больше уши, тем пригожее человек. Назойливые уши начальника раздражали и злили Албазу, а тот делал вид, что не замечает обиды своего гостя.

Начальник сравнивал богдыхана с солнцем: говорил, что как солнце посылает свои живительные лучи всему земному, так и богдыхан дарит свою дружбу и любовь всем народам, что все народы земли ему подчиняются и платят дань.

Через несколько дней начальник явился к Албазе и сообщил, что к воротам приближается сановник с указом богдыхана. Начальник и Албаза сели на лошадей и в сопровождении воинов поехали встречать гонца. Они остановились в роще и вскоре увидели торжественный кортеж: впереди везли семь маленьких желтых знамен, за ними следовал на двухколесном экипаже маньчжур, на спине которого был подвешен футляр с грамотой богдыхана. Один из охраны держал над его головой желтый солнечник, на некотором отдалении ехал сановник, окруженный свитой. Перед ним везли два бунчука из конских волос. Встречные кланялись, слезая с лошадей.

— Грамоте богдыхана должен кланяться каждый,— заметил начальник. Он слез с лошади и, опустившись на колени, поклонился девять раз. Албаза повторил вслед за ним весь церемониал.

Сановник поздоровался и сказал, что ему поручено сопровождать Албазу в столицу, но что им придется подождать четыре дня, пока полная луна не взойдет на небе. Полная луна — благоприятное предзнаменование.

Через четыре дня, когда появилась полная луна, сановник сообщил, что наступил счастливый день, что можно ехать в царствующий город Пекин.

За Великой стеной началась густонаселенная страна. Впереди на ярко-синем небе резко выделялись темные громады гор. Здесь, возле высокой горы, на вершине которой стоял монастырь с позолоченной статуей одного из китайских императоров, сановник и вся его свита остались, повелев Албазе ехать одному. Сановнику, которому надоело трястись в седле, хотелось развлечься. Он сказал, что все жители от Великой стены до Пекина обязаны чтить это место, что он не может нарушать обычай предков.

Сюда, к монастырю, собирались огромные толпы людей, приходивших просить у богдыхана благоприятного для посевов лета и хорошей жатвы. Среди толп богомольцев можно было видеть лам, мужчин, женщин и детей. Некоторые несли изображения или статуи императора. Музыканты, расположенные в нескольких местах, оглашали воздух звуками барабанов, труб и флейт. Женщины, наряженные в лучшие платья, ехали на ослах. Возле монастыря, между двумя знаменщиками, стоял лама с горшком, наполненным ароматическими травами. Другой лама держал корзину с золотыми и серебряными бумажными листочками. Он бросал листочки в воздух. Все кидалось их подбирать.

Люди жили возле монастыря несколько дней.

— У Северных ворот Пекина,— сказал сановник,— тебя встретит придворный вестовщик и укажет, что делать, как вести себя.

Довольный, что сановник не будет следить за ним, Албаза горячо его поблагодарил и резво отправился по большой дороге, которая вилась то между отработанными полями и частными поселениями, то по совершенно дикой местности.

Путь в горах был разнообразнее. В ущельях, в долинах и на выступах скал возвышались пышные храмы с выступающими крышами, расположенными одна над другой. Края и углы крыш были загнуты кверху и украшены драконами, а широкие белые стены расписаны причудливыми фресками, изображающими страшные сцены из загробной жизни. Низкие приделы храмов и отходившие в стороны от них крытые галереи занимали огромные пространства. Массивные черепичные крыши приделов и храмов покоились на толстых деревянных столбах с пестрой резьбой и вылепленными из цветной глины фигурами мифических чудовищ. Перед храмами стояли гранитные памятники знатным китайцам. Высеченные на каменных плитах надписи рассказывали о жизни и делах целых поколений.

С храмами соперничали, не уступая им в красоте, многоярусные пагоды: суживающиеся кверху башни, сложенные из камня или фарфора, опоясанные несколькими балконами и резными карнизами. С карнизов свешивались бесчисленные серебряные колокольчики. Они нежно звенели от малейшего дуновения ветра.

За высокими зубчатыми стенами храмов, на всех прилегающих к ним тропах разносчики-торговцы продавали фрукты, орехи, палочки для еды, четки, трости из раскрашенного бамбука.

По главной дороге тянулись процессии богатых паломников. Они сидели в паланкинах, одетые в длинные шелковые халаты с меховой опушкой. Их несли полуголые тощие кули в широких соломенных шляпах и в коротких штанах. За паланкинами бежали толпы худых, оборванных нищих. Они заглядывали в оконца паланкинов и громко выпрашивали милостыню.

Встречаясь с процессиями, Албаза сдерживал коня и уступал дорогу. Он испытывал суеверный трепет. Никогда в жизни не приходилось ему видеть подобные чудеса.

В плодородных долинах, по берегам рек и озер, виднелись утопающие в зелени садов и рощ нарядные дома с большими крытыми дворами и затейливыми беседками.

Вокруг высоких стен богатых поместий расстилались залитые водой рисовые поля с терпким запахом ила и участки с посевами пшеницы, ячменя и кукурузы. На ри-

совых полях трудились полунагие люди в конических широкополых шляпах. Они, стоя почти по колени в воде, разрыхляли мотыгами узкие полосы земли и пересаживали нежные рисовые побеги.

Между полями теснились жалкие лачуги из глины и камня. На грязных улочках бродили тощие свиньи и копались голые дети с шелудивыми головами. Голодные собаки даже не лаяли.

В одном из поселений у дверей харчевни Албаза увидел на бамбуковом шесте голову казненного. На шесте темнели пятна крови. Народ, охваченный ужасом, оставался и долго разглядывал голову с выпученными глазами.

— Кто этот человек? За что его обезглавили? — спросил Албаза у встречного китаецца.

— Бедняк из рода Сяо. Так ему судили восемь письмен его судьбы, — ответил китаец. Потом он оглянулся и тихо сказал: — Этот человек говорил китаеццам, чтобы они не платили маньчжурам долгов и налогов. Он призывал бороться с маньчжурами. Его казнили сегодня утром.

Албаза поблагодарил за объяснение и, не оглядываясь на страшную голову, рысью поехал дальше. Он с болью признавался себе, что, обращаясь за помощью к богдыхану, сам себя закабалает, что богдыхан будет понукать им как ему захочется и в любое время может казнить за долги и другие провинности. Его охватил страх. Он пригнулся к луке седла и стал настойчиво понукать коня.

Перед ущельем на огромном выступе скалы стоял храм бога войны, выкрашенный в красный цвет. Над кровлей храма кружились священные голуби.

У подножия скалы возле одинокой харчевни сидел тучный монах. Он играл на выдолбленной тылке с длинным грифом и двумя струнами.

Когда Албаза подъехал, монах, угадав в нем чужеземного воина, встал и, сложив руки на груди, сказал:

— Отважный воин! Твое счастье у всемогущего бога войны Гуань-ли. Вознеси ему свою молитву и соверши приношение храму. Если ты хочешь заслужить милость бога и угадать свою судьбу, то иди за мной.

Албаза не посмел отказаться. Он решил почитать бога войны и узнать свою судьбу. Поручив коня службе, выбе-

жавшему из харчевни, он пошел за монахом по крутой, высеченной в скале лестнице.

Во дворике на песке лежали в рубище почетные нищие храма. В приделах и галереях жили монахи и паломники. Похожие на львов медные собаки охраняли священного дракона — большую чешуйчатую и крылатую змею из черного камня, которая, извиваясь, лежала на паперти храма.

У входа в длинной белой одежде стоял главный жрец. Черные волосы были закручены у него на макушке головы в небольшую тугую шишку. Монах, кланяясь, подошел к нему. Жрец позвал Албазу за собой.

В храме были полумрак и тишина. Тихо курились синим дымком пахучие свечи. Из темных ниш равнодушно смотрели позолоченные идолы. С толстых балок свисали страшные маски и свитки с иероглифами.

В центре храма на возвышении сидел бронзовый бог войны Гуань-ли. Его взгляд был свиреп, брови вздернуты кверху. Одной рукой он держал прядь своей длинной редкой бороды. Перед ним стоял стол, на нем медная жертвенница с фарфоровой урной, из которой торчал пучок палочек с написанными на них иероглифами.

Подойдя к столу, жрец опустил ся на колени, затем сел на пятки, приложил ладони к бедрам и, ритмично покачиваясь, зашептал молитву. Потом он взял из урны палочку и, подойдя к громадной раковине, похожей на голову лягушки, постучал по ней несколько раз, после чего приблизился к большому барабану на треножнике, ударил в него лежавшей возле балдушкой и прислушался. Когда глухой барабанный гул стих, жрец прочитал иероглифы на палочке и сказал Албазе, что судьба его счастлива, что бог войны берет его под свое покровительство.

Пятясь и кланяясь, Албаза вышел из храма. У пасти дракона его остановил монах и потребовал приношения богу. Албаза вытащил из складок пояса мешочек с монетами. Монах взял мешочек и бросил в пасть дракону.

Дальше Албаза поехал по дну глубокого ущелья. На небе уже светила полная луна. Над обрывом сверкали в лунном свете острые скалы. В сумрачной красоте стояли заросли бамбуков, их длинные тонкие листья клонились к земле. Между скалами с бешеным ревом мчался поток. В некоторых местах тропа подходила к самому потоку.

Албаза думал о всеильном боге войны, о том, что теперь он сумеет победить лесовиков и будет жить в дружбе с богдыханом Шунь Чжи. Он ехал не торопясь, наслаждаясь свежестью ночи.

Когда на молочно-белой полосе неба вспыхнула заря, Албаза увидел изломанную линию далеких Сишанских гор, а перед ними силуэты башен, верхушки пагод, крыши дворцов, изогнутые вверх козырьки зданий. Все это придавало городу своеобразную прелесть и поражало непривычный глаз.

Таков был Ханбалык — город хана, названный затем Пекином. Более тысячи лет он был столицей нескольких династий китайских императоров. Богдыханы давали воротам, дворцам и пагодам броские и увлекательные названия: Храм лазоревых облаков, Лунные ворота, Дворец земного спокойствия, Восточный проспект вечного спокойствия. Однако спокойствия и мира в этом городе никогда не было: много раз он становился добычей тронолюбцев, которые через некоторое время свергались, на их место становились новые.

В застенном Китае, как и в других странах, где царствовали диктаторы, не затихали смуты и анархия. Властители, проживавшие в пекинском дворце, отрезанные от всего мира надежной стражей, гаремными затворницами и евнухами, пользовавшиеся всем подобающим их сану почетом, в действительности не имели никакой власти, а полагались на Великую стену и тешили себя философией, нашедшей воплощение в пословице: «Китай — море, которое делает солеными все реки, впадающие в него». Однако реки делали свое дело: Китай с его древней культурой, с его умельцами становился легкой добычей воинственных кочевников, которые, растворяясь в древней цивилизации, отравляли «китайское море» невежественным деспотизмом, умственным застоєм, произволом мандаринской бюрократии.

В 1004 году небольшой тюркский народец кара-хитай, выходяцы из Маньчжурии, занимаясь грабежами и разбоями, оказали сторонникам новой династии кое-какие услуги, связанные с падением Танской династии, и за это получили от новых правителей в награду небольшой город, который был назван Бейцзин, или Пекин, то есть Северная столица. Кара-хитай утвердили свое влияние вплоть до Голубой реки.

Кара-хитаев было немного. Они не решились свергнуть богдыхана, правили страной от его имени. Вождь кара-хитаев Це-лу, хитрый и отважный, постигший затейливую книжную науку мандаринов и выдержавший все экзамены, был увенчан званием. Он искусно владел саблей и кисточкой для письма. Но ему не повезло.

Из страны, сопредельной с кара-хитаями, пришли чжурчжени, называвшие себя народом мохэ. Они поставили безвольного богдыхана сунского Китая Тиенцо и того, кто правил от его имени, на грань гибели.

Войска чжурчженей, подавив сопротивление китайских армий, овладели большей частью Китая, а самого богдыхана взяли в плен, а затем и сменившего его на троне сына. Чжурчжени увезли с собой дворцовые архивы, казну, возы нанизанных на нитки медных монет с отверстиями.

Записи на береговых скалах Амура, черепки фарфоровой посуды, украшенной изображениями рыб, позеленевшие монеты незадачливых сунских властителей и ныне рассказывают о могуществе и былой славе чжурчженей. Чжурчжени, будучи культурным народом, почти не испытали влияния китайских традиций. Они провозгласили собственную династию, назвав ее Цзинь — Золотая. Властелин чжурчженей назывался Золотым императором.

В 1153 году он переехал в Пекин, и вся страна до Ян-цзы-цзяна безропотно подчинилась ему. Но и Золотой император не сумел внести никакой существенной перемены в управление империей. Завоеватели не смогли противостоять влиянию сложной и утонченной цивилизации Срединного государства. Чжурчжени восприняли традиции и культуру одряхлевшей империи, но не сумели выстоять против монголов, военная техника которых дала их верховному правителю Темучину преимущество над всеми властителями.

Эскадрон из пятидесяти всадников, выстроенный в пять шеренг, делал монгольскую кавалерию (важный в те времена род оружия) грозной силой. Темучин мог вести кавалерийские атаки на более широком фронте и охватывать противника одновременно справа и слева.

Новый способ вести конный бой был не известен в других странах. Этот способ ведения боя отвечал большим целям. Пренебрегая второстепенными выгодами, Темучин всегда старался нанести удар по жизненным цент-



рам противника, парализовать в возможно короткий срок его сопротивление и захватить большую часть его земли.

В 1210 году Пекин пал без сопротивления, за его пределами чжурчжени отбивались еще четыре года.

Темучин, сын хана Есугея, вошедший в историю под именем Чингис-хана, умер в 1227 году, но его страшная, им созданная завоевательная тактика продолжала свое разрушительное дело. Однако великий завоеватель, или, как его называли, потрясатель вселенной не думал, что опасность подстерегает его в самой династии.

Смерть Темучина открыла путь для гаремных интриг. Династические интриги, в которых главную роль играли женщины, при последующих ханах повторялись все чаще и чаще.

Властители имели по несколько жен, представлявших различные племена и религии. Каждая ханша старалась возвести на трон своего любимого сына, и у всех претендентов имелась клика родичей, соплеменников, единоверцев и просто ловких людей, стремившихся упрочить свое личное влияние.

Династические войны потрясли империю чингизидов, но ханов не уничтожили. Хубилай, внук Темучина, был по счету пятым великим ханом. Но и он, как и его предшественники, в полной мере поддался китайскому влиянию: у него не было опыта в управлении. Сначала он позаимствовал полицейский и фискальный механизм Небесной империи, всю изысканную бюрократию и канцелярщину. При помощи китайских и уйгурских администраторов монгольские военачальники повсюду устанавливали единообразный порядок, методический и последовательный гнет, ложившийся равномерно на покоренное население и давивший его с тупой жестокостью. В каждом более или менее значительном городе они учреждали ямен — административно-судебную канцелярию и ям — почтовую станцию, где проверялись подорожные. Затем у населения отбиралось оружие, и особые счетчики производили поголовную перепись мужчин, начиная с десятилетнего возраста. Они облагали податью всех ремесленников, кузнецов и каменщиков, пруды и озера, где водилась рыба. Вниманием пользовались ученые, писатели, художники, зодчие, искусные ремесленники. Чаще всего их переселяли в ханскую столицу. От священнослужителей не требовали никакой подати, их щадили. При помощи облас-

канных служителей культа чингисхановцы отнимали религиозное знамя у народных бунтов и заговоров. Делая священнослужителей союзниками и осведомителями, они упрочивали и свою власть.

Хубилай обосновался в Пекине в 1271 году. Возле своего дворца он приказал посеять степные травы, которые должны были напоминать его детям о далекой родине. Он помнил свое происхождение и гордился этим. Хубилай долго не решался допустить в главной богдыхановской канцелярии пользование иероглифами, делал различные опыты, пробовал ввести новое письмо, изобретенное ученым — тибетским ламою. Из этой затеи ничего не получилось. В конце концов и Хубилаю пришлось сдаться.

Богдыхановские секретари начали пользоваться китайской грамотой. При дворе был принят китайский этикет и даже странный обычай преклонять колена перед пустым тропом властителя. Наивным самообманом стало и стремление представить остальной мир его подданными.

Пока на севере монголы вели кровавый спор с чжурчженями и расширяли свои владения в сторону степей, наука наслаждения жизнью, тщательно разработанная мандаринским сословием в Южной империи, проникла во все высшие сферы. В обдуманной гармонии соединялись утехи для глаза, для слуха, для вкуса, для обоняния и осязания.

Китайские мандарины, духовные чада Конфуция, книжные люди, помнящие очертания и внутренний сокровенный смысл шестидесяти тысяч иероглифов, лучше кого-либо знали толк во всех тонкостях придворного этикета. Своими чинными приседаниями и церемонными ужимками они подчеркивали величие богдыхана и олицетворяли покорность, в которой он так нуждался. Хубилаю трудно было устоять перед утонченной и сложной культурой мандаринов, рассчитанной на возвеличение властителей и его правящей челяди. Он принял китайское имя и дал своей династии китайское прозвище Юань.

Лишь только одна привычка напоминала о происхождении внука Чингис-хана от кочевников — постоянные разъезды, приуроченные к временам года. Полгода Хубилай жил в Пекине, затем весною отправлялся на три месяца охотиться в Маньчжурию и на берега океана, а жаркое время года проводил на прохладном плоскогорье,

в специально построенном для него дворцовом городе Шань-ду. Обычно он оставался в этом городе до сентября. Затем происходило переселение в Пекин.

Народные восстания, часто загоравшиеся в разных частях империи, усиливали его подозрительность и раздражительность. Не доверяя китайцам и опасаясь низвергнутой династии, Хубилай построил новый город, немного поодаль от старого. Правильный четырехугольник крепостных стен охватил кварталы с их широкими ровными улицами, пересекавшимися под прямым углом. Все было рассчитано, чтобы затруднить народное возмущение и не дать возможности бунтующей толпе укрыться от атак монгольской кавалерии в кривых и узких переходах между домами.

В новый город Хубилай переселил большую часть жителей из прежней столицы. Здесь возникли императорские дворцы, правительственные учреждения, дома придворной знати и богатых людей. Кварталы старого города пришли в упадок и были заброшены.

Только пройдя через тройной пояс укреплений, можно было попасть во дворец Хубилая. Город опоясывала земляная насыпь высотой до пятнадцати метров и шириной до десяти, постепенно суживавшаяся кверху. На глинобитном валу вздымалась белая зубчатая стена с воротами, башнями и бастионами. Башни располагались одна от другой на расстоянии полета стрелы. Двенадцать больших ворот открывали вход на прямые, как стрелы, улицы. Ворота представляли собой грозные крепости: над ними поднимались девятиэтажные башни с пушками, которые могли удобно обстреливать как дорогу и поле вне стены, так и всю внутреннюю часть города.

Широкий ров, служивший канавою для сточных вод, отделял стену от полей, садов и грязных улиц старого города. Возле ворот располагались заезжие дворы.

Попасть в запретный город, занятый дворцовыми постройками с угловыми башнями, где хранились оружие и сбруя Хубилаева войска, можно было только с южной стороны. Здесь было пять ворот. Средние отпирались исключительно для проездов самого богдыхана. Остальными могли пользоваться все жители, но и они находились под бдительным надзором.

Посреди города возвышался дворец главного полицейского управления со сторожевой башней. На башне висел

колокол, возвещавший тот час ночи, когда все благонамеренные люди должны были гасить огни и ложиться спать. Колокол звонил три раза с промежутками, после третьего боя никто не смел выходить из домов, кроме посланных за повивальной бабкою или за врачом, но эти люди обязаны были носить зажженные фонари.

По городу в ночное время разъезжала стража и кого находила на улицах в непоказанный час, того сажала в тюрьму, а утром нарушителя допрашивали чиновники и присуждали меру наказания — одно из пяти мучений, установленных богдыханом: клеймение, отрезание носа, лишение ног, оскпление, смертную казнь. Самой позорной считалась смердящая казнь — оскпление.

Сменялись завоеватели и династии, а облик города и его дух оставались прежними. Маньчжуры, захватив Пекин, назвали запретный город татарским или Тай-ду — Верхний двор. Все дома в этом городе заняли победители, переселив побежденных в старый китайский город, более скученный и грязный.

Владея городской стеной и башнями, маньчжуры, как и прежние захватчики, без труда держали в повиновении китайское население столицы. Днем и ночью ворота охранялись караулами гвардейцев, вооруженных луками, стрелами и мечами. В это время уже входили в обиход фитильные ружья необыкновенной величины, изобретенные состоящими на службе у богдыхана иезуитами.

У наружной стороны ворот были оборудованы площадки, в свою очередь обнесенные глинобитными стенами. Сюда собирались войска при первых сигналах тревоги. Воины расхаживали взад и вперед по высоким зубчатым стенам. У каждого кроме оружия имелся колокольчик и фонарь.

## 2

Албаза ехал по обширной долине, которую разделяла река Пейхо. По ее берегам тянулись полосы бахчей и рисовых полей. Сквозь таловые заросли виднелись фанзы и колеса водяных мельниц. Шум воды заглушал звуки сигнальных рожков: мельники приглашали везти к ним зерно на помол.

На другом берегу коренастые рыбаки в коротких куртках медленно проталкивали вверх по течению плоскодонную лодку.

По дороге встречались крестьяне с мотыгами и двуколками с впряженными в них мулами и яками.

Город богдыхана Шунь Чжи потряс Албазу своим величием. Робея, он подъехал к глинобитным двустворчатым воротам под башней. Дозорный просунул голову в прорезь амбразуры.

— Стой! Кого нужно?

— Хочу видеть Сына Неба. Я привез ему худые вести.

Дозорный что-то сказал стоящим внизу воинам. Ворота отворились, и четверо верховых выехали навстречу, один важно избоченился в седле. Это был придворный вестовщик, посланный встречать посла от амурских народов.

— Назови свое имя!

— Албаза, посол из Даурской земли.

Он показал свой красный лоскут. Вестовщик сказал:

— Мы тебя уже ждем! Хотя наш повелитель не знает тебя, но он согласен принять после того, как мандарины научат посла всем церемониям: как держаться и кланяться Сыну Неба.

Вестовщик приказал начальнику караула пропустить посла. Начальник вытащил из сумки серебряный колокольчик, позвонил три раза. Ворота отворились, и Албаза, сопровождаемый придворным вестовщиком и тремя воинами, тронулся в путь.

Они долго ехали по узким грязным улицам, мимо глиняных лачуг и торговых палаток. Навстречу им бежали кули с тяжелыми корзинами риса и овощей на бамбуковых палках, перекинутых через плечо. Они бежали мелкой рысцой, беспрестанно покрикивая:

— Хай-хо! Хай-хо! Хай-хо!

На площади бродячие актеры в страшных масках тешили зевак и нищих. В такт бубну и двум цимбалам актеры бросали вверх костяные шарики, острые кинжалы, длинный шест с колокольцами и все это мастерски ловили на лету, что-то громко выкрикивая.

Перед палатками и ларьками на соломенных циновках дремали, сложив руки на своих жирных животах, лавочники и менялы-ростовщики. Палачи, не обращая внимания на актеров, гнали на казнь бунтовщиков с опухшими, землистыми лицами. Сплетенные из бамбука бичи в руках палачей-маньчжуров были черные от засохшей на них

крови. На шеи китайцев были надеты деревянные колодки. Они поддерживали их руками и вытягивали шеи, стремясь увидеть игру актеров.

В запретном городе длинные и широкие улицы были полны жизни и движения. Глаз поражали и радовали яркие цвета стен, вывесок, костюмов. Лошади, мулы, верблюды, паланкины, коляски, море голов в соломенных шляпах с большими полями — все двигалось и шумело, сливаясь в общий поток. Впереди колясок богачей бежали слуги, бесцеремонно расталкивая зевак ударами кнута и палок. Много тут было разных людей, которые ради своего обогащения продавали свои товары и свою религию. Больше всего здесь преуспели иезуиты. Они были на службе у богдыхана и пользовались его покровительством. Некоторые имели свои дворцы и поместья.

Придворный вестовщик остановился возле Посольского двора, огороженного высоким забором. Привратник открыл ворота. Албаза и воины, держа в поводу лошадей, вошли во двор вслед за вестовщиком. Во дворе не было никакой зелени, только лишь в щелях между плитами робко тянулась к солнцу трава. Здесь Албазе предстояло жить под охраной и обучаться в Палате церемоний правилам для представления богдыхану.

Напив посла чаем, вестовщик сообщил, что ему разрешено отдыхать два дня. Албаза порывался пойти в город, но воины ему не разрешили. На третий день утром пришел мандарин, который поразил Албазу своими длинными усами и тощей бородой, доходящей почти до его пухлого живота. Одна половина головы спереди была оголена, а вторая завершалась черной и блестящей косой, доходящей почти до колен.

Этот властный мандарин, выслушав Албазу, ответил, что богдыхан никого не боится и не изменит обычаям. Он сказал, что богдыхан с детства изучает китайскую мудрость, любит честь и хвалу, что он не занимается военными делами и все время проводит в учении.

В Палате церемоний, куда привел Албазу мандарин, стены были исписаны иероглифами, прославляющими Шунь Чжи и его род.

Объяснив несколько правил придворного церемониала, мандарин чинно удалился. На другой день он пригласил Албазу осмотреть наиболее красивые и замечательные места столицы. По мнению богдыхана, осмотр

столицы должен поразить всех варваров своим величием и внушить им страх перед могуществом Китая.

Когда они вышли из Палаты церемоний, во дворе появились носильщики с паланкином. Мандарин пригласил посла войти в паланкин и сам сел рядом с ним. Носильщики вынесли паланкин за ворота.

Медленно поднималось солнце. Верхушки пагод, крыши дворцов заискрились и зазолотились. Все оживило под солнцем: проснулись каменные львы, вздыбив свои мохнатые гривы, на мраморных стенах зашевелились драконы. На плитах дворцовых лестниц вытянули шеи фениксы.

Вскоре носильщики остановились возле одинокого холма, насыпанного руками человека. Он назывался Цзиншань. На его вершине стояла ажурная беседка Вечной весны. Отсюда открывался вид на столицу. На юге виднелся причудливый дворец Гугун. Золотыми волнами казались вычурные крыши и карнизы дворцовых сооружений, раскинувшихся на большой площади. Это Зимний дворец китайских императоров двух династий — Цинской и Минской. Он окружен запретной стеной с наугольными башнями. Затейливые ворота с изваянным на них гербом богдыхана вели во дворец. Это были парадные ворота.

У северного подножия холма Цзиншань красовался храм Долголетия. Здесь хранились портреты богдыхановских предков. Прямо у храма в небо вонзалась красная Сигнальная башня, крытая зеленой черепицей, а недалеко от нее — Колокольная башня, сложенная из полированного кирпича. На вершинах башен стояли дозорные и зорко посматривали вокруг. Они обязаны были предупреждать о подходе врагов, о народных бунтах и пожарах в городе.

На юго-востоке, будто накрытый несколькими ярусами лазурных зонтиков, поднимался величественный храм Неба, трехъярусная крыша которого была покрыта синей черепицей. Идя по его ступеням, молящемуся казалось, будто он поднимается на небо.

Обернувшись налево, на холме за озером Бэйхай Албаза увидел небольшую белоснежную башню, похожую на сказочную цаплю.

Здесь, на холме, куда привел Албазу мандарин, чтобы удивить и запугать, Албаза действительно испытал удив-

ление и трепет. Это состояние еще более усилилось, когда они вошли в парк Ихэюань, где находился Летний дворец. Все в этом парке поражало воображение: дворцы и пагоды с разноцветными крышами, озеро с несколькими островками, соединенными мостом Семнадцати арок, похожим на радугу, гора Долголетия и дворец Добродетели, терем Счастливого долголетия, ворота Заоблачных высот, сад Забав на склоне горы и четырехэтажный храм Мудрости на ее вершине.

Кое-где встречались полянки с маленькими горшками, в которых росли карликовые сосны, дубы, бамбуки, липы. Каждое деревцо не больше аршина, но лет им помногу. Рядом с горшками стояли большие глиняные чаши. В них плавали и резвились удивительные рыбки — золотые, белые, черные, красно-белые и черно-золотые, с хвостами, как ленты или как перья, с глазами, как шары, гладкие или покрытые выпуклыми чешуйками, с головами, похожими на морды бульдогов.

Невдалеке от карликовых деревьев и причудливых рыбок в длинной галерейке двумя рядами висели клетки с птицами. Клетки были разной формы: круглые, квадратные, многогранные, резные, костяные. В них жили вьюрки, зяблики, сойки, красноносые дрозды, золотые канарейки, рисовки, синицы, попугаи и много, много других, названия которых знали только те, кто за ними ухаживал.

Всюду в этом парке Албазу встречала баснословная роскошь. Богдыханы всех династий не знали предела своим капризам и желаниям. По прихоти этих властителей волшебным образом вырастали дворцы, один прекраснее другого. Вон из того узорчатого дворца на высоком холме, который виден со всех сторон парка, раз в году богдыхан любил наблюдать луну. У холма, внизу, он принимал подарки в дни рождения. Здесь красовался павильон Подарков, сделанный из слоновой кости. А вот круглая стена подслушивания. Если прильнуть к ней с одного конца и сказать что-либо шепотом, то на другом конце слышно так отчетливо, словно кто-то шепчет тебе на ухо.

Следуя за чопорным мандарином, Албаза восхищался всем виденным, но ему стало не по себе, когда он узнал, что вся эта роскошь и губила китайских богдыханов, презревших свой народ.

Возле причудливой сосны, росшей на холме, невдалеке от овальных ворот, всеильный мандарин, от взгля-



да которого немели слуги, упал на колени и пополз по каменным плитам. Албаза, недоумевающая, сделал то же самое. Мандарин благоговейно сообщил, что на этой сосне повесился последний богдыхан Минской династии Чунь Чжень.

Албаза побоялся расспросить мандарина о трагической гибели богдыхана, прекратившего род Минской династии. Об этом в то время не принято было говорить. Победители маньчжуры не любили, когда рассказывали о подробностях их прихода к власти. Но то, что видел Албаза по пути в столицу и в самом Пекине, возбуждало его любопытство: головы казненных на кольях, повстанцы с колодками на шеях, рабы у богатых маньчжуров.

Вернувшись после осмотра столицы, Албаза познакомился в Палате церемоний с одним иезуитом, который поведал ему печальную историю Китая незадолго до того, как Албаза приехал в Пекин.

События развивались так. В то время когда Тай-цзун, сын и преемник маньчжурского князя Нурхади, сплотившего разрозненные племена, успешно подчинял северные китайские провинции, в самой Срединной империи возникла великая смута — восстали солдаты, крестьяне, ремесленники, рабочие рудников. Возглавил восстание шеньсийский пастух Ли Цзы-чен. Он пас овец у богача. За пропажу нескольких овец богач упрятал его в тюрьму. Ли Цзы-чен бежал, был кузнецом, стал солдатом, затем возглавил крестьянское восстание. Повстанцы называли его Чуаном Отважным, а он сам себя — князем Чэн Ваном. Крестьяне говорили: «Если отворить большие ворота и встретить князя Чэн Вана, то он придет и не будет брать налогов и податей».

Чуан всегда шел впереди своей армии. Он был коренаст, силен, вынослив, мог долго находиться в седле, поражал всех своей неутомимостью; одет просто: на голове войлочная широкополая шляпа, короткий халат из синего холста, сапоги из буйволовой кожи.

В таком виде утром 24 апреля 1644 года жители Пекина увидели Чуана на вороном коне во главе отборных воинов. Минская династия была обречена, хотя Чунь Чжень и пытался удержать власть до последней минуты. В особом манифесте богдыхан признавал тяжкие преступления его правительства. Он слезно молил о пощаде, обещая, что отныне возложит на себя большие заботы и

труды, глубоко вникнет в прежние ошибки и будет особенно заботиться о добродетели, уничтожит прибавочные повинности, чтобы укрепить силы народа.

В манифесте было множество и других обещаний, вплоть до предоставления незнатным возможности получения высших титулов и званий.

Но было уже поздно. Чуан штурмом овладел дворцом богдыхана Чунь Чженя. Придворная знать разбежалась либо попряталась. Богдыхан, выйдя из своего убежища, где он скрывался от повстанцев, посчитал позорным сдаваться им в плен и в отчаянии отрубил голову дочери, а сам повесился на дереве в своем парке. За ним последовали его жены, высшие сановники и верные евнухи.

Так бесславно завершил Чунь Чжень многолетний род китайских богдыханов. Повстанцы казнили много сановников, отобрали награбленное ими добро. Многих чиновников, в том числе высших военных и гражданских, заковали в цепи и послали на работу. Специальные отряды, организованные Чуаном, производили облавы на богачей.

Отважный Чуан, лоя и казня богдыхановых сановников в Пекине, не заметил черной измены. Оставшиеся в живых феодалы и сановники возложили все свои надежды на У Сань-гуя, главнокомандующего богдыхановскими войсками, оборонявшими проходы в Великой стене в войне с маньчжурами.

Узнав о вступлении повстанцев в столицу, он направил посла к маньчжурскому военачальнику, умоляя его о помощи. Тот не заставил себя долго ждать. Через услужливо открытые У Сань-гуем проходы в Великой стене маньчжурские войска под водительством Тайцзуна оказались на землях Китая, под стенами Пекина. Пока они шли к столице, изменник У Сань-гуй, стремясь усыпить бдительность вождя повстанцев и выиграть время, известил его, что намерен покориться, и предложил начать переговоры. Когда обозначилась победа маньчжур, У Сань-гуй осмелел и приказал своим офицерам и солдатам побриться по маньчжурскому обычаю, чтобы их можно было отличить от повстанцев Ли Цзы-чена. Он отправился к Тайцзуну и раболепно объявил себя его подданным.

Узнав об измене, Чуан во главе части своей армии выступил против предателя, и возле города Шаньхайгуаня

24 мая 1644 года началась битва между изменниками и повстанцами. Народные войска уже брали верх, когда внезапно им нанесли удар с фланга маньчжурские кавалеристы. Это решило судьбу сражения.

Повстанцы отступили к столице, но и здесь не сумели удержаться. Силы были слишком неравными. Предав огню дворцы, они ушли из столицы на запад. Пекин заняли маньчжурские войска. Их военачальник Тайцзун, или, как его звали прежде, Абахай-хан, провозгласил богдыханом своего сына Шунь Чжи и от его имени управлял Китаем до его совершеннолетия.

Шунь Чжи властвовал восемнадцать лет и показал себя жестоким повелителем. Придя к власти по зову китайских феодалов, заключив с ними союз, Шунь Чжи все свои усилия направил против мятежных крестьян. Дабы отличать покорных от непокорных, Шунь Чжи повелел каждому китайцу носить косу и брить лоб. Всякого, кто оказывался без косы, ждала смерть. Этот закон просуществовал около четырех столетий и был отменен в октябре 1911 года, когда произошла Синьхайская революция.

Шунь Чжи взял на вооружение весь сложный мандаринский придворный этикет и церемонии, установленные его предшественниками, китайскими богдыханами. Он облюбывал себе один из павильонов Летнего дворца и назвал его Слушай песнь соловья. На стенах, на подоконниках, на спинках стульев и на рамах зеркал он повелел написать один иероглиф «Фу», означавший счастье.

Шунь Чжи жаждал счастья и ради того, чтобы его добиться, вырезал и замучил сотни тысяч китайцев, сравнял многие города с землей, старался унижить население завоеванной страны. Несмотря на все эти меры, ему так и не удалось прекратить освободительную войну, принявшую форму длительных и затяжных восстаний. Народ мужественно сопротивлялся угнетателям. Только в 1683 году, почти через сорок лет после битвы у Шаньхайгуаня, пламя освободительной войны было сбито, а углы этой войны продолжали тлеть и вспыхивали с еще большей силой в течение столетий, пока существовала в Китае династия Цинь, первым богдыханом которой был Шунь Чжи<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Маньчжурская династия Цинь, родословная которой началась в 1644 году, сковала реакционными феодальными регламен-

Захватив Пекин, победители встретили сильное сопротивление южан, продолжавших отчаянную борьбу с маньчжурами, а кроме того, требовалось немало усилий, чтобы подавлять повстанцев, которые тревожили предателей-феодалов и завоевателей. Эта война лишила богдыхана возможности обратить внимание, на свою родину, у границ которой неожиданно для него появились казаки, построившие на берегу Амура свои городки.

Русские землепроходцы запретили амурским народам платить ясак богдыхану. Они нанесли богдыхану немалый убыток: вассальные племена платили по три соболя с человека. Хотя богдыхан Шунь Чжи был занят подавлением бунтарей и усмирением южан, он тем не менее, узнав о появлении казаков на Амуре, пожелал узнать, кто такие эти русские? Какие у них цели? Откуда они пришли?

Юный богдыхан и его престарелый отец Тайцзун (Абахай) тревожились различными догадками и слухами. Узнав о прибытии князя Албазы, богдыхан пожелал его выслушать и угостить обедом.

### 3

В лучах солнца сиял дворец богдыхана Шунь Чжи. Это было огромное сооружение с крытыми галереями и несколькими, расположенными одна над другой крышами с приподнятыми углами. Крыши были украшены собачьими, обезьяньими и верблюжьими головами. Ворота изображали пасть дракона.

Сопровождаемый сановным мандарином, Албаза пошел к воротам. Раздался резкий звук гонга, затем три оглушительных удара в барабан. Это значило, что Шунь Чжи соглашался принять гонца.

Из пасти дракона вышел дворецкий в пестром халате и повел в глубь двора. Албазу поразили мраморные постройки, окруженные садами, воины, одетые в цветные платья, знамена, копья с развевающимися флажками, слоны в серебряном уборе, расцвеченном драгоценными

---

тациями всю духовную жизнь и быт Китая и способствовала его колониальному порабощению. Эта династия была свергнута революцией 1911—1912 гг. Китай стал республикой, а в 1949 г. Народной республикой.

камнями. По мраморным ступеням, ведомый мандаринами, Албаза вошел внутрь крытых галерей.

Тяжелые балки и столбы пестрели резными узорами. На решетчатых окнах белела прозрачная рисовая бумага, пропускавшая много света. Позолоченные надписи на белых мраморных плитах рассказывали о могуществе, богатстве и славных деяниях рода Шунь Чжи. За памятниками блеснул пруд, на его гладкой поверхности цвели розовые лотосы.

Гортанный и короткий приветственный клич возвестил о начале приема. Все, кто находился во дворце, поверглись ниц. Видны были только изогнутые спины, покрытые цветными и золочеными халатами, поверх которых лежали черные косы.

Среди густых зарослей мирт, под большой пальмой, в открытой беседке из красного дерева на соболях сидел молодой Шунь Чжи в халате черного цвета, на котором были вышиты золотом драконы — символ высшей власти. Глаза богдыхана были полузакрыты. У его ног сидел писец, рядом, но ступенькой ниже, на бархатной подушке сидел державный отец богдыхана, престарелый Тайцзун, победитель китайцев, основатель династии Цин. Тучное тело военачальника, облаченное в драгоценную желтую одежду, расшитую изображениями птиц и драконов, казалось шарообразным. Откормленное, одутловатое лицо, расширяющееся книзу, обрамлено редкой и длинной бородой. Небольшие черные глаза пытливы и остры. В них можно было заметить ум и наблюдательность, властолюбие и жестокость. Хотя он и приобрел внешний облик державного сановника, отца первого богдыхана новой династии, но ему не хватало лоска и внешней приглуженности бывших китайских сановников, которые отличали их от простых смертных.

Сановники империи, чопорные, безмолвные мандарины, воины в красных кафтанах с желтыми перьями и телохранители с копьями замерли в чинном молчании.

Властный мандарин, сопровождавший Албазу, упал на четвереньки и пополз к трону по каменным плитам. Стоя на коленях, поклонился девять раз. Албаза повторил в точности все правила придворного этикета, которые его обучали в Палате церемоний.

Представив Албазу, мандарин, пятясь и часто кла-

няясь, отошел от трона и занял подобающее его чину место среди придворных.

Богдыхан пожелал угостить посла чаем. Молодые китайцы, носившие в шапках по павлиньему перу, разнесли чай в желтых деревянных чашках. Слуги принесли небольшие столики и поставили перед каждым сановником. Каждый, получивший чай, делал глубокий поклон.

Выпив чай, все придворные опустились на колени и сделали один поклон, дотронувшись головой до земли.

«Так вот он какой, этот трижды святой небесный богдыхан, самодержавный повелитель обширной державы, пасущий железным жезлом стада народов», — промелькнула у Албазы озорная мысль, но мысль эта напугала его, он закрыл глаза. Ему запомнилось широкое лицо с черными усиками, туфли с загнутыми носками, отороченные собольим мехом, длинные пальцы на изнеженных руках, украшенные острыми золотыми наконечниками.

Шунь Чжи молчал, и его молчание угнетало.

Албаза не знал, что молодой богдыхан был в великом бессилии: два раза никанцы нанесли поражение его сорокатысячному войску. От этого некогда могущественного войска почти ничего не осталось, и он думал о солдатах, которых надо было взять у подвластных народов. Нуждаясь в поддержке, он заискивал перед иезуитами, но делал это осторожно, стремясь не уронить своего величия.

Тайцзун не разделял мнения сына. Он видел зло в том, что маньчжуры обленились и растворились среди китайцев. Этого не избежал даже и его сын, которого он поставил у власти. Отец возлагал на него все надежды, но, кажется, просчитался: обуздают его лукавые и хитрые китайские мандарины. Тайцзун заметно волновался и сердито поглядывал на своего сына. Шунь Чжи, кажется, это заметил и, напустив на себя важность, сказал:

— Встань! Расскажи обо всем сполна. Ничего не утаивай и не пропускай.

— О, великий из всех великих, мудрый Сын Неба, могущественнейший из всех повелителей мира, наместник духа гор и лесов, добрый покровитель Даурии...

Шунь Чжи шевельнулся, перебил его:

— Говори смело, что случилось?

— На Амур-реку пришли лесные люди. Они разорили города и улусы. Многих людей побили и забрали в плен. Ясак твой силой взяли и тебе грозят боем.

Пухлое, выхоленное лицо Шунь Чжи густо побагровело, он недоверчиво скосился на Албазу.

— Почему раньше молчали? Почему вестей не подавали?

— Мы твой покой оберегали, мы надеялись на свою силу.

Шунь Чжи взмахнул рукой, слуга подал ему раскуренную трубку. Богдыхан стал молча курить, выпуская изо рта клубы пахучего дыма. Он думал. Писец положил доску к себе на колени и обмакнул кисточку в тушь. Потом Шунь Чжи передал трубку слуге и сказал писцу:

— Пиши указ моему наместнику Шамшахану и военачальнику лесных людей. Нингутский управитель Иженей пусть едет послом к лесовикам и уговорит их перейти на мою службу. А если те люди окажутся лукавыми, побить всех без остатка! Понял?

— Я понял все, что ты сказал, великий повелитель.

— Повтори все, что я сказал, от слова до слова.

Писец без запинки слово в слово повторил указ. Шунь Чжи велел ему чисто переписать указ на особой бумаге и опять закрыл глаза. Слуги принесли таз с водой, вымыли ему руки и ноги. В знак особой милости к даурскому гонцу Шунь Чжи разрешил помыть той же водой и Албазу, а затем пригласил его на обед. Албаза долго и униженно кланялся, чуть приседая и складывая вместе ладони своих рук у колен. Шунь Чжи и Тайцзун вышли в зал переодеваний, скрытый занавесью. Здесь лежали большие ковры, а белые стены завершались бордюром с полированными барельефами и позолоченными драконами. К залу переодеваний примыкали покои невест богдыхана. Вход туда был запрещен. Только евнухи могли входить в эту половину дворца.

Обед был подготовлен в большом зале. Гости и придворные все уже были в сборе. Когда богдыхан вошел, они упали на колени и до земли склонили головы.

Приглашенные на обед садились на подушки возле огромной соломенной циновки, на которой было наставлено множество всякой снеди. Были тут акульки плавники, ростки бамбука, семена лотоса в сиропе, жареные трепанги и осьминоги, куры, смолотые с огурцами, морская капуста и затвердевшие яйца, пролежавшие перед употреблением два месяца глубоко в земле. Вино было на-

стоено на семидесяти специях. В число специй входили истертые в порошок мясо каракатицы и когти тигра.

Когда богдыхан сел и начал есть, гости жадно набросились на еду, ловко орудуя двумя палочками из слоновой кости.

Шунь Чжи был в хорошем настроении. Он много ел и пил, был весел и оживлен, милостиво предлагал гостям любовь и дружбу. Чтобы почтить гостей особенным расположением, он потребовал жареных змей, означавших символ мудрости. Он собственноручно разрезал змей на продолговатые белые ломтики и угостил советников, которые поочередно подходили к нему. Албазе он дал целую змею.

Шунь Чжи захмелел первым. Слуги подхватили его под руки и увели в опочивальню. Гости и придворные замолчали и тут же, на циновках, стали дремать.

После отдыха Шунь Чжи собрал военный совет и сообщил о лесных людях и своих планах. Советники выслушали его речь и признали ее мудрой, а дела правильными. Все они выразили желание поехать послами или военачальниками и на коленях просили этой милости, но Шунь Чжи отказал им. Он велел снарядить гонца и предложил Албазе скакать вместе с ним день и ночь. Албаза упал перед богдыханом на живот и поцеловал его туфлю. В знак особой милости богдыхан потрепал его за волосы, пожаловал дорогой саблей и халатом темно-малинового цвета.

#### 4

Город князя Гойгудара стоял на угодливом месте, много в нем было добра. На полях в суслонах и скирдах золотилась пшеница. Много было рыбных ловель и сенных покосов. На реке курчавились намывные острова.

Степан Поляков привез кремневые ружья, порох, свинец, котлы, серпы и косы. Потянуло стрельцов к теплу и покою, захотели мирно на земле жить. Они сгуртовались вокруг атамана.

— Все люди как люди, а мы будто прибудные. Обнищали духом и телом. Сколь прошли, а такого добра не видали.

Томило Довбач взобрался на колоду, сдвинул седые брови.



— Чуετε, удалые, старого ермаковца?

— Чуем!

— От праведных трудов не будешь богат, а будешь горбат. Не наше дело на земле сидеть и пупы греть. Брюхом и миру добра не вынесем: пойдут ссоры, раздоры, понаедут купцы да воеводы. Не оплошать бы?

Вкрадчиво заговорил стрелецкий сотник Тренька Чичегин:

— Всякая птичка свои песенки поет. Люди мы земляные, хотим жить прочно и стоятельно. Будем вместе с даурцами землю пахать. От этого прибыль наша умножится.

Взъярились казаки против стрельцов. Чеботка Базан встал рядом с Томилой Довбачом, сверкнул глазами:

— Старый ворон даром не каркнет. Дедун мудро кажет. Много тут земли, а житья учтнвого нет. Некорыстно живут даурцы. На своих да иноземных ханов горбы гнут. Лучше нагишом да с палашом, чем с добром в неволе.

— Алтын сам ворота отпирает и пути очищает,— возразил рябой стрелец в добротном кафтане.

— То правда! У рака мочь в клешне, а у богатого в мошне,— поддакнул ему рядом стоящий стрелец.

К Томиле Довбачу подобрался стрелец, поглядел с укоризной, тронул за седую бороду.

— Эх, казаче, борода у тебя, что ворота, а ума и с приколотка нет... Богат тот, у кого земля!

Ерофей Хабаров стоял молча, мысли его двонлись, волю свою навязывать не хотел. Чтобы не огорчить стрельцов и не обидеть казаков, предложил метать жребий.

— Эй, ухари, не горлань! Бог рассудит!

Тренька Чичегин выломал две равные палочки, сделал на одной метку и загадал условие. Томило Довбач подставил шапку. Хабаров перекрестился, зажмурил глаза, запустил руку, вынул и медленно разжал ладонь. Все потянулись к нему.

— Богу угодно, чтоб жили тут.

Вскоре стрельцы землю разбили на участки, поделили и стали хозяйевать. Город обнесли двумя стенами, насыпали хрящ, на нем частокол, устроили раскаты для пушек и сторожевые башни с дозоринами. На случай осады вырыли колодцы. Князей с женами посадили на аманатный

двор<sup>1</sup> и учредили за ними крепкий надзор. Пленных даурских мужиков отпустили, взяв с них клятвенное слово, что они будут жить мирно и не слушать маньчжурских сборщиков ясака. В дар атаману срубили избу... Ерофей Хабаров велел привести Юргалу.

Она вошла и потупилась. Хабаров подошел к ней, взглянул в упор и повел бровью.

— Скучаешь, любушка?

Юргала поняла, что ее ожидает, и порывисто отступила на шаг:

— Не подходи!

— Хочу тоску твою развеять.

Хабаров обхватил ее голову рукой, поцеловал в глаза. Она не отвернулась, лишь сжалась и закусила губы. Когда он хотел снова ее обнять, она выскользнула из его рук, забилась в угол, часто замигала и заплакала.

Хабаров не выносил слез. Он лег на медвежью шкуру, замычал с досады и сжал кулаки.

— Убью!

Он чувствовал, как сохло во рту от ярости. Он глушил злобу, надеялся растопить сердце красавицы своею любовью. Он не допускал мысли, что Юргала предпочтет Илейку.

Шли дни. Хабаров настойчиво обхаживал Юргалу, носил ее на руках, уговаривал:

— Полюби меня, касатка ласковая. Что захочешь, то и сделаю. Эх, ты мне заполонила душу!

Он видел себя правителем обширного края, который был намерен подарить России. Ему мерещились богатые поля, заводы, выгодная торговля с Китаем и другими народами. Амур представлялся дорогой в заветные земли. В своих отписках и чергежах он делился своими соображениями. И вот женщина, которую он хотел сделать своей помощницей, отвергает его ради Илейки, человека без роду и племени, неплохого малого, но с мягким сердцем.

Но Юргала не сдавалась, оттягивала время, сопротивлялась, как умела. Ей казалось, что Илейка скоро вернется, сердцем ждала, терзалась незаслуженной обидой.

---

<sup>1</sup> Аманат — пленный, заложник. Аманатный двор — помещение, где содержались пленные.

Стрельцы были рады, что атаман занят Юргалой и не мешает им. Казаки буйно коротали вынужденный досуг. Они иногда дрались со стрельцами, считая их повинными в томительном сидении, пели лихие песни, бражничали, а когда наскучило, сговорились идти за добычей. Пристал к ним и Савватей Храп.

Ватага подошла к избе атамана. Чеботка Базан просунул в окно голову:

— Поздорову ли живешь, атаман?

Ерофей Хабаров вскинулся, сел по-даурски, подобрал под себя ноги, грозно скосил глаза.

— Что надобно?

— Нам, атаман, до тебя пришло. Давай справ боевой, пойдем за добычей.

Ерофей Хабаров встал и, подойдя к Чеботке, густо побагровел, но, взглянув в окно через его плечо, смягчился, со всеми поздоровался, поворошил кудрявую бороду. Казаки загорланили:

— Убери пса лихого Треньку!

— Моя воля на то.

— Воле твоей мы не перечим. Потому и пришли к тебе, чтобы ты рассудил нас. Давай нам справ боевой, а мы добычу найдем сами.

— Охотно дал бы, но за вами и без того долг велик. За каждую вашу голову я государю отъезжую пошлину уплатил по восьми алтын две деньги, печатную пошлину по деньге с рубля. Я воеводе кабальную запись дал, я в ответе.

— А мы опочиву не знали? Добывали землицы своею кровью, а теперь не вольны на ней жить. За что муки терпели?

— Вы по охоте шли, за это царь вас пожалует. Да и я вам не враг, живу и думаю заодно с вами. Убытки большие, а прибытков нет. И хотя трудно мне, а помочь вам рад: давайте кабалы, берите сбрую.

Казаки погалдели, почесались и дали на себя кабальную запись. Савватей Храп подошел к окну последним.

— Дозволь промышлять словом божьим. Тебе будет прибыль, и мне добыча малая.

— Просьбу твою уважу. Быть так! В помощь себе возьми ловких людей.

— Спаси тебя бог, век буду помнить тебя и добром поминать.

Савватей Храп шел от него, не чуя ног. На его губах дрожала счастливая улыбка. Ему мерещились величавые соборы, гордо возносящиеся к небу колокольницы и толпы нехристей, распростершихся перед ним ниц. Чудилось ему, что слава о нем бежит по всей земле, царь прощает ему все вины, награждает.

Уговорить трех дюжих казаков оказалось нетрудным делом. Храп надел ризу зеленого бархата, в одну руку взял крест, в другую кадило и наутро вместе с казаками побрел к даурам и дючерам.

Савватей бился день, другой. Он настойчиво склонял к христовой вере и обещал райскую жизнь после смерти.

Дауры почтительно выслушивали его речи, но стояли на своем:

— Богов много, а правды нет!

Храп для крещения предложил всем зайти в воду, но дауры и дючеры наотрез отказались.

Не помня себя, Храп вломился в избу атамана.

— Нехристи над крестом надругались и сами осудили себя. Да постигнет всех нехристей лютая кара!

Он говорил долго и гневно. Хабаров понял, что поп неумело повел дело, презрительно глянул на него и вышел, крепко хлопнув дверью. Савватей обидчиво сжал губы, но увидел насмешливый взгляд Юргала и побежал догонять атамана. Его рыжие волосы развевались по ветру. Он остановился у крепостных ворот и, провожая бегущих стрельцов и казаков, то и дело покрикивал:

— Не робей, братушки! Вперед за святое дело!

Юргала забыла про свое горе и прильнула к окну. Она видела, как, обгоняя друг друга, бежали стрельцы и казаки. Дауры и дючеры поджигали свои фанзы и шалаши, садились на коней и галопом уносились в лес. На площади стоял Ерофей Хабаров. Юргала видела, как из аманатного двора выводили даурских и дючерских князей с их женами и детьми. Она не могла оставаться равнодушной к тому, что происходило, и пошла на площадь.

Хабаров дрожал от гнева. Перед ним понуро стояли князья. Гойгудар стоял впереди. Хабаров, сдерживая себя, сказал:

— Ваши люди не выказали покорности, взбунтовались и отъехали. Вы за них в ответе. Теперь вам никакой пощады не будет.

— Мы их не отсылали. Мы у вас в плену сидим, а у них своя дума,— ответил Гойгудар.

— Гей, ухари! — крикнул Хабаров.— Крепи плаху, разводи костры!

Стрельцы бросились исполнять наказ атамана. Вскоре, вспыхивая, затрещали огни. Юргала подбежала к Хабарову и смело глянула на него в упор.

— Ты делаешь неладно! — гневно воскликнула она.

Хабаров любовался ею и молчал. В нем с прежней силой пробудилась жажда обладания ею.

— Юргала, не лезь под горячую руку,— проговорил он тихо, чувствуя, как истребляющий гнев все более и более захватывает его.

Юргала нарочно, чтобы все слышали, громко произнесла:

— Ты побиваешь людей. У тебя волчье сердце, а дума лукавой змеи!

Хабаров дрогнул, часто и тяжело задышал, глянул на нее и отвернулся. Лицо его окаменело.

— В огонь! — спокойно и твердо приказал он.

Юргала глухо вскрикнула. Томило Довбач заслонил ее собой.

— Отступись, атаман! Что ты делаешь?

— Уйди, а то и тебя сомну!

— Прошу христом-богом... Памятью Ермака прошу... Илько загорюет, и может худо выйти.

— Хлеб режут, крохи сыплются. В огонь!

— Душу не скверни...

Ватажники качнулись, загудели, навалились, но Хабаров поднял руку и велел сотнику приступить к делу.

Тренька Чичегин, желая задобрить атамана, схватил Юргалу и понес на костер.

Томило Довбач рванулся, но в дюжих руках затрещал его зипун, сверкнул вышибленный из рук меч.

— Не перечь атаману! — остановил его Чичегин.

На выручку ему кинулся Чеботка Базан, но и его смяли стрельцы.

— Не лезь!

Кырса уткнулся лицом в землю, плакал навзрыд. Томило Довбач бесновался, рвался, грозил всех смести, но обессилел и обмяк.

— Нет во мне теперь жалости, омрачена душа моя. Ой, пустите! Ой, то и моя душа горит!

Огнем и кровью Хабаров глушил свою страшную любовь к Юргале, мстил князьям за измену дауров. Его всегда лихо закрученные усы кволо свисали вниз, он поводил вокруг себя мутными глазами. Домовитые стрельцы, стараясь смягчить гнев атамана, казнили в угоду ему и своих жен, лишь бы дал им возможность жить на земле.

— Добре, ухари, добре!

Хабаров перешагнул через труп убитого даурского князя, и зычно прогремел его голос:

— Ухари, на струги! На струги, не мешкая!

Казаки повеселели, наскучило жить на земле и томиться в безделье.

— А то радость! Кинем место проклятушее!

Стрельцы приуныли и стали просить, чтоб разрешил им пожить до весны. Но Хабаров был неумолим и приказал поднять якоря.

## 5

Ватага зимовала на земле ачан. Жизнь текла сонно. Стрельцы и казаки ждали весны. Чтобы не раздумывали они о кабальном житье, Хабаров построил винокурни.

Он продавал вино чарками и ведрами. Жизнь в ачанском городке пошла бойчее, люди в бесшабашной гульбе забывали тоску о родине, о кабалах не думали.

Когда подул теплый ветер, люди ожили, стали чинить струги, собираться в путь. Каждый про себя думал, что еще одно усилие — и настанет жизнь, не похожая на прежнюю, а вместе с новой жизнью придет и счастье. Эта вера многих согревала и ободряла.

Стрельцы и казаки ждали весны, берегли и лелеяли свои мечты, о беде не думали. А беда свалилась неожиданно.

Ранним мартовским утром в атаманскую избу вломился дозорный казак.

— У ворот ждут послы от маньчжурского царя. Что будем делать?

Ерофей Хабаров выслушал дозорного спокойно. Казаки и стрельцы мялись в нерешительности, на сполох сбежались все.

— То неладно, — сказал он. — Послов кличьте ко мне, а вы, ухари, глядите в оба.

Дозорный побежал звать послов. Хабаров вышел на крыльцо своей избы. Казаки и стрельцы расступились,

образовав небольшой проход. Хабаров принял достойный вид.

Послы шли медленно и торжественно. Посольство состояло из монаха-иезуита, писца и двух военачальников. Возглавлял посольство нингутский наместник Иженей. Он был одет в шелковый кафтан, подбитый мехом, и соболию шапку. Лицо надменное и злое: обиделся, что казаки не встретили его почестями. Он подошел с высоко поднятой головой и, не поздоровавшись, показал Хабарову красный доскут, на котором был вышит герб богдыхана Шунь Чжи.

Монах был при наместнике советником и переводчиком. В его облике было что-то лисье. Глаза бесцветные, но живые, нос прямой, губы тонкие.

— Посланные великого и мудрейшего богдыхана Шунь Чжи приветствуют тебя на земле Сынов Неба, — сказал монах. — Будьте здоровы и благополучны.

— Мы принимаем послов от вашего хана на своей земле. Сказывай, что надобно? — спросил Хабаров.

Монах поговорил с Иженеем, тот недовольно скосился на него, взял из рук писца два свитка и подал Хабарову.

— Эй, ухари, кто грамоте свычен?

В круг вытолкнули Савватая Храпа. Он рысцой подбежал к атаману, взял свитки и позвал чубатого казака. Тот подошел к нему, уперся ладонями в колени, подставил свою широкую спину.

— Ну, чтти!

Савватей Храп развернул свитки — это были грамоты богдыхана на русском и китайском языках. Храп закрыл китайский текст русским и, водя пальцем по лощеной бумаге, начал читать. Читал внятно и очень раздельно...

Казаки, потупив головы и нахмурия брови, тяжело и жарко дышали. Томило Довбач криво улыбался, вздрагивала его седая борода. Сдвинув на затылок шапку, Чеботка Базан вызывающе смотрел на послов. Кырса, округлив рот, поглядывал на Хабарова: ему очень хотелось знать, что скажет атаман послам. Тренька Чичегин часто мигал, уставившись на рыжую клочковатую бороду Савватая Храпа.

Хабаров строго посмотрел на стрельцов и понял, что в ряды ватаги просочился страх, что нужно разрушить впечатление, произведенное указом богдыхана, поколебать уверенность послов. Он ничем не уронил своего до-

стоинства. В ответ на указ Шунь Чжи он достал из-за пазухи грамоту, данную Дмитрием Францбековым, и, не кланяясь, молча подал послам. Иженей, не читая, разорвал грамоту.

— Видеть не могу и читать не хочу,— сказал он.

По толпе пробежал ропот негодования. Казаки взяли за мечи. Монах-иезуит вызывающе поглядел на Хабарова, своим надменным видом давая понять свое превосходство.

— Мы пришли объявить волю богдыхана Шунь Чжи. Соглашайтесь служить ему или уходите.

— Что добыто нашим трудом, мы никому не отдадим и служить за наше добро никому не станем. Мы верные люди своего великого государя. Так ли, ухари?

— Мы твоим сказом довольны,— дружно ответили казаки и стрельцы.

— Вы худые люди,— разозлясь, сказал иезуит.— У вас нет ни чести, ни совести.

— Ты совесть нашу не трожь, она чище твоей и твоего хана. Вы подкупили даурских и дючерских князьков, а мирных людей заплотонили и зло надругались. Ваши ратные люди моего Колпу убили у реки Урки...

Монах часто замигал и заговорил на своем языке. Было видно, что ругался бранными словами. Иженей сделал угрожающий жест рукой, как бы приглашая воинов ринуться, но, заметив в глазах Хабарова разбойную лихость и готовность казаков к бою, молча повернулся и пошел к воротам. Следом за ним, быстро перебирая погами, протрусил монах, потом писец и военачальники. Хабаров подал знак. Свистуны засунули во рты по два пальца и засвистели так, что послам стало холодно.

— Ухари, шибчей! Шибчей!

— Тью-у-и!.. Фью-и-ис!

Все зашевелились, закашляли, зачихали.

...Начав поход в Даурию, Хабаров думал о своем житье, о прибылях. Теперь, увидя врагов, их жестокость и коварство, он сердцем ощутил свою связь с Русью.

Здесь, на берегах Амура, он, сын своей родины, не может ронять честь и достоинство земли Российской. Так думали и его люди.

Теперь Хабаров знал, что стрельцы и казаки будут смело биться с маньжурами. Он повеселел сам и всем внушил уверенность. Хабаров поднял руку:



— Ухари, слышали?  
— Все слышали!  
— Драки не миновать! Недально время, богдойцы придут войною. Ладьте на стены котлы, смолу, готовьте все, что потребно для боя. Стоять крепко, как один.

Неприметно, в малых радостях и большой неусыпной тревоге, текли дни. Ждали хабаровцы сполошного звона, надеялись на стены своего острога. Крепостное строение состояло из огромного земляного вала и деревянных стен с башнями. На валу стоял двойной палисадник, около него — ров глубиною в сажень и шириною в две и перед ним вколоченные в землю заостренные сваи. В середине острога, за деревянными стенами, был сделан широкий раскат, на нем — две медные пушки.

На сторожевой башне стоял в дозоре Чеботка Базан. Сбоку виднелся Амур, впереди большой увал, покрытый редким березняком, у самой стены — поле, заросшее кустарником. Река около отмелей и берега однообразно рябила.

Изредка тишина нарушалась то всплеском большой рыбы, то шорохом зверя в кустах возле стены.

При всяком звуке Чеботка хватался за кремневку.

Восток понемногу ясел.

Чеботка почувствовал, что веки его отяжелели, он стал подремывать и сквозь сон услышал непонятный гор-таный говор.

Он открыл глаза и не поверил самому себе. В березняке шевелились какие-то люди. Они стягивались на вершину увала, видимо готовясь к приступу. Чеботка Базан догадался, что это были маньчжурь. Он еще раз посмотрел внимательно на опушку и схватил веревку набатного колокола.

Безостановочно и тревожно зазвучал набатный звон.

Ерофей Хабаров подбежал к башне и запрокинул вверх лобастую голову.

— Чего бьешь?

— Оболокайтесь, братаны, в кюяки<sup>1</sup> крепкие. Богдойцы у стен!

— Да ну?

---

<sup>1</sup> Кюяки — латы, панцири.

— Калачи гну! Ты залазь сюда!

Стрельцы и казаки бежали, на ходу натягивая шаровары, напяливали на себя кольчуги, опоясывались мечами, заряжали ружья.

В маньчжурском стане зажглись огни. Ерофей Хабаров увидел на опушке в свете факелов Иженея и его военачальников, пушкарей, суетливо закатывающих в дула ядра, двухколесные телеги с осадными лестницами, баграми, дегтем, сухой берестой и соломой. Хабаров крепко выругался, перекрестился и громко приказал:

— Зарядить пищали! Забить ядра! Пощады не давать, аманатов не брать! Помни всяк: пятиться некуда! Биться, не щадя голов!

— Будем биться, атаман!

— Кто трусит, отходи в сторону! — скомандовал Хабаров.

— Все, как один, будем биться! Нет среди нас трухлявых!

— Ну, добре, ухари!

Савватей Храп, облаченный в ризу, с крестом в одной руке, с кропилом в другой торопливо обходил стены. Его сопровождал, неся ведро с водой, горбатый стрелец. Второй стрелец нес знамя с ликом архангела Михаила. Под навесами Савватей Храп наскоро кропил оружие святой водой — воинов благословлял на подвиг.

— Умрем, братушки, за веру крещеную! Постоим за образ угодника Николы и стяг архангела! Порадеем, братушки, государю-царю! Не дадимся живыми в руки поганых богдойцев!

— Без тебя, батя, управимся... Время горячее, а ты мешаешь, — сказал Степан Поляков.

— Не грешни, окаянный! Не грешни, смерть за плечами.

— Батя, уймись! Проходи с богом!

Многие крестились, прикладывались к образу, прощались друг с другом.

По команде, вспыхивая огнями, затрещали кремневки. И грохнули маньчжурские пушки. Долина заволоклась дымом.

Человек триста маньчжуров поднялись с земли и с криком кинулись на приступ. Они перебрасывали через рвы мостки, разрушали частокол, лезли на стены. Их обваривали смолой и кипятком. Однако подрывники су-

мели подложить в подлаз глиняный снаряд, начиненный порохом. Блеснул огненный язык, и долину потряс гул и грохот. Стена медленно приподнялась и, дробясь на части, рухнула. Копейщики и лучники, прикрываясь щитами, обитыми кожей и войлоками, полезли в пролом. Фузейщики клали длинные четырехствольные ружья-фузеи соседям на плечи и травили запалы.

Случалось часто, что дула рвались, и войны гибли. Иные волокля огромные кожаные мешки с порохом для пушек.

Когда в стене образовался пролом, Хабаров сам стал у пушки. Сквозь грохот боя прорвался его голос:

— Не гнись, ухари!

Ядра со свистом неслись в пролом, поражая атакующих, но ловкие маньчжуры воспользовались тем, что казаки сосредоточили внимание на проломе, взобрались на башню, убили стрельца, захватили знамя с ликом архангела Михаила и с радостным воем побежали к Иженею. Саватаей Храп от страха свалился со стены.

— Братушки, ратуйте! Братушки!

— Заткни глотку!

— Поганые богдойцы архангела украли! Ой, братушки!

Увидев знамя у врагов, Хабаров изменился в лице и зарычал, будто раненый зверь. Он снова приложил фитиль к запалу. Выстрел был удачен: ядро попало в самую гущу и скосило до десятка человек.

Между маньчжурами произошло смятение, но Иженей бросился вперед, войны последовали за ним.

Хабаров обнажил меч и пошел в пролом и стал косить направо и налево вражьи головы. Тех, которые пытались схватить его сбоку, он опрокидывал ударами рукояти, нападающих спереди прокалывал, бегущих от него догонял и рассекал надвое. Меч его то опускался, то поднимался. Казаки и стрельцы от него не отставали. Пороховой дым ел глаза, от гари трудно дышалось. Вопли раненых мешались со свирепыми криками.

Ерофей Хабаров с горсткой казаков прорвался к Иженею и убил его. Маньчжуры, потеряв военачальника, дрогнули и растерялись. Они побросали оружие и побежали с поля битвы. Казаки и стрельцы с криком и свистом преследовали их.

Казацкое знамя с ликом Михаила-архангела было от-

бито. Победа была решена. Томило Довбач подбежал к Хабарову и крикнул:

— Атаман, мечи из рук вываливаются! Дай хоть дух перевести!

Хабаров остановился и дико посмотрел вокруг воспаленными глазами. Видя, что враг совсем разбит, он распорядился прекратить преследование и подобрать раненых. Есаулы громко повторили его приказание.

Тяжело дыша, возвращались победители. Лица у всех были в запекшихся шрамах, руки в черной крови и царапинах.

Ерофей Хабаров шел, припадая на раненую ногу. Возле него несли восемь маньчжурских знамен, тридцать больших и малых фузей, двенадцать пороховых глиняных снарядов.

Стянулись хабаровцы в городок, посчитали живых и убитых и приуныли.

— Тут нам теперь житья не будет,— сказал Томило Довбач.— Спихнутся богдойцы, снова придут, а обороняться нам нечем. Тут всем нам карачун будет.

— А может, и не придут? Может, они не скоро очухаются?

— Дедун правду глаголет,— сказал Хабаров.— Наши животы и пищали пусты, надо в обрат идти. Отойдем в Гойгударов городок, соберемся с силами и снова нагрянем. А пока будем сидеть, подойдет Илейка. Должно быть, он уже выступил из Якутска.

— Добре, атаман!

Хабаров перед походом велел Храпу написать в Якутск отписку о драке с богдойцами.

«...и марта 24 день, на утреней заре, сверх Амура реки славные ударила сила богдойская, все люди конные и куячные... Радеючи государю и помня крестное целование, не щадя лица своего против государевых недругов дралися с ними с Богдойским людами мы казаки саблями, и Божиею милостию и государским счастьем и радением и промыслом твоим, Дмитрий Андреевич, да Осип Степанович, мы казаки тех Богдойских людей на вылазке многих побили; и нападе на них Богдоев страх великий и, Божиею милостию и Пречистые Владычицы Богородицы и святого угодника Христова Николы Чудотворца, покажися им сила наша несчетная, и все достальные Богдоевы люди прочь от города и от нашего

бою побежали врознь; и мы казаки у них Богдоев языков переимали, да у них же Богдоев отбили мы казаки восьмсот тридцать лошадей и запасы хлебными, да у них же Богдоев отбили семнадцать пищалей скорострельных, а те их пищали по три ствола и по четыре ствола вместе, а замков у тех скорострельных пищалей нет, да у них же отбили две пушки железные, да восм знамен Богдойских...

И роспрося тех языков, круг того Ачанского города смекали, что побито?

Богдоевых людей и силы их 676 человек наповал, а наши силы казачьи от них легло от Богдоев 10 человек, служилых двое да волных казаков восм человек, да переранили нас казаков на той драке 78 человек и те от ран оздоровили, и кого убили у нас казаков и кого переранили, тому роспись под сею отпискою; и после той драки тех иноверцов не видали у города ни одного человека, где мы зимовали; и от того места сказывают до гиляк поплаву десять дней, а Гиляки живут до моря и круг моря...»

Выслушав отписку, Хабаров, смеясь, заметил:

— Красно, батя, написал, однако, ладана много. Выходит, не мы одёржали победу, а святые...

— Что ты, что ты, Ерофей Павлович? — вскинулся Храп.— Кошунствовать — грех великий. Не ты ли архангела в бою выручил?

— Вот потому и сказываю, что надобе казаков и служилых возвеличить. Тех, кто своим ратным трудом имя русского навеки прославил.

Савватей Храп согласился, но видно было — искал обидный намек. Конечно, батя не был героем, но первым заметил знамя у врагов и предупредил Хабарова. Угадав думы Храпа, атаман похвалил за душевность, за расторопность.

— Тароват, батя, тароват! Не отписка, а песня... Пусть будет так!

— Спасибо на добром слове, Ерофей Павлович! Спасибо — хорошо пастыря привечаешь, Христос тебя не забудет.

Собрали стрельцы и казаки свое добро и поволоклись на отсидку в городок Гойгудара, где их ожидали орочи.

Бедовали в пути стрельцы и казаки. Шли голодные и озлобленные, бечевой тянули струги против течения. По

лугам собирали черемшу, щавель и дикий лук. Донимали их оводы и комары.

Казаки обыскивали уцелевшие фанзы, но ничего в них не находили. На Хабарова все чаще и чаще сыпались злые упреки. Он давал торжественные обещания, но люди ему не верили. Закаленные в боях, черные от загара, оборванные и грязные, со шрамами и рубцами на теле, они знали, что им не миновать новых бед.

Землепроходцы все чаще и чаще вспоминали свою далекую отчизну. Родная земля представлялась им богаче и краше всей Даурской земли. Они могли бы вернуться, но слишком велика была обида на воевод и бояр, много было испытано горя. Заботясь о чести и достоинстве отчизны, они не хотели выказывать свои обиды чужим людям. Все тяготы и лишения на чужбине они переносили только ради своей заветной мечты — добыть волю и лучшую долю. В это верили, этим жили.

Стрельцы по-прежнему надеялись, что им удастся поселиться на облюбованных землях, и всячески угождали атаману. Между казаками и стрельцами происходили частые ссоры, росло недовольство. Томило Довбач замышлял даже бунт против Хабарова, но, чувствуя старость, не надеялся на свои силы. Он не хотел рисковать без Илейки и ждал его.

Пока добрались до города Гойгудара, много народу заболело и умерло. Дальше идти не хватило сил.

Хабаров отобрал два десятка дюжих стрельцов, взял в помощь себе сотника Треньку Чичегина и пошел добывать харчевые запасы у дючерских людей. Остальным велел строить избы, крепить город.

## 6

Когда все условленные сроки прошли, стрельцы, оставшиеся в Бакбулаевом городке, встревожились. Все знали Ивана Антоновича Нагибу как человека исполнительного, верного долгу и товариществу. Если проводчики не подадут о себе вестей, значит, на них напали маньчжуры. Выходит, китаец сказал правду. Надо быть начеку. Надо скорее плыть на понизовье, оказать помощь Хабарову и Нагибе.

Как только Иван Портняга приволокся с пушками,

свинцом и порохом, оставленными на Тугирском волоке, Терентий Ермолин, посоветовавшись с Петриловским и Жукком, отдал приказ грузиться на суда и поднять якоря.

В то время как суда готовились к отплытию, на берегу появился человек. Он махал руками и что-то кричал, но слова понять было трудно.

Илейка Жук сразу узнал Стенку Хорохоровского. Он кинулся ему навстречу. Соратники обнялись. Вокруг них образовалась толпа. Стрельцы вопросительно глядели на человека, искусанного гнусом, с красными, воспаленными глазами, с пистолем за поясом. Стенка сумел пробраться в верховья Амура один. По его словам, вся низовская земля всколыбалась, конные отряды богдойцев все чаще и чаще стали нападать на казаков. Многие дауры и дючеры ушли к ним, запуганные их погаными речами, будто бы богдойский царь собрал в устье Шунгала большое войско с огненным боем и пушками, никого ниже устья этой реки не пускает. Стенка передал просьбу Хабарова торопиться с подмогой.

Рассказ гонца озадачил Терентия Ермолина. Теперь у него не оставалось сомнения, что Иван Нагиба схвачен маньчжурами. Надо спешить.

— А сильно шалят богдойцы? — спросил Хорохоровского купчишка с кисой. Страх терзал его душу, и он подумывал, не вернуться ли ему назад. Но как вернуться? Об этом и подумать страшно. Он смотрел на Хорохоровского, как на человека особой породы.

— Да, тово, пошаливают, — ответил хабаровец. — Здесь держи ухо востро. Хотели богдойцы обидеть, да бог миловал.

Купчишка все допытывался, что да как. Своими вопросами он накалял и без того плохое настроение. Однако его вопросы в какой-то мере сыграли свою роль. Терентий Ермолин понял, что двигаться всем отрядом сразу нельзя, что надо выделить передовщиков, которые будут обнаруживать засады богдойцев, сообщать об опасности главным силам. Возглавить передовщиков мог человек смелый и сообразительный. Таков Илейка Жук. Его советы всегда оправдывались. Но Илейка Жук не был ратным человеком и не имел воинского звания. Артемий Петриловский — вот кто должен командовать отрядом разведчиков. Однако Петриловский, как выяс-

нилось, занедужил. Он охал и стонал, жалуясь на боль в пояснице.

— В ратном деле важны ум и отвага, а не звание. Ох! Ох!

— То правда, Артюшка, но звание дает власть. А без власти в ратном деле — погибель.

— У Жука есть власть — он проводник, а это звание поважнее многих чинов.

Вызвали Илейку Жука.

— Вот и время твое пришло, — сказал Ермолин. — Будешь передовщиком. Бери два легких струга и самых смелых стрельцов. Плыть шибче и с бережью накрепко, стоять на поплаве на якорях и с караулом. Обшаривать острова и протоки, находить вражеские засады и ползунов, держать связь с главными силами.

Илейка Жук был рад случаю ускорить плавание. Ему надоело бесцельное сидение, пустые ссоры между стрельцами и охочими, между ратными и купцами. Это были разные люди: одни думали о своих животах, другие хотели ратной службой загладить свои вины перед государем, третьи мечтали о вольной жизни на новой земле. А ему, Илейке Жуку, нужна Юргала и мирная жизнь всех народов. Ему ли бояться людей? Со всеми он умел находить общий язык. И любовь Юргалы не доказательство ли того, что люди созданы для счастья.

Поблагодарив за доверие и за честь, оказанную ему, Илейка, не мешкая, подобрал охочих и тронулся в путь.

Чтобы не разминуться с Хабаровым, он выслал вперед дозорных на легких челноках, велел обшаривать острова и протоки. Встречались сожженные города и улусы, заросшие бурьяном поля, обгорелые деревья. Лишь на лугах буйно зеленела трава, бил в лицо пахучий волнующий ветер. Тоскливо было на душе у Илейки, тяготило недоброе предчувствие.

«В Илеме, — думалось ему, — на Амуре, на Лене — все едино: плеть да аркан всякую спину найдут. Эх, всюду некорыстно живут люди...»

Кругом шумела ватага. Илейка перевернулся на спину и уставился в далекое небо, думая о своем.

У струга забулькала вода, на челноке подъехал дозорный, сообщил, что из ключевого распадка вышел человек, зачерпнул воды и ушел в чащобу. Илейка встал и распо-



рядился причалить к берегу. Гребцы налегли на весла, струги вздрогнули, закачались и вскоре зашуршали килем по песчаному дну. Казаки высадились на берег и по едва приметной тропе пошли в ущелье.

Возле утеса маячила кумирня, сложенная из плитнякового камня. Два камня были поставлены на ребро, а третий покрывал их сверху. В глубине помещалась дощечка с надписями и фарфоровая чашечка с брусничкой.

На большом плоском камне валялись огарки бумажных курительных свечей. Вокруг кумирни на кустах орешника болтались лоскутки кумача с надписями, посвященными духам гор и лесов.

Казаки заробели, стали оглядываться и заметили в чаще шалаш из бересты. Старик в круглой войлочной шапочке разжигал огонь. Увидев казаков, спрятался за дерево, потом схватил котелок и юркнул в шалаш.

Илейка заглянул в лаз. Оттуда в упор на него глянули узкие, косые глаза.

— Вылезай, колдун! У меня к тебе зла нет.

Притворно охая, старик выбрался из шалаша и с опаской поглядел на Илейку. Лицо его было изъедено в кровь гнусом<sup>1</sup>. Одежда состояла из ветхой меховой куртки и штанов из лосиной кожи. Спереди был привязан кожаный передник, сзади — барсучья шкура. За широким поясом из сыромяти, у правого бедра, был заткнут большой кривой нож, болтались костяная палочка, мешочек с кремнем и огнивом.

— Ты кто такой? — спросил Илейка.

— Я искатель корня жизни. Я ищу женьшень<sup>2</sup>.

— Давно колдовством промышляешь?

— Двадцать солнц один промышляю. Много корней я нашел за это время. Я — мирный человек.

— Не видал ли людей каких?

— У меня косы нет, я — отверженный. Меня люди боятся, я один ищу свое счастье.

— Мы тоже ищем счастье. Айда с нами! Мы тебя приютим и согреем... Ну?

<sup>1</sup> Гнусом в Сибири называют комаров, мошек и оводов.

<sup>2</sup> Женьшень — многолетнее травянистое лекарственное растение из семейства аралиевых. В диком виде женьшень встречается в Маньчжурии, Корее и в советском Приморье. Корень женьшень возвращает человеку силу и свежесть.

Женьшенщик смотрел, остро напрягаясь, как бы пытаясь проникнуть в тайный смысл услышанных слов. Он верил и не верил. Казаки ободряли его и предлагали дружбу. Глаза женьшенщика встретились с глазами Илейки, взгляд искателя дрогнул радостной улыбкой. Отступив назад, он выкинул вперед руки, крепко стиснул руки Илейки, потряс их, нагибаясь и засматривая ему в глаза.

— Доброту твою не забуду. Может, и я сгожусь когда,— сказал он.

Старик подвесил к поясу котелок и, опираясь на палку, пошел к реке. Люди двинулись за ним. Он то замирал, втягивая жадными ноздрями пахнувший прелью воздух, то на ходу нагибался к самой земле, всматриваясь в густые заросли. Вдруг он остановился, неотрывно глядя на высокий мочковатый куст с пятипальными листьями. Каждый лист состоял из пяти листочков, из которых средний был длиннее, два покороче, а два крайние — самые короткие. То был женьшень, корень жизни, царь всех растений. Старик испугался и обрадовался. Он бросил палку и пластом растянулся на земле.

— Я давно искал тебя! Не уходи от меня, женьшень! Не уходи, я чистый человек!

Казаки глядели на него со страхом и любопытством, иные осенили себя крестным знамением. Старик встал, осмотрелся и, видя, что ему не мешают, подошел к мочковатому кусту. Он опустился на колени, сложил руки ладонями вместе, приложил их ко лбу, дважды сделал земной поклон и после этого принялся за работу. Он отвязал костяную палочку, взрыхлил землю и осторожно вытащил каждый отросток корня. Илейка подошел и недоверчиво покосился на него.

— Гляди, худого не колдуй!

Старик смущенно улыбался, переполненный счастьем, держа в руках заветный корень, который он искал много лет и наконец нашел его возле своего жилья. Радости его не было предела, он заговорил горячо и возбужденно:

— Я нашел корень жизни. Радость моя сверкает, как чешуя рыбы, как перья золотого фазана. Это вы, удачливые люди, принесли мне счастье. Теперь нам не страшны никакие беды.

Люди сгрудились вокруг него. Женьшенщик показывал им корень жизни, смеялся и плакал. Успокоившись,

старик насобирав сучьев, повесил над огнем котелок и стал варить корень.

Казак терпеливо ждали, следя за каждым его движением. Когда корень сварился, старик снял барсучью шкуру, перевернул мездрой вверх, посыпал ее порошком из весенних кровяных рогов оленя, вытащил корень из кипящей воды, разделил на части и начал катать шарики. Он спрятал шарики в берестяную коробочку.

— Теперь можно ехать, будет удача, — сказал он.

Люди повеселели, веря в счастливый исход.

Плыли. Навстречу бежали пустые берега, горы и перелески. На песчаных отмелях охотились за куликами желтые выпи. Когда струги приближались, выпи забивались в траву, вытягивали шеи и, подняв головы кверху, замирали.

Илейка лежал на животе и глядел то вниз на смоленый нос, как он скользил по воде и как вода, струясь, разбегалась под ним, то вперед, в голубоватую дымку. Илейка неотступно думал о Юргале. Полузакрыв глаза, мысленно целовал ее, говорил ей горячие слова. И ему тут же представлялся Хабаров. Сердце сжимала тревога. Илейке стало трудно бороться с охватившими его мыслями. Он повернулся лицом к женьшенцику и, чтобы отвлечься, спросил:

— Все тайны тебе известны. Ты — мудрый и много знаешь. Ты дружишь с духами. Скажи, колдун, что стало с моей Юргалой?

И рассказал старику о своих опасениях. Женьшенщик переживал радость находки, однако тоскующий взгляд Илейки вызвал в нем сочувствие.

— Я могу вернуть силу и молодость. Я могу залечить раны. А что стало с твоей Юргалой — не знаю.

— Я убью тебя, колдун!

Илейка ожесточился, пальцы его сжались, и в глазах появился злой огонек. Женьшенщик понял, что с ним не шутят.

— Убить может всякий, а можешь ли ты дать жизнь? Ты убьешь меня и ничего не узнаешь. А моя жизнь, как видно, похожа на твою жизнь. Я тоже был молодым, было и у меня горячее сердце... Хан Иженей отобрал у меня жену, а мне отрезал косу, и стал я отверженным. Меня хотели убить, я ушел в тайгу и стал искать корень жизни. Я один искал свое счастье, ты обласкал меня.

Рассказ женьшенщика тронул и взволновал Илейку, он сказал:

— Ты, колдун, на меня не гневайся. Я погорячился... Я дознать хочу, меня дурные мысли изводят.

Смеркалось. Над рекой поднималась свежесть ночи. На небе зажглись звезды. На вершину неба взошел месяц и опрокинул в темные воды Амура свои богатые дары. Все засверкало. Уплывали чужие берега, вставал голубой, приветливый остров счастья, на нем невиданной окраски цветы, а среди цветов белокаменные палаты...

Дозорный будил Илейку долго и настойчиво. Илейка приподнялся на локте.

— Тебе чего? Откуда? А-а, это ты, Богданка.

— Будя спать! Очнись! Эх тебя сморило.

Илейка отмахнулся от него и снова закрыл глаза.

— Да ты встань-ка! Как будто стан впереди?

Илейка вскинулся, впился глазами в далекий мысок. Были видны огни. Он расставил широко ноги, заложил два пальца в рот и засвистел. Гребцы встали у весел.

— Правь на огни! Угребай шибче!

Гребцы опустили на воду весла. Струги рванулись, закрутилась вода. Огни на мысу колебались.

Небо поднималось все выше и выше, шире расплывалась заря, становился звучнее воздух, обозначалось яснее становье.

На мысе кучился народ, дробились голоса. Потом полетели вверх шапки и чекмени, раздались выстрелы, громом голосов заполнилось утро.

Илейка стоял во весь рост. Он угадывал своих соратников и ждал, что Юргала вот-вот выбежит, встретит его горячей улыбкой. Однако среди ликующих ее не было. Сердце Илейки тревожно сжалось.

Одним скачком он вымахнул из струга. Чеботка Базан молча схватил его в свои руки, обнял и, торжествуя, воскликнул:

— Ого, вырос наш Жук больше медведя!

— Полегче жми, дай перевести дух.

Посыпались радостные голоса:

— Здорово, удалые! Как ехалось?

— Ехать было в наволок, да черт дорогу заволок.

А мы рога черту сломали и сразу вас увидали.

— Тю-ю-у... да, никак, ты, кум?

— Я самый, чуй весть!

— Эх, не любя весть, коль нечего есть!

— А мы-то рады, мы рады...

Все вдруг размякли и подобрели. Даже женьшенщика приняли как своего: обнимали, хлопали по плечу, расспрашивали, но он только низко кланялся всем и благодарил за ласку.

Возле Илейки казаки сгучились, поздравляли, выспрашивали, трясли за руку. Перед ним мелькали знакомые лица, но не было Юргалы, о которой он думал, которую искал.

Томило Довбач подошел и смущенно затоптался возле него. Илейка заметил по его растерянному лицу, что он хочет сказать что-то важное для него, но боялся спросить и ждал.

— Илько, голуб мой... Илько, эх!..

Томило Довбач закашлялся, закричал и махнул рукой. Илейка не выдержал:

— Ну сказывай, что ли! — закричал он дрогнувшим голосом.

— Мне, Илько, дюже прискорбно... Ох, кашель давит...

Кырса пробил себе в людской гуще дорогу, обнял Илейку как сына.

— Кырса, говори, что и как?

— Хабарошка твою бабу сгубил. На огне сжег, а мне тебя жалко...

Илейка отпихнул его от себя, скрипнул зубами и замотал головой. Томило Довбач, всхлиывая, сожалеюще хлопнул себя по штанине.

Стоять Илейке стало трудно, он сел на камень и закусил губу. На лбу у него выступила испарина. В голове что-то зашумело, какая-то невидимая сила бросала его из стороны в сторону. Сквозь тяжелую расплывчатую муть он увидел перед собой лицо Юргалы, но ему было трудно различить черты. Потом все слилось, закружилось, развеялось, и снова появилась Юргала, но так далеко, что его охватило отчаяние. Друзья звали его по имени, ободряли, но он не узнавал никого. Коричневая кожа на лице его отливала синевой, из ввалившихся глазниц устало смотрели черные сухие глаза.

— Дайте вина!

Томило Довбач мягко положил ему на плечо узловатую руку.

— До вина ли нам... Упиваемся бедами, опохмеляемся слезами. Атаман пошел за добычей, а мы маемся и терпим великую нужду.

Казачи и стрельцы заговорили все сразу. Всяк старался высказать все, что наболело, что тяжестью лежало на душе.

— Все мы здесь на одного хозяина работники.

— Меньше говори — больше услышишь!

— Лес сечь, не жалеть плеч. Посадить бы атамана в мешок, да в воду.

— За такие слова голову срубят.

— А может, челобитье учинить?

— Верна-а!

— Нет, не верно! Ворон ворону глаза не выклюет. Атаман с воеводой в сговоре.

Слово за слово, и завязалась ругань. Стрельцы стояли за челобитную и за мирное сидение на осваиваемой земле. Казачи — за измену Хабарову и за волю. Двое начали драться, остальные бросились помогать своим, и пошла потеха.

Сердечная боль Илейки потускнела, растворилась в круговой горе. Он молча вслушивался в споры стрельцов и казаков. В конце концов у него создалось ясное представление о том, что надо делать. Не выдержав, крикнул:

— Стой! Думай головой, а не седалом!

— А мы без вас, умников, обойдемся. Мы тут жили и будем жить, — ответил ему ближний стрелец и стал засучивать рукава.

— Илько, дай ему по сопатке!

Илейка шагнул стрельцу навстречу, подставил грудь для удара и своей смелостью его обезоружил. Драчуны расступились. Степан Поляков повел мутными глазами и сожалеюще сказал:

— Эх, спел бы я песню, да слов новых не знаю, а старые не по времени.

Илейка посмотрел ему в глаза, оглянулся и радостно потер руки, испытывая такое чувство, будто перевалил гору.

— Я знаю ту песню, — воскликнул он громко, чтобы привлечь внимание.

— Сказывай. Мы тут головы растеряли.

— Атаман с воеводой в сговоре! — выкрикнул Илейка.

— Оголодаем, коли зачтут измену в укор, — возразил ему рябой стрелец.

— Либо полон двор, либо корень вон! Сказывай, Илько, послушаем!

Илейка взобрался на камень.

— Люты богдойцы, а воеводы да атаманы люты не менее. Сказывала Юргала: на море есть жилые острова. Там тепло и сытно, прожить будет способно... Метнем-ка туда и заживем советно да вольно. Под началом ни у кого не будем.

Стрельцов охватил страх. Казаки подняли головы и с надеждой устремили на Илейку глаза.

— А кабаки есть на островах?

— Был бы харч, а кабаки будут!

— Довольно языки чесать. Поплыли!

— А мы не хотим плыть, мы хотим под началом у Хабарова быть.

Спор между стрельцами и казаками разгорался, готовый снова вылиться в драку. Илейка выхватил из ножен меч и начертил им на земле линию.

— Вольному — воля, удалому — легкий путь. Кто за вольность, гуртуйся сюда! Кто трусит, отходи прочь!

Прошла минута-другая. Первым перешел черту Томило Довбач, за ним Степан Поляков, Чеботка Базан, Кырса, потом потянулись и те, кто приплыл с Илейкой из Якутска, и другие. Орочи посовещались и тоже пристали к Илейке. Туронча сказал:

— Мы жен своих потеряли и хорошей жизни не наши. Мы пойдем с тобой.

Всего набралось около сотни человек. Стрельцы заупрямились, но их было мало, и они, боясь быть обвиненными в бунте, разбрелись по избам. Томило Довбач подал голос:

— Коли плыть, то надобно нам атамана.

— Илейку Жука!

— Люб али не люб?

— Люб! Пусть Жук атаманит! Верный человек!

Томило Довбач посоветовал:

— Нас мало, а путь дальний. Пусть круговая клятва скрепит наши помыслы и дела.

— Дедун правду сказал. А где батя Савватей?

— Батю немочь трясет.

— Притворяется, корявый хрен!

Ватага повалила к избе и зашумела. У порога появился Саватей Храп, недоумевая скосил глаза, застонал и заохал. Илейка подошел к нему, оглядел его испытующе.

— Ты чего, батя, такой ненастный? Почто гостей не привечаешь?

— Да вот горюю все. Ломота изводит, трясушка одолела.

— Хворь не беда и делу не помеха. Не люб нам атаман Хабаров, хотим сами себе доли искать. Айда с нами!

— Что ты! В уме ли? То грех великий.

— Грех с орех, а ядро в рот!

Саватей трусцой пробежал в угол, надел пастырское облачение и вышел с крестом.

— Слушайте, добрые стояльцы за веру христову и землю русскую! Воздавайте богово богу, а кесарево кесарю, и будет уचितное житье. Стоит ли, братушки, бога и царя гневить?

Томило Довбач подступил к нему и пытливо глянул в глаза.

— Ты языком не блуди. С нами аль против нас?

— Немочен я, братушки, боюсь, как бы хворь моя не умножилась.

— Давай стяг боевой и крест, обойдемся и без тебя.

— На беду идете, братушки!

— Давай, а не то узнаешь становье раचे.

— Я худа вам не желаю. Возьмите!

Илейка взял в одну руку крест, в другую знамя с ликом Михаила-архангела и обратился с призывным словом:

— Поклянемся стоять за братство и вечную вольность! Постоим за нашу землю!

Казачи подходили под знамя, целовали крест, давали клятву жить миром, под властью воевод не быть, живыми не даваться, стоять все за одно.

Казачи скрепили дружбу братским круговым поцелуем, сели в струги.

— Что же такое вы творите? — завопил стрелец с бельмом и заплакал. — Мы за вас в ответе перед царем и перед богом.

Глядя на него, заплакали и другие, жалобясь на свою судьбу.



— Бога вы не боитесь.

— Бог-то бог, да и сам не будь плох! Каждая птичка свои песенки поет. Вы — свои, а мы — свои.

Видя, как плачут стрельцы, Илейка Жук оставил царскую казну. Она была не нужна в новом краю.

— А ну хватай! — закричал Поляков и выкинул кожаный мешок с казной на берег. Вдобавок выбросили часть снаряжения, порох и свинец. Вольным ничего не жаль: они не думали ни торговать, ни воевать. Им хотелось жить без кабальной пегли на шее. Потому-то так и щедры были.

Тех, кто сопротивлялся, оказавшись в стругах, связали, но двое стрельцов, боясь нарушить присягу, в одних рубашках бросились в воду и побрели к берегу.

Струги отчалили, и течение подхватило их. Толпа на берегу вопила и стонала.

«Все кончилось, будто оборвалось... И о чем жалеть, о ком печалиться?» — подумал Илейка, стараясь забыть свое горе.

Ветер ерошил воду, на берегу горбатились талы. На пенистых гребнях плясали струги, студеные брызги обдавали лица казаков, стекали и висли на ресницах и кудрявых чубах.

Чайки снимались с воды, перелетали друг через друга и опять садились рядом, стараясь ударить одна другую клювом или отнять пойманную добычу.

Спустя неделю землепроходцы увидели остров. На песчаной отмели лежали перевернутые вверх дном, сшитые тальником, лодки-берестянки. Чеботка Базан поглядел из-под ладони:

— Может, спробуем?

Степан Поляков поддержал его:

— Оно не худо бы, харч на исходе.

Илейка встал и, хрустнув плечами, потянулся. Казаки просили, настаивали, требовали. Илейка согласился.

— Коли воля на то круговая, правь к берегу. Стоять всем за одно, мирных не трогать. Все согласны?

— Согласны!

Весла поднялись, остановились и разом плеснули по воде; струг дернулся так, что Илейка качнулся и чуть не свалился в воду.

Причалили дружно. Казаки отряхнулись и, крадучись, пошли по утоптанной тропе.

На лугу они увидели юрты из бересты и амбарушки на высоких столбах. На стойках из жердей сушилось много рыбы.

То было гиляцкое становье.

Князь Мингалча сидел на поваленном стволе дерева. Голову его украшала шапочка из меха козули с торчащим беличьим хвостиком. Одет он был в длинную рубаху с узорными вышивками, подвязанную так, что получался напуск в талии. Штаны, наколенники и унты были из рыбьей кожи. Он что-то говорил. Старики слушали его рассказ, посасывая трубки. Детвора каталась верхом на медведе, доносился звонкий беспечный смех.

Похожие на волков собаки лежали у юрт, высунув языки. Гилячка несла на голове берестяной туюс с водой и шла прямо, ровной походкой, опустил глаза на землю. Другая сидела на корточках и деревянным ковшом медленно наливала в котел воду. Женщины хлопотали у костров, поджаривая на огне сухую рыбу.

Казаки залегли в траву и стали смотреть на становье.

Илейка раздумывал, его брала оторопь. Кырса подполз к нему:

— Надо идти... все ладно!

— Может подвох быть.

— Подвоха не будет. Я знаю. Юрт много, лодок мало... Нет острог, нет шестов, нет весел. На стойбище старики, дети и женки. Молодые промышляют, остальные ждут.

Чуронча подтвердил догадку Кырсы.

— Ну, айда! — позвал Илейка.

Казаки поднялись и пошли за ним. Заревел медведь, злобно залаяли собаки. Гилячки подхватили детей и спрятались в юрты. Только старики не сошли с места и продолжали курить, будто все, что происходило, их совсем не касалось. Они надеялись на свою старость и на честность пришельцев.

Казаки подошли к старикам и молча поклонились. Мингалча встал, не спеша вынул трубку и, хитро посматривая, спросил:

— Что вы за люди?

— Мы люди вольные, к морю путь держим. Торговать хотим.

— До моря далеко, а зима близко. Не доплыть.

— Доплывем. Снабди нас только харчами.

Мингалча посоветовался со стариками, те зашелкали языками и согласились. Мингалча сказал:

— Вернутся охотники с промысла — дадим харчей, а пока у нас живите.

Казачи рассыпались по юртам. Они свято блюли уговор: вели себя смиренно, давали детям подарки, ничего не требовали взамен. Гилячки щедро кормили их вяленой рыбой, черемшой и лепешками из толченой высушенной брусники и черемухи, предлагали любовь и дружбу.

## 7

Стрельцы в тайге нашли сбежавших дауров и дючеров, сбитых с толку маньчжурскими сборщиками, усталые, расстроенные, вернулись на становье. Был не в духе и Ерофей Хабаров. Он призывал дауров и дючеров возвращаться на свои земли, сулил дружбу и мир, обещал защиту, но дауры не верили обещаниям. Возвращаясь, Хабаров досадовал на себя, думал, как выйти из беды.

Савватей Храп встретил его у ворот и отозвал в сторону.

— Поганец Жук изменил тебе, отобрал хоругвь войсковую и крест, отъехал на понизовье искать учтивое житье. В скопе с ним все твои согласники.

В лицо Ерофею Хабарову ударила горячая кровь, вздулись и задрожали на шее посиневшие жилы. Не говоря ни слова, он шагнул к попу и ударил его кулаком по затылку. Савватей Храп попятился, потер ушибленное место и обидчиво спросил:

— За что бьешь?

— В тягость ты мне дался, только шкодить и умеешь. Удержать надо было.

— Я упреждал. Так, мол, и так...

— Замолкни, травяной мешок!

Хабаров топнул ногой и стиснул зубы. Он был потрясен, узнав, что Илейка покинул его. Он то загорался бешенством, то начинал слабеть. Земли дауров и дючеров уже были под его властью, оставались незамирными только низовья Амура, земли гиляков. Хабаров думал

поселить своих людей и верных ему местных жителей Амура и на этих землях. Теперь предстояла битва со своими же казаками, которые пошли против его воли. Он знал, что бороться с ними будет трудно. Наступали дни, когда могла померкнуть его слава. Он решил беспощадно отомстить казакам за измену и все свои надежды возложил на стрельцов, которые должны приплыть вслед за Жуком. С их помощью можно усмирить бунтовщиков и укрепиться на берегах Амура, в случае если бы богдойцы опять вздумали напасть на острожек.

Он писал воеводе, будто бунтовщики не захотели жить оседло и заниматься хлебопашеством, как он им советовал, а предпочли вольную, разбойную жизнь и забрали много казенного добра.

Савватей Храп писал под его диктовку, слово в слово.

— То все исписал? — спросил Хабаров, глядя, как Храп, склонив голову набок и высунув кончик языка, водил гусиным пером по шершавой бумаге.

— Справчиво написал, как ты говоришь, Ерофей Павлович.

— А ну перечти! Складно ли?

Савватей Храп перечитал отписку.

Хабаров велел припечатать отписку смолкой. Сообщая о бунте, он хотел выпутаться из долгов, и namного преувеличил взятое повстанцами.

Отписка не на шутку встревожила Дмитрия Зиновьева. Надо было принимать срочные меры. Умолчать об этом перед царем было нельзя. Дмитрий Зиновьев решил ускорить свою поездку на Амур, к Хабарову, чтобы разобраться на месте с неприятным делом. Он писал царю: «А в Дауры, государь, послано до нашего, государь, холопей твоих приезде, во 157 и во 158 и во 159 и во 160 годах, по наряду, Якутцких служилых людей пятьдесят шесть человек, oprичь тех новоприборных, которые в Дауры ж отпущены с Ярком Хабаровым 294 человека, и из тех, государь, служилых людей, которые посланы в Дауры, с октября с 24 числа августа по 23 число нынешнего года, ни один человек не бывали; да и вперед де, государь, те Даурские служилые люди в Якутцком ко твоей государевой службе не надежны, потому, что государь, по отпискам Хабарова, каковы статьи посланы из Якутцкого к тебе государь в нынеш-

нем во 161 году с казаком с Сергушкою Андреевым с товарищи, меж Даурскими служилыми людьми учинена рознь... пошли надвое, и как идучи те Даурские служилые люди и вместе были и тем, государь, служилым людем Даурцы были не в мочь, потому что, государь, у Даурцов много огненного бою».

Сообщая царю о бунте, Зиновьев рассчитывал, что Алексей Михайлович пошлет на Амур регулярное войско, кроме того, он ожидал еще больших полномочий и царской награды.

...Терентий Ермолин и Артемий Петриловский, узнав, что Илейка Жук повздорил с Хабаровым и покинул становье, немало удивились. Не менее был поражен и Хабаров, когда узнал, что Терентий Ермолин и Артемий Петриловский получили звания приказных людей Амура. Это ему очень не понравилось. Его самолюбие было уязвлено. Еще более оскорбился атаман, когда узнал, что Никифорка вернули с волока в Якутск и посадили в тюрьму за долги. Брат взял деньги у окольничего не для себя, а для общего дела. На эти деньги было куплено снаряжение для отряда, построены винокурни.

Приняв казну по описи, сличив именные списки стрельцов и охочих людей, Хабаров дал понять Ермолину и Петриловскому, что на Амуре он полновластный правитель и волен решать дела по своему усмотрению. Зная вертлявый и неверный нрав племянника, атаман не обращал на него внимания и подчеркивал свое к нему нерасположение. Это выводило Петриловского из себя. Племянник ждал удобного случая, чтобы посчитаться с заносчивым дядей.

Терентий Ермолин был более снисходителен к Хабарову. Пока атаман пользовался доверием Зиновьева, нельзя ему перечить. Однако ссора все же произошла.

Терентий Ермолин полагал, что надо не бунтовщиков усмирять, а искать Ивана Нагибу.

— Я за твоих людей не в ответе. Нагиба расплылся со мной, а может, и не хотел встречаться,— ответил Хабаров.— Мы его грамотку нашли повыше Шингалу.

Это был обидный намек. Иван Нагиба не мог изменить.

— Надо бы розыск учинить... Неведомо, жив ли казак или мертв...

— Мне недосуг розыск учинять. Мне воров наказать надо. Не накажем воров — зачтет царь в укор.

Петриловский напомнил, что они имеют те же права и звания, что и он.

— Государь мне доверил даурское дело, а не вам. Я в ответе.

— О том покажет время, — наемкнул Петриловский, давая понять Хабарову, что царь не доверяет правителю Амура. Это задело большее всего. Потому-то и старался Хабаров наказывать бунтовщиков, что знал за собой многие вины. Не накажешь воров — царь вспомнит все долги и обиды.

Убедившись, что Хабаров не поступится своим решением, Ермолин сообщил, что ему велено идти к богдыхану и вести с ним переговоры. Хабаров был иного мнения. Он считал, что время упущено, что послы не выполняют своей задачи, а будут убиты в устье Шунгала, где стоит богдойское войско. Послов могли перехватить и бунтовщики Илейки Жука. Он настаивал плыть на понизовье, наказывать бунтовщиков, а раскаявшихся взять с собой, увеличить за их счет свои силы. Победа сделала его самонадеянным.

Ермолин утверждал на своем праве идти в Китай. Он должен проникнуть в загадочную страну и договориться о мире и торговле. Правда, после беседы с Кабышейкой и никанцем, раскрывшей коварные замыслы богдойцев, надежд на удачу было мало.

Отказать Ермолину в законном требовании Хабаров не имел права. Это он понимал. Но можно убить сразу двух зайцев: узнать о Никанской земле, а в случае неудачи — избавиться от настойчивого советника. Он рассчитывал еще и на то, что, пока послы будут добираться до столицы Китая, маньчжуры нападать не будут.

— Правда посольская победила ратную правду, — сказал Хабаров. — Бери десять человек, кто люб и надежен.

— Правда слова сильнее оружия. Вот потому-то и победила моя правда.

— Ну! Ну! Бог да поможет тебе в твоём добром зачине.

Однако отправить послов в Китай оказалось нелегким делом. Князь Чуронча, бывший аманат, живший на своих землях, вызванный Хабаровым, мялся и лукавил.

— Почему твои люди не соглашаются сопровождать нашего посла? Разве вы не хотите миром жить и дружить с нами?

— Мы не можем быть проводниками... Богдойская земля с вами задралась... нынче к вам будет войско большое, тысяч в десять и больше. Как же нашим людям вашего посла взять? Богдойцы ваших послов не отпустят, а вы нас побьете.

Сыновья Чурончи — Омутей и Кокурей, всегда призывавшие ясак за отца аманата, теперь остались далеко в поле, а ясак прислали с батраками. Хабаров послал к ним казаков, приглашая в острожек. Однако Омутей и Кокурей не приехали. Положение осложнилось. Надежды на мирный исход было мало.

Утром Хабаров приказал позвать сотника и велел собираться в новый поход.

— Воров догнать надо. Все, кто мочен, — на струги. Тренька Чичегин, радуясь, что атаман оказал ему доверие, тотчас же оповестил десятских.

— А ну, торопись! Волокись на струги!

Но стрельцы усердия не выказали. Они не спеша собрались на берегу и стали рассуждать о тяготах своей жизни.

— Топчемся, маемся... Нам бы теперь опочить малость и в добре пожить.

Хабаров вошел в круг и строго посмотрел на воинов. Стрельцы умолкли, избегая его взгляда.

— Хотите жить на вольной земле, ухари!

— Дюже хотим. Да не все то можется, чего хочется.

— Так слушайте! Не накажем воров, царь нас не помилует. Не забывайте: царь шлет жалованье, шлет хлеб и справ боевой. Не будет нам милости, коли воров простим. Думайте!

— Думали и передумали, а конец всем один.

— Неволить не стану, коли что — пеняйте на себя. За мной, кто хочет в добре быть.

Савватей Храп с большой частью стрельцов остался на станове, другие позарились на хорошую жизнь, погрузились в струги и поплыли вдогонку за казаками.

Осень дышала дождем и ветром. Амур злобился и стегал волнами в борта стругов, обдавая стрельцов водяной пылью. С переднего струга то и дело покрикивал Ерофей Хабаров.

— Не дремли! Ухари! Держать за моим стругом!

— Держи-и-м!

Плыли ночью и днем, обшаривали берега. На полпути повстречали охотничьи лодки-берестянки. Гиляки пытались высадиться на берег, но стрельцы заполонили их.

— Куда путь держите? — спросил Хабаров старого гиляка и так посмотрел на него, что тот растерялся, и голос у него задрожал:

— Отпусти нас, мы торговые люди. Мы товар везем... Много везем.

Гиляки поплыли за стрельцами.

## 8

В очагах потрескивал огонь. Под закоптелыми сводами юрты стлался дым, медленно выходя в отверстие крыши. Ветер коробил бересту, завывал в таежной глухомани. К вою ветра примешивался храп казаков, снились им дремучие сны. Но многие не спали, перекидывались короткими словами, отводили душу:

— Погано тут!

— Мне бы женочку, жил бы и тут.

— А я сознаюсь: надоело мне смерть за спиной таскать.

Степан Поляков в тоскливой задумчивости слушал жалобщиков, и ему стало не по себе. Глаза его вспыхнули.

— Об чем горюете? В брюхе хоть и солома, зато шапка с заломом.

— Ты, Степанка, все шутишь, а шутики нынче плохие. Куда ни кишь — все клин...

— А ты не думай, пока дух в теле держится.

Женьшенщик посасывал трубку, вслушивался в чужую речь и думал о своем. Кырса, не спуская глаз, смотрел на него. Тот изредка забывался в сладостной своей мечте и улыбался тоже.

— Все, друг, ладно... Плохо, что огненной воды нет. Сделай, друг, воду, веселая у нас пойдет жизнь.

— Рад бы, да не умею. Я могу вернуть силу и молодость.

Мынгалча сидел у огня и курил. Узкие глаза его выражали покой и хитрость. Илейка Жук попрекал его:



— Прожили мы здесь много, а людей твоих все не видно. Правды в тебе нет.

Мингалча не спеша вынул изо рта трубку, сплюнул на огонь.

— Зверь в рот сам не прибежит, его поймать надо. Мы хорошим гостям рады. Живите!

— Поживем еще, но гляди: обманешь — ругаться начну!

Томило Довбач лежал на шкуре медведя и прислушивался к стонущему вою ветра. Его кости ныли. Он истощил силы в бесплодных скитаниях и боях и теперь любил коротать время в одиночестве, остро чувствуя старость и близкий конец.

Полузакрыв глаза, он лежал не шевелясь, только узловатые пальцы перебирали складки чекменя, и вся многотрудная его жизнь проходила перед ним. Как коротка и бедна оказалась эта жизнь, несмотря на то что прожито восемьдесят пять лет, и как много в ней было тяжелого и горестного! Почему-то чаще всего его мысли обращались к Илейке. Все, что связывало его теперь с жизнью, заключалось только в сыне. Томило не хотел, чтобы жизнь Илейки была похожа на его жизнь. Ему стало трудно бороться со своими смутными мыслями. Он повернулся и заговорил:

— Засеяли удалые головы землю, сдобрили ее, сердечную, своею кровью, а житья учливого не нашли. Эх!

— Ты об чем колдуешь, дедун?

— Сердце зашлось... Чую, недалеко ходит моя смерть.

— Что ты? Тебе еще долго жить. Мы еще славно поживем!

— Нет, Илько! Сколь веревку ни вей, быть концу. Погулял и победовал, а сладости не нашел. Живу и не знаю, для чего живу. Через то меч казацкий из рук вываливается и сердце сохнет.

По его обожженному сибирскими ветрами морщинистому лицу покатила слеза.

— Не жалобься, дедун... Теперь дорога прямая... До-станем харчей — и в путь. Колдун вернет тебе силу и молодость. Ради тебя и прихватил его.

— Изверился я... Может, вы и поживете, а я уже отходил свое... Вещует сердце беду.

Жмурясь, вошел Чеботка Базан. Был в дозоре.

— Эй, удалые, как будем принимать гостей?

— Не бреши!

— Жалует к нам сам атаман Хабаров. Чул его голос.

Томило Довбач вдруг ожил. Он быстро надел на себя ратные доспехи и сказал:

— Знаю, зачем жалует. Надевайте сбрую! Мечи наголо! Встретим гостей по-казацки!

Он выхватил из ножен меч и вышел из юрты. Казаки кинулись к другим юртам и разбудили спящих. Гиляки и орочи тоже сбежались на сполох.

Весть быстро разнеслась по становью. По тайному указу Илейки женьшенщик и Кырса незаметно отделились от казаков и побежали к реке, чтобы сплавить струги в безопасное место.

Ветер улегся, и было тихо. Умытое дождем небо было ясно и строго, расплывалась заря, белее становилось матовое серебро росы, звучнее лес. Луг лоснился неспитанной влагой. Илейка Жук взобрался на валежину.

— Помни всяк, что идем за правду и волю. Бейтесь, не щадя голов!

— Знаем!

— А вы, гиляки, и вы, орочи, бейтесь за свою землю, за своих женок и детей.

— Будем биться!

Хабаров увидал Илейку и подал команду. Лавой побежали стрельцы на приступ.

Томило Довбач поглядел на стрельцов, ссутулился, но снова выпрямился.

— Переведаться будет с кем,— сказал он.— Пришло, видно, и мне погулять на славу. Натешься же, казацкая душа, в остатний раз. За мной, удалые!

Началась сеча. Гуляли мечи, летали пули, пушки изрыгали смертоносные ядра. Там и тут мелькал красный верх собольей шапки Томилы Довбача. Увидев на холме Ерофея Хабарова, он лягнул зубами и пошел прямо на него. Он покрикивал, рубил с правого и левого плеча, в бою потерял шапку и наплечники. Волосы его развевались, как львиная грива.

Тренька Чичегин понял его намерение, подпустил вплотную и приложил кремневку к плечу. Грохнул выстрел... Томило Довбач сгоряча подбежал к нему и расклинил его надвое, от плеча наискось до пояса, но меч поднять не смог, зашатался, ухватился за грудь и повалился, медленно клонясь, как подрубленный дуб. Стре-

нительно пробежали казаки. Илейка задержался возле Томилы Довбача, склонился над ним:

— Дедусь, что же ты? Дедусь, вставай!

Томило Довбач приподнял веки, блеснул очами, тяжело вздохнул. На лбу выступил крупный пот.

— Илько, время мое доспело...

Он весь сжался, потом распрямился. Из груди его вырвался такой глубокий вздох, какой бывает у человека, сбросившего с плеч непомерную тяжесть. В последний раз устало потянулся и затих. Угасая, лицо становилось все строже и суровее. Большие зеленоватые глаза неподвижно уставились в небо, словно хотели разгадать какую-то тайну.

Илейка опустился на колени, чтобы в последний раз рассмотреть и запомнить родное лицо. Он поцеловал его в холодеющие губы. По его лицу скатилась слеза.

— Спи, дедун, отец мой названный. Спи да не печалуйся, я за волю постоять сумею, я твое дело доделаю.

Потрясенный смертью отца, Илейка не замечал, что происходило вокруг, а когда поднял голову, не удивился тому, что увидел. Трупы убитых лежали вокруг него. На холме люди сгрудились, колыхались в схватке, как под ветром. Горстка казаков, вопя и скрежеща зубами, косила стрелецкие головы. У юрт взвизгивали и выли бабы.

Стрельцы окружали гиляков и орочей. Туронча звал на помощь. Стрелецкая пуля сразила его. Чеботка Базан кинулся на выручку, но и его окружили стрельцы, хотели взять живым. Он вертелся среди них и отбивался как мог. Подкосил одного стрельца, но другой встал на место убитого и подставил кремневку. Меч ударился о железо и рассыпался на куски. С криком накинудись на Чеботку стрельцы, повалили навзничь, топтали ногами, крутили руки.

Кырса закрыл руками голову и торопко побежал в чащу. За спиной казаков он вместе с женьшенщиком стал готовить струг к отступлению.

Качаясь, выбрался из гудевшей гущи Степан Поляков, наткнулся на Илейку.

— На гибель идешь!

Илейка его не послушал. Он сжал рукоять меча до боли в пальцах и пошел рубить направо и налево.

— Нас обошли! Выручай, братаны! — крикнул молодой кудрявый казак.

Крик отчаяния был подхвачен многими казаками. Илейка опаматовался и повернул назад, стараясь прорубиться сквозь густые ряды стрельцов. Близко в упор он увидел страшную муть чужого лица. В глаза метнулся разящий на взлете меч. Сталь обожгла левое плечо. Но Илейка уже занес меч и, не глядя, обрушил его на врага. Стрелец, запрокидываясь навзничь, испуганно охнул. После этого, не помня себя и не оглядываясь, Илейка вместе с двумя верными ему товарищами побежал за Степаном Поляковым.

Над лугом разливался хрипло голос Хабарова:

— Встречь забегай! Хватай воров, ухари! Встречь!

Илейка вскочил в струг последним. Кырса, Степан Поляков, женьшенщик и два казака были уже в струге. Они налегли на весла, струг качнулся, вспенил воду и вскоре выбился на стремнину Амура. Перед глазами у Илейки поплыл туман. Он взмахнул мечом и, не выпуская его из рук, плашмя повалился на днище струга. Стрельцы хотели погнаться за казаками, но Хабаров их удержал.

## 9

Поднялось солнце, осветило политый кровью луг, обласкало убитых и погрузилось в печаль, спрятав лик свой за тучу.

Ерофей Хабаров сидел на пороховой бочке, тяжело дыша. Потный чуб закрывал его упрямый с ложбиной лоб. Пленных встретил притворным поклоном, выйдя навстречу.

— Вы хотели воли? Добро, я дам вам волю на вечные времена. Эй, ухари, разводи костры!

Стрельцы начали собирать валежник для костров. Мингалча испуганно зевнул и повалился на колени.

— Пощади, больше воеваться не будем!

Тяжелая рука Хабарова упала на рукоять меча, блеснула сталь. Он шагнул к Мингалче и одним ударом, наискось, отсек гиляцкому князю голову. Высоко взлетел крик гиляцких баб.

Чеботка Базан поднял багровое, в царских печатях, лицо, смело и дерзко глянул атаману в глаза:

— Об одном жалкую... Дюже жалкую... Помнишь, в Якутске об заклад бились?

— Перед тобой я в долгу не останусь.

— Оплошал я: не взял твою голову.

— Заковать его!

— Не закуешь, атаман, я не из тех, которых пеленают бабы!

Он разметал стрельцов, наклонил голову и ударил Хабарова в живот так сильно, что тот, отлетев, упал навзничь в канаву. Чеботка быстро достал из-за пазухи фитиль, сел на пороховую бочку, будто на коня верхом, и высек огонь. В страхе отпрянули от него стрельцы и повалились на землю. Чеботка встряхнул чубом и поджег фитиль.

— За волю, соколы!

Потрясающий грохот всколыхнул луг, и все утонуло в клубах дыма. Не стало на белом свете удалого казака Чеботки Базана.

Мощная волна воздуха далеко отбросила Ерофея Хабарова. Упав, он еще долго скользил по траве, обжигая о землю ладони и щеки. Полежав, поднялся на ноги, согнулся и, потирая слезящиеся глаза, закричал:

— Эй, не зевай! Воров не отпускайте, волоките воров на струги! Ехать время доспело!

Стрельцы робко поднялись, нехотя собрали пленных и погнали их на струги. Только Чеботка Базан остался холодеть на влажной земле.

Пока Хабаров гонялся за казаками, ушедшими с Илейкой, на станове из Якутска прибыл дворянин — царский вестовщик Дмитрий Зиновьев с отрядом стрельцов. Он привез подарки и награды.

Савватей Храп пригласил Зиновьева к себе. Между ними установились отношения простые и дружественные. Однако Зиновьев не вполне доверял ватажному попу и, подливая в чаши вино, пытливо смотрел на безбровое рябое лицо и рыжую бороду Храпа и осторожно наводил на откровенные разговоры.

— Поганое, видать, у вас житьишко... С чего бы? Оголодал и ты небось?

Савватей Храп пил много, криво улыбался и, хмелея, раскрывал душу:

— Живу в чернотеле, а можно бы и тут жить коры-

стно. Надись воры поруху учинили, иноверцев отогнали и землю смяли.

— Ишь лихое дело!.. Чье дело?

— Атамана Ерофея Хабарова.

Храп нагнулся и внимательно посмотрел Зиновьеву в глаза.

— Я перед тобой не скроюсь, расскажу все, будто перед богом, только чтобы все шито-крыто... Проведает Хабаров — мне головы не сносить.

Савватей рассказывал, а Дмитрий Зиновьев сидел, облокотясь на стол, и слушал. Затем он встал и обнял Савватея.

— Ты не чванлив и сговорчив, я тебя в обиду не дам и перед тобой не скроюсь. Я хочу всю Даурскую землю досмотреть и его, Хабарова, ведать. Меня сам царь послал.

— Скажу, не таясь: думно мне, хочет атаман великому государю изменить и самому тут царем жить.

— То не ябеда ли?

— Перед тобой — будто перед богом. Он боярского сына Матвея Лихачова убил, чтобы ведуна не было, а допрежь того — воеводу Головина.

— О том наслышан, сказывай далее!

С реки донесся крик дозорного. Мимо избы пробежали стрельцы. Дмитрий Зиновьев глянул в окно, погладил бороду и замигал сумчатыми веками. Его одутловатое лицо покраснело.

— Сам, видать, жалует. Да ты не робей! Я пойду встречу, а ты снедь приготовь. Надо уважить атамана.

Дьяк Никита Слепнев, щеря желтые зубы, встретил дворянина у порога.

— Как будем привечать атамана?

Дмитрий Зиновьев склонился к волосатому уху дьяка и горячо зашептал:

— Стрельцов держи наготове. Собери оговоры и сочини челобитную. Чуешь?

— Чую!

— Гляди, не зевай. Промах дашь — не сносить головы.

С криком, гиканьем подплывали к острогу победители. Пленные гиляки тянули струги, шли, уронив головы и опустив руки.

В панцире и шлеме на переднем струге стоял Ерофей

Хабаров. Лицо дышало отвагой, выражало волю и самоуверенность. Размахнувшись всем телом, он бойко выскочил на берег и оглянул встречающих. Придерживая меч рукой, Зиновьев шагнул к нему.

— Будь здоров, атаман даурский.

Ерофей Хабаров насмешливо покосился на него.

— Кто таков?

— Послал меня государь объявить свою милость и учинить справедливость.

— Царской милостью очень доволен, а справедливости я уже добился сам.

Никита Слепнев поглядел в широкую спину Хабарова, подмигнул себе самому и заюлил между стрельцами.

— Эй, служивые, слухай! Жалует вас царь своими милостями и жалованьем. Подходи, жалься, кто в обиде!

Стрельцы сгрудились возле него. Только гиляки безучастно остались лежать на камнях. Стрельцы охотно говорили о своих обидах и подписывались под челобитной.

Пропустив Хабарова, дверь притворил сам Зиновьев. Савватей Храп поднялся им навстречу, приветливо улыбаясь и взбивая на голове свои редкие волосы. Он не знал, что с собою делать и с чего начать.

— Поздорову ли живешь, батя? — спросил Хабаров.

Храп обрадовался и засуетился.

— Спаси Христос, живу ладно... А ты садись, угощайся. Пенного испей с дороги.

— Добре! Ладно привечаешь атамана.

Хабаров сбросил панцирь, снял шлем и меч, пригладил ладонью потный чуб. Дмитрий Зиновьев сел напротив, обменялся с Храпом лукавым взглядом.

— Батя, наливай!

Храп дополна налил три чаши, глянул исподлобья и, не дожидаясь, пока возьмут другие, объявил:

— За бога и царя пью!

Ерофей Хабаров поднял свою чашу:

— За русский дух, за удалство и богатство!

Дмитрий Зиновьев выпил молча, обглодал кость, вытер губы ладонью. Он неотступно следил за Хабаровым и, когда тот выпил третью чашу, спросил:

— Почто здравичу государю не поминаешь?

— О том сам знаю и тебе ответ не дам. Кажи, об чем дело?

— Хочу всю Даурскую землю досмотреть!

Лицо у Хабарова сделалось красным, глаза загорелись, и крупные капли пота заструились по щекам.

— До бога высоко, до царя далеко, а перед тобой я не ответчик.

Савватей Храп, пугаясь, смотрел то на одного, то на другого.

Одутловатое лицо Зиновьева покрылось пятнами, уши покраснели, глаза гневно заблестали.

— Ешь, да откусывай, говори, да не заговаривайся. Аль у плахи не был?

Их взгляды столкнулись. У Ерофея Хабарова затрепетали ноздри и густо побагровело лицо.

— Покажь на то указ государя! Хочу знать, кто ты есть такой!

Дмитрий Зиновьев вскочил и схватил атамана за бороду. Хабаров ударил его по лицу. Зиновьев метнулся к двери и захохотал:

— Эй, Никитка, сюда!

Стрельцы окружили избу. Хабаров подсадовал, что так легко дался. Пошатываясь, вышел, решив испытать свое счастье. Бычье упорство было в его обличье, в наклоне головы, в твердо сжатых губах.

— Эй, ухари!

Стрельцы молча переглянулись. Зиновьев взмахнул мечом:

— Жальтесь, кто в обиде. Миром рассудим!

— Не обольщайтесь, ухари!

Стрелец с упрямым взглядом и глубоким шрамом на лбу подошел к Зиновьеву, выпятил обнаженную волосатую грудь, кинул шапку к ногам.

— Дюже в обиде мы на него. Зачитать бы лучше челобитье — и делу конец.

— Дьяк, читай!

Никита Слепнев развернул лист и подошел к воеводе.

— Дозволь, батюшка, жалобное челобитье зачитать?

— Чти!

Никита Слепнев ядовито глянул на Хабарова, положил лист на спину стрельца и, гнуся, начал читать:

— «Великого государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси самодержца, дворянину и воеводе Дмитрию Зиновьеву — стрельчишки даурские челом бьют. Написал нас, стрельчишек государевых, вое-



вода Дмитрий Андреев сын Францбеков в казачью службу в Якуцком остроге и послал в Даурскую землю с сотником Третьяком Чичегиным на своих проторях, а подъем стал каждому рублев с пятьдесят и больше. А служили мы, стрельчишки, под началом приказного человека Ярофея Павлова сына Хабарова, и в осаде сидели, из осады на вылазку выходили и бились, и заморозу, голод и нужу терпели и голодную томною смертью поми- рали, и на тех боях языков хватали и многих разных земель князцов в аманаты имали, и тебе и великому государю нашему ясак с них собирали, и земли сберегали.

А за те наши службы, за кровь, и за раны, и за голод- ное терпение, и за осадное сидение,— ничем не пожало- ваны и похвального слова не слыживали. Ярофейко зем- лицы пустошил, к государевой службе не радел, поселе- ния не делал. А через ту его корысть не бывать и нам в царской милости.

Землица к пашне пространна, луга большие и рыб- ных ловель много, а все добро сие пошло не впрок. Коли были дауры, сносно и мы жили и хлеба имели немало, а Хабаров города и улусы пустошил, даурцев и иных людей бил, а многие и поныне в бегах обретаются. Через то и мы опочиву не знаем ни на час. Еда у нас такая, что на Руси и скотина не ест. Зимой толокно едим, летом борщ крапивной, да черемшу, да лук дикой, случалось, сосну-дерево ели, обутки и всякую скверну ели. А те- перь все мы, стрельчишки, в долгу, как черви в шелку. Учинил атаман Хабаров безмерную дороговль на хлеб- ную, соляную и всякую харч, закабалил всех крепко. Хлеб на вино извел, и от винного курения пуще прежнего мы разорились и обнищали, многие дюже заскорбели.

Безвинно терпим мы, стрельчишки государевы, вели- кую нужу и просвета не видим, и служб таких нужных и жестоких во всей государевой отчине нет. Не можем мы, стрельчишки государевы, под началом у атамана Хаба- рова быть, хотим быть под началом другого приказного человека, кого ты пожалуешь. А еще просим мы, стрель- чишки, чтобы ты отписал к великому государю челобит- ную, чтобы пожаловал нас великий государь за все наши службишки пашенными землями, диким полем, рыбными ловлями и сенными угодьями. Будем мы, стрельчишки, хлебным делом промышлять, острожки ставить и его, ве- ликого государя, землю оберегать крепко и имя его про-

славлять, а буде случится шатость, все до единого порадеем мы за великого нашего государя, стоим за веру Христову и землю Русскую...»

Пока дьяк читал, стрельцы одобрительно покачивали головами.

Ерофей Хабаров слушал жалобное челобитье, и в нем закипела ярость. Он потянулся к дьяку, но сдержал себя, безвольного опустил руки и сказал дрогнувшим голосом:

— То ябеда! Челобитье настрочил дьячишко, а я тягостей и утеснений никому не чинил, радел о пользе государевой. И я не знал опочиву, в думах и заботах исходил, себя не жалел и животишко, какое было, отдал.

Савватей Храп, пошатываясь, подошел к нему, стал, подбочась, и надменно посмотрел на него.

— Все, что прописано в челобитьи, правда! Дюже обижал ты нас, атаман. Не избежать тебе вечных мук и суда гневного. Крепко и меня избидел, а я памятной на обиды.

Хабаров про себя подумал, что зря Илейку обидел, зря от себя оттолкнул казаков, зря погорячился, зря даурские земли пустошил, но гордый, вызывающий вид попа задел его самолюбие, и он сказал:

— Иуда, дешево продаешь меня. Ты мне не судья, я тебе не ответчик!

— Батя правду сказал! — в голос закричали стрельцы. — Будя изгаляться, отходил свое!

Дмитрий Зиновьев брякнул мечом и, не глядя на Хабарова, приказал стрельцам скрутить вора.

— Я не вор, а слуга государев, и милости у тебя не прошу. Не трожь! Сам пойду, коли тебе дался!

— На струг волоките его, сторожите крепко, — приказал Зиновьев.

— Чуем! — отозвались стрельцы на его голос.

Ерофей Хабаров согнулся, голова опустилась, глаза потухли. Как бы стыдясь самого себя, он робко оглянулся. Ветер слегка пошевеливал его бороду, а казалось, что сам Хабаров кривит свое побледневшее лицо. Стрельцы скрутили ему за спину руки, повели к реке и посадили в струг.

— Подрезали соколу крылья — не полетишь!

— Может статься, и полечу.

— Всяко бывает. Поглядим!

Гиляки впряглись в ляпочные хомуты. Дмитрий Зиновьев, довольный удачей, взмолился на струг.

— Ну, сыроядцы, трогай! В оба гляди, Никитка! А вы, стрельцы, служите государю верой и правдой. За верную службу царь порадует.

— Будем служить!

— Не забудь и обо мне слово нужное молвить, — прокричал Савватей Храп.

— Буду помнить!

Сгушались сумерки. Ветер гнал черную тучу. Меркли темнорудые следы ушедшего солнца. Ерофей Хабаров смотрел в меркнувшую даль, в глазах стыла тоска.

Он мог бы создать свое княжество, заручившись дружбой с маньчжурами. Его поддержали бы все амурские народы...

От этой мысли у Хабарова мороз прошел по коже.

Мысль об измене была ему чужда. Он не собирался объявлять себя ни князем, ни царем. Он не мог изменить Родине.

— Я дойду до правды. Дойду! — шептал он, сжимая кулаки.

Он смотрел на широкую гладь Амура. Воды этой реки были свидетелями его счастья и горя. Он снова вспомнил про своих согласников и про Илейку, вспомнил молодость, отца, дом родной, все-все... Крепко пожалел, что отпугнул верных ему людей...

Велик и труден до Москвы путь. Ерофей Хабаров скоротал этот путь в маяте и душевной тревоге. Зиновьев изводил его допросами и вымогательством. Он отобрал у Хабарова все, что тот нажил в Даурии. В Енисейске и Тобольске он подавал челобитные, но судьи решали не в его пользу. Оставалась надежда на царя. Однако в Москве Дмитрий Зиновьев к царю его не допустил, сдал в Сибирский приказ под строгий караул, а докладывать пошел сам. Царь собирался на охоту, строго поглядел на него, хотел было прогнать, но, узнав, смилостивился:

— Ну ладно, одного тебя приму. Сказывай!

— Я, великий государь, буду сказывать, что ближе к делу.

— Добро!

— Как указано мне от тебя и выведальных дел думы — сыскать заводчика рудного бунта, и я сыскал воровской корень. А корень тот, великий государь, исшел от

вора Ярошки Хабарова. Я дознал про все доподлинно, убрал того вора и привез к тебе.

— Про все уже знаю... Жалобятся и на тебя воеводы. В корысть себе многое забирал, радел своим нажиткам и шубам собольим. От такой неправды и воровства народ в шатость приходит.

— То ябеда! Служу я тебе, великий государь, верой и правдой. А что Ярошку судил сильно, то оный Ярошка лютой казни достоин. Оного Ярошку надобно под крепким караулом держать.

— Держать не годится, не то нынче время. Даурского атамана отпустить надо. Будет тише и многим пригоднее. А вины свои он заслужил большими ратными подвигами на пользу отчизне нашей. Спесь с него уже сбили, заноситься не будет. Коли еще что противное вздумает, снова собьем. Так-то!

— Будет все справлено по слову твоему, великий государь.

Ожидая своей участи, Хабаров подал челобитную главному дьяку Сибирского приказа Григорию Протопопову, перечислив взятые у него Зиновьевым вещи. В списке, среди других вещей, значилось десятка два собольих, рысьих и лисьих шуб и около ста аршин шелковых тканей.

Прочитав челобитную, Протопопов осторожно намекнул, что если жалобщик не поскупится, то дело его хотя и хлопотливое, но правое. Хабаров посулил ему лапчатую соболью шубу под темно-вишневым атласом.

По суду Зиновьев был признан заслуживающим наказания, а кроме того, ему было объявлено, чтобы возвратил Хабарову отнятое добро.

Зиновьев не растерялся и, чтобы замять дело, подарил Протопопову три собольи шубы. После этого Протопопов вызвал Хабарова к себе и объявил государеву волю. Стрельцы подхватили даурского атамана под локти, вытолкали на крыльцо и отпустили на волю.

Побрел Ерофей Хабаров, сам не зная куда.

Ему пришлось бродить по Москве несколько месяцев. Он много раз побывал в Китай-городе. Здесь ему, как промышленному человеку, по сердцу пришлись торговые ряды, прилегавшие к Красной площади. В этих узких ря-

дах — мучном, масляном, медовом, овощном, хлебном, луковом — стоял гомон и шум. Купцы громко выхваляли свои товары. В сапожном москвичи покупали обувь, в котельном, оружейном и железном — разные изделия из металла.

В отдельном ряду под открытым небом работали цирюльники. Они стригли и брили, забавляя себя и тех, кого они молодили, шутками и прибаутками:

— Пострижем-побреем, помолодеем — поузмеем! Заходи — посиди! На людей погляди!

На перекрестках торговали печеным хлебом, пирогами, калачами и сбитнем.

Среди множества скученных лавок и лабазов возвышался обширный каменный Гостиный двор и рядом с ним подворья иноземных купцов.

За стенами Китай-города, торгового сердца Москвы, начинался Белый город. Здесь, в зелени садов, рядом с неказистыми деревянными домами, красовались каменные дворцы бояр, дома богатых купцов и возносились к небу остроконечные шатровые колокольни многочисленных церквей и соборов. Когда звонили благовест, колокола пели на разные лады, увлекали слушателей в особый мир, где забывались все печали и горести.

Все дома превосходил своей роскошью дворец князя Голицына. Он поражал красивой внешностью, большим числом комнат, затейливой росписью потолков, богатством обстановки, множеством картин на стенах.

Здесь, как и повсюду в Москве, за исключением Кремля, улицы были вымощены бревнами. Это была одна из причин частых пожаров. Летом запрещалось топить кухни и бани.

В Земляном городе располагались службы царского дворца и слободы царских служителей.

На государевом остоженном дворе возле Москвы-реки стояли большие стога сена с заливных лугов, вплоть до Новодевичьего монастыря. В Кречетниковской слободе жили сокольники и кречетники. С хищными ловчими птицами — кречетами, соколами и ястребами — царь охотился на лебедей, гусей, уток, а иногда и на зайцев.

Ловчего Афанасия Матюшкина, проявившего сноровку и ловкость на охоте и любовь к птицам, царь пожаловал званием стольника, более десяти лет с ним

переписывался и считал его своим братом. Он писал своему любимцу о победе под Смоленском:

«Брат! буди тебе ведомо: у Матвея Шереметева был бой с Немецкими людми и дворяне издрогали и побежали все, а Матвей остался в отводе и сорвал немецких людей...»

Афанасий часто сопровождал Алексея Михайловича в его охотничьих забавах. В том же письме, где сообщалось о победе над немцами, царь рассказывал о трофеях ловчих птиц: «Добыл Свертяй каршака, добыл красной кречет Гамаюн... Утром ходили тешиться с челигами, а с кречеты посылали в Тверские поля сокольников... Кречет Нечай добыл каршака, добыл две совки... Кречет Бумар добыл ворона...»

Хорошо натренированные птицы посылались в дар иноземным правителям, особенно много птиц царь дарил персидскому шаху, который щедро его отдаривал. У шаха было множество соколов, которые могли охотиться не только на птиц и зверей, но и выклевывать глаза «опасным» людям.

У Алексея Михайловича на потешных дворах под Москвой было до трех тысяч ловчих птиц, и каждый год добавлялось по сотне новых. Их кормили говяжьим и бараньим мясом с царского двора и живыми голубями. У птиц были свои имена: Бердьяй, Дурас, Хорьяк, Стреляй, Булат...

Царь требовал, чтобы главный сокольник постоянно сообщал ему о недомоганиях ловчих птиц. Он выговаривал Матюшкину:

«...Да ты ж пишешь, что сибирский кречет Колмогор болен, а какую болезнью болен, того к нам не пишете и от чего заболел...»

Очевидцы говорили, что Алексей Михайлович тешился охотой в любое время — «до кушанья» и «после столового кушанья», шел ли дождь «добре велик» или «с перемешкою» и возвращался в Москву даже под утро.

Отдельные слободки были у стрельцов, ремесленников, садовников, огородников, иноземцев.

На мосту, соединявшем Кремль с Красной площадью, шла бойкая торговля книгами. Они изготовлялись на Печатном дворе.

Оружейная палата производила оружие.

...Пока были деньги, Москва радовала и восхищала Хабарова.

Всюду ему было интересно, до всего было дело. А когда поистратился, затосковал и закручинился.

В Охотном ряду он остановился возле каменного лабаза, снял шапку.

— Подайте сирому и бездомному!

Подавали скупо.

Солнце било по торговым рядам. От убоины несло гнилым запахом. Купцы тайно играли в зернь. Зеваки толпились возле них, подзадоривали. У торгового приказа ставили на правез должников, палками «выбивали» заемные деньги. Белый дед, горбясь, щупая клюкой землю, подошел, сел на приступок, снял шапку, похожую на воронье гнездо, положил ее у ног, на клюку, ударил по струнам кобзы и запел.

Ерофей Хабаров подошел к деду, тронул за плечо:

— Эй, убогой, садись далее! Мне с тобой несподручно.

Дед оборвал песню, поднял незрячие глаза, приложил ладонь к уху.

— Ась? Кто озорует?

Хабаров нагнулся к нему, долго неотрывно глядел в звероватое лицо, прислушиваясь, как жалость боролась в нем злобу...

— Ты был на Илеме?

— Я всюду бывал... И на Илеме, и в Верхоленске, и в Тобольске, и в Перми великой и в славном Устюге... Всюду бывал!

— Видался я с тобой, дедун, в царевом кружале на Илеме. Тогда пел ты про корабельщиков. Знатно пел!

— Ась? О ком гуторишь?

— Илим помнишь? Чарку тебе там подал.

— О смерти помнить и то недосуг... Я о животе хлопочу, о людях не думаю. Людей много, я один.

— Спой-ка, ведун, про лихих корабельщиков. Знатная песня. Отведи душу...

— Спел бы, да песня не по времени. Смутны времена нынче...

И, склонившись к уху Хабарова, зашептал:

— Бают, на Волге-реке шатость великая... Стенька Разин озорует, мужиков на бунт поднимает... У государя с патриархом Никоном свара... Не сошлись характерами. А еще бают, мужицкого протопопа Аввакума царь-ба-

тюшка еретиком назвал и в Якутский острог послал на вечное сидение... А тот Аввакум бунтовские грамотки пишет, старую веру обороняет от антихриста...

Заметив оборванца, наострившего уши, Хабаров перебил деда:

— Коли так, будем на харч просить. Вдвоем кормнее и угоднее.

Дед мотнул головой, резко тронул струны, запел про небывальщину. Когда дед переводил дух, Хабаров жалобил души:

— Подайте, крещеные, сырым и увечным... Подайте, милостивцы!

Из лабаза, потирая руки, вышел купец.

Громко зевнул, уставился на Хабарова.

— Экой ты, а просишь. Работать надо!

— Подай, добрый человек. За правду томлюсь, наядбедничал на меня дворянин Зиновьев.

Купец опасливо оглянулся, подошел, выгреб из кармана горсть медных денег, пропустил одну деньгу сквозь пальцы, остальные сжал в ладони и положил обратно.

— Кто таков?

— Атаман даурский.

— То-то, гляжу, добрых кровей человек. Ты сходил бы, горюн, к царю-батюшке. Он порадеет. Бывает, что и нам милость окажет.

— Дай тебе бог, мил человек, здоровья и удачи на долгие годы. Всюду хожено, а правды нет.

— А ты сходи!

— И то сходить. Попытаю счастья в остатний раз.

...Зазвонили к обедне. Сначала ударил один колокол на Иване Великом, за ним запели колокола по всей Москве. Верующие обязаны были бросать все свои земные дела и посвящать себя богу. Купцы стали запирали лабазы, ложились отдыхать.

Ерофей Хабаров сорвал с головы шапку, перекрестился на Ивана Великого: «Может, сегодня подфартит... У царя, говорят, была удачная охота...»

Он нагнулся к широкому уху деда.

— Чул, что купчина баит?

— Ась?

— Ты посиди, а я схожу к царю-батюшке. Может, и добуду правду.

— Сходи, сходи, смутник. Утешь душу.



Лучился осыпанный крестами Кремль. Народ густо двигался по Красной площади и по горбатуму мосту, перекинутому через ров, вливался в Спасские ворота. Вместе с народом пошел и Ерофей Хабаров. Хотя и тяжело ему было, однако благолепие и красота Москвы оживляли душу и вселяли надежду. «Есть тут и моя лепта,— думал Хабаров.— И я возвеличил Москву-матушку и прославил ее до берегов Амура».

Эта мысль успокаивала, ободряла. Москва представлялась ему самой живописной и милой его взору.

Вот чудо, творение русских зодчих — Покровский собор с приделом Василия Блаженного — память о разгроме Казанского ханства. Собор гордо возвышался над островерхими кровлями и башенками теремов Москвы, связывая посады с величественными храмами и крепостными сооружениями Кремля. В дивной, как бы сказочной, архитектуре воплотились все лучшие традиции русского зодчества, неистощимая изобретательность и великолепное мастерство русских умельцев. У кого при виде такого чуда не загорится радостью сердце? Кто пройдет равнодушно мимо такого памятника русским воинам, проложившим путь на Восток? Тот путь продолжил и он, Ерофей Хабаров. Это и ему честь, и его согласникам, что осваивают берега Амура.

А Лобное место, круглый каменный помост, откуда обращались к народу царь и патриарх! Такого нигде не доводилось видеть, хотя и повидал Хабаров немало городов. Это место как будто ничем не выделялось, однако оно вписывалось в ансамбль строений и было связано со многими памятными событиями. С Лобного места являли Руси будущего наследника престола, когда он достигал совершеннолетия. Отсюда бояре, а иногда и сам царь уговаривали недовольных, а таких в то время было много. Недовольные поднимали бунты. Бунты были хлебные, соляные, медные, чумные. Зачинщиков царь немилосердно казнил, а народ уговаривал... С Лобного места в вербное воскресенье начинался торжественный ход царя и патриарха.

Потом, после встречи с царем, оказавшись снова на Лене, Хабаров еще раз припомнил это памятное Лобное место и содрогнулся, когда узнал, что там недавно казнили лютой смертью атамана Стеньку Разина, вождя крестьянского восстания, о котором ему шептал в Москве дед с

Илима. Ведуны сказывали, что опальный патриарх Никон был в дружбе с бунтовщиками. Разин будто бы ждал патриарха Никона и даже имел для него струг в своей флотилии, обитый черным бархатом.

Ерофею Хабарову нравился Никон, сумевший стать первым человеком в государстве. Ведуны говорили, что патриарх сравнивал церковь с солнцем, а государство с лунной, ставя духовную власть выше светской, а себя выше царя. Он ехал сам, словно Христос на осяти, вокруг Кремля, а коня вел под уздцы покорно царь Алексей.

Никон энергично исправлял русские книги и обряды, стремясь привести русскую церковную практику в соответствие с греческой. Его близкими помощниками стали греческие и киевские монахи. Троеперстие и трегубая аллилуйя, новые тексты церковных книг вводились насильно, несогласные наказывались. Вскоре между приближенными царя и сторонниками патриарха начались споры. Вначале Алексей Михайлович поддерживал своего любимца, но неосторожные и властные действия Никона привели его к ссоре с царем. Алексей Михайлович запретил Никону именоваться великим государем.

Никон самонадеянно полагал, что царь не посмеет пойти против бога, и жестоко ошибся. Царь не пожелал делить с ним власть, а тем более подчиниться ему.

Кто такой Никон? Поп-черноризец, выскочка, возмнивший себя великим, навлекший на царя и на себя гнев бояр и народа. Убрав Никона, можно было свалить на него все беды, вызванные неудачной войной с Польшей, укрепить единодержавную власть. Чумной бунт, стоивший жизни некоторым боярам, утвердил царя в его решении, ускорил развязку. Разрыв произошел.

Обиженный патриарх замкнулся в своей гордыне и поселился недалеко от Москвы в Воскресенском монастыре, который был им построен наподобие Иерусалимского храма и назван Новым Иерусалимом. Он переименовал реку Истры в Иордан, назвал горку в монастыре Елеонской, а село поблизости Назаретом.

Но мятежный патриарх оказался между молотом и наковальней, между царем и народом. Он хотел вывести Россию на первое место в мире, а заодно и церковь, которая могла бы занять ведущее место среди вселенских патриархов. Это противоречило сущности самодержавия. Судьба властного патриарха сложилась трагично.

В 1666 году созванный царем великий собор с участием восточных патриархов — Александрийского и Антиохийского лишил Никона патриаршего сана. Простым монахом он был сослан на Белоозеро и там пробыл в заточении пятнадцать лет. После освобождения он умер на пути в Москву.

Низвергнув патриарха, собор в то же время утвердил реформы Никона и предал анафеме тех, кто отказывался их принимать.

Это привело к расколу, к обострению борьбы, к волне новых восстаний. Одна борьба порождала другую.

Народу были непонятны раздоры между царем и Никоном, между боярами и церковными владыками, но двуперстие было своим, привычным, а троеперстие — чуждым, навязанным сверху. Новшества Никона не облегчали жизнь черных людей. Они больше сочувствовали протопопу Аввакуму Петрову, земляку Никона.

Аввакум был подлинный титан, понимавший душу народа, его быт и нравы. Никон сослал его сначала в Тобольск, потом в Якутск, но в пути его взял в свою даурскую экспедицию воевода Пашков, которого царь послал на берега Амура, чтобы закрепить земли, освоенные русскими землепроходцами и Хабаровым. Он шел путями, проложенными им, Ерофеем Хабаровым.

Аввакум добрался со своей семьей почти до Амура и вернулся в Москву с надеждой, что после изгнания Никона царь его выслушает и он, протопоп Аввакум, станет добрым отцом народа. Но Алексей Михайлович отправил его в новую ссылку, на сей раз в Пустозерск. Оттуда беспоконный Аввакум стал обличать и самого царя, пугая его «жупелом огненным». Защитникам реформ он отвечал, что русские люди и без того угодили богу, и потому их земля велика и славна, а греки уклонились от правой веры и за это лишились своей независимости...

Под фанатичной оболочкой неистового протопоба угадывалась мужицкая душа. До встречи с царем он жил простым крестьянским обычаем: сам пахал, сеял, жал хлеб, косил сено. У него было много детей. Его жена Настасья Марковна выросла в семье кузнеца.

Отчаявшись найти волю и лучшую долю открытой борьбой, Аввакум и все те, кто его поддерживал, выдумали учение о близкой кончине мира и необходимости самосожжения, чтобы избежать «антихристовой власти».

Так сила в условиях того времени обернулась бессилием.

Аввакум выпил свою горькую чашу до дна. Восточные владыки, заточившие Никона в дальний монастырь, теперь осудили и Аввакума, непримиримого врага патриарха. В 1682 году московский церковный собор, возглавляемый патриархом Иоакимом, принял решение сжечь Аввакума Петрова с тремя другими соловецкими узниками.

Низвергнутый Никон замкнулся в гордом одиночестве, а протопоп Аввакум растворился в народе, стал его душой, его голосом. Он полагал, что огненная вера народа способна исцелить Русь от всех социальных недугов.

«Отомстит бог наш кровь нашу, всех нас, сожженных, всех в тюрьмах сидящих! — писал царю опальный протопоп.— Вон Паисия, Александрийского патриарха, турок распял, а Макарий убежал в Грузию, яко пес от волка, в подворотню нырнул да под лестницу спрятался. А здешним любодеем то же будет».

Но одна вера, одна надежда даже сильных людей не могла исцелить Русь.

Живя на берегах Амура, Ерофей Хабаров плохо разбирался в придворных и дворцовых делах, но ему было радостно видеть Москву, которая чувствовала в себе нетерпеливую силу померяться с Западом. Он сознавал как свое кровное дело присоединение Украины к России, освоение русскими предприимчивыми людьми громадных просторов Сибири, вплоть до Ледовитого океана, Охотского моря и берегов Амура, и включение в семью русских многих иноязычных народов, развитие промыслов, книгопечатание. Только находясь в Москве, в сердце России, Хабаров осознал величие родной страны и важность дела, которое он совершил на берегах Амура. Это сознание не хотело мириться с лихоимством и дикостью бояр и воевод, его тянуло в Сибирь, на новые земли. Вот где он мог показать себя, померяться силами. Но не везло ему в дальних краях. И все же он тешил себя надеждой.

Думая о своем, Хабаров очутился на царском дворе. Здесь теснились челобитчики, перебранивались друг с другом. На обширном крыльце с золочеными, раскрашенными перилами толпились бояре в горлатных высоких шапках. Пот заливал их пухлые лица. Они ждали царя и, негромко споря, прислушивались. У самого крыльца, по-

ложив доску на колени, дьяк в красном кафтане писал челобитья, макая гусиное перо в подвязанную к ремню чернильницу.

В сенях раздался звон многих колокольцев. Боярские шапки качнулись и сдвинулись, над склоненными шеями вздыбились высокие воротники. Народ упал на колени. Царь Алексей Михайлович появился в сопровождении боярина. Он внимательно, в раздумье, оглядел народ и подошел к столу, на котором лежала груда доносов и жалоб, передал узорчатый посох с крестом боярину, потер лоб.

— Охти мне... От челобитий и ябед в голове смутно...

Служки подкатили большое, обитое рытым бархатом кресло. Царь опустился в него, взял посох. Алексей Михайлович казался не по летам серьезен и даже угрюм. Взгляд его темных глаз был непроницаем.

Думный дьяк одну за другой стал читать челобитные. Алексей Михайлович выслушивал их, меняя позы, и только коротко говорил каждый раз свое решение.

Ерофей Хабаров растолкал бояр, взбежал на крыльцо и повалился, стукнув лбом о каменную плиту. Охранный сотник кинулся было за ним, но царь отстранил его посохом. Глаза его загорелись. Все присмирели.

— Кто таков?

— Я холопишко твой Ярошка Хабаров, тебе, великому государю, служил, бился с многими твоими неприятеля воинскими людьми, кровь проливал за тебя, ясачные сборы собирал и прибыль большую учинял. Я, как умел, старался на пользу родной отчизны. А ныне я, даурской, дючерской, натской и гиляцкой земель добытчик и прибыльщик, на Москве от слуги твоего, дворянина Зиновьева, изувечен, меж дворов побираюсь и за бедностью через то голодную томную смертью помираю и дюже скорблю...

— Сказывай, что надо? Вишь, дела ждут!

Растирая слезы, гнусавя для жалости, Хабаров стал просить:

— Милосердный государь, пожалуй меня, холопишка твоего, за кровь и за раны милостью. За все мои службишки поверстай меня, сироту, в какой чин я пригожуся. Отпусти в Даурскую землю для городских и острожных поставок, для поселения и для хлебной пахоты. Прикажи, государь, из своей казны денег дать, что ты, государь,

укажешь, чтобы мне, изувеченному и бедному, на Москве вконец не погинуть. Царь, государь, смилуйся, пожалуй!

Царь заинтересованно слушал рассказ гордого атamana о Даурской земле. Страна эта сулила многие прибыли... Открывался широкий путь на Восток. Об этом сухом пути мечтали многие иноземцы, посылали доглядчиков. Он подумал, что неплохо бы снарядить послов, заручиться дружбой китайцев.

Лицо Алексея Михайловича просветлело, — стало видно, что он еще молод, что готов не только простить, но и обласкать Хабарова, доставившего ему эту радость. Но чин, обычаи, тяжелая толпа боярская вокруг, а больше всего долг строгости царской превозмогли его порыв. Лицо вдруг стало важным и строгим. Он сказал:

— Достоин ты кары лютой... Ну, ин ладно — за смелость уважу. Верстаю в дети боярские, а за нужные службишки жалую чином управителя приленских земель от Усть-Кута до Чечуйского волока. На Москве не задерживайся. Ступай!

Кланяясь часто и униженно, стучаясь лбом, Ерофей Хабаров попятился от царя, скатился по ступеням. Прибежав к деду, поделился радостью:

— Эй, убогой! Выгорело мое дело. Призрел меня царь. Настанет время, оживу и я... Радуйся, дедун!

— Ась?

— Радуйся, сказываю!

— Суета сует... Под солнцем и то суета...

— Пойдем опять на Лену. Я тебя правителем всех якутских земель сделаю, а доведется, и на Амур махнем. Все в нашей силе.

— Я свое отходил уже, ходи ты. Мне с тобой не путь. Несподручно!

Дед заворочался, хотелось ему посмотреть на счастливого человека, но не мог... Тяжело стало, застонал и заохал:

— Не поминай лихом, знакомец. Не забывай.

— Прощай, убогой! Прощай, буду тебя век помнить.

Хабаров вытряхнул в его шапку все, что насобирал за день. На другой день с царской грамотой Хабаров пришел в лабаз занимать у знакомого купца деньги, подбивать людей в компанейщики. Но, хотя он был уверен в успехе, прежней радости в нем уже не было.

В Сибирском приказе, где оформляли подорожную, дьяк Григорий Протопопов, льстиво заглядывая Хабарову в глаза, сообщил, что царь жалует его своей милостью и берет расходы на доставку к месту службы на казенный счет, а для обережения в пути от недобрых людей назначил провожатыми боярского сына Федора Пушина и двух стрельцов.

В наказной памяти Пушину было написано: «А буде за коими мерами Ярко Хабаров пороху и свинцу и кос и серпов не сыщет: и тебе, Федору, взять и держать его, Ярка, за крепкими приставами в железах, итти на Лену с великим бережением, чтоб он, Ярко, дорогою куда б не ушел или над собой дурна какого не учинил...»

Да, нележкой оказалась царская милость! Ерофей Хабаров не сразу разгадал коварство царя. Назначая управляющим приленских земель, Алексей Михайлович ставил добытчика и прибыльщика в зависимое положение от воеводы, лишал его, Хабарова, свободы в действиях. Царь не доверял Хабарову.

Находясь под впечатлением царской милости, Хабаров, выйдя из приказа, по обычаю, перед дорогой намеревался справить отвальную. По деревянному скрипучему мосту через Москву-реку он перешел на остров. Там на Балчуге, рядом с церковью располагался постоянный двор. Лабазы и лавчонки замоскворецких купцов окружали базарную площадь. У кабака толпился разный люд.

Здесь Хабаров встретил человека, с которым судьба надолго связала его.

Постаревший, с сизыми мешками под глазами, высокий и грузный, Дмитрий Францбеков некоторое время шел за Хабаровым, потом опередил его:

— Добро, добытчик и прибыльщик! Давно ишу встречи!

— Добро! Добро! Человеке, сам в беде маюсь,— ответил Хабаров, полагая, что к нему пристаёт попрошайка.

— Что так? Аль царская милость не по душе...

Тут только Ерофей Хабаров опознал Францбекова и кинулся его обнимать.

За то время как Францбеков впал в немилость, он

много пережил и много передумал. Узнав, что якутский воевода государевой казною корыстовался, Алексей Михайлович велел его обыскать и допросить под присягой. У Францбекова отобрали мягкую рухлядь и все кабалы. Среди многих кабальных записей оказалась и Ерофея Хабарова на казенное снаряжение: пушки, пищали, порох, свинец, куяки, сукна, котлы, серпы, косы. За казенный счет воевода снабдил Хабарова хлебными запасами. Он трижды брал хлеб у торговых людей, отнимал у них суда и судовые снасти. Францбеков сопричислил Хабарова к государству, присвоив ему звание приказного человека.

Даурская служба стала не дешево. Францбеков был в сердцах на Хабарова.

Если бы не бунт в Якутске и не доносы купцов и промышленников, все бы сошло Францбекову с рук, как и прежде сходило. Теперь дело обернулось круто. Разгневанный царь отобрал в казну все, что у воеводы было в покрытие долга. Кое-что Францбекову удалось переложить на Хабарова по его кабалам. Царь повелел часть мягкой рухляди вернуть опальному воеводе, но запретил быть у государева дела. Знатцы говорили, что Алексей Михайлович очень сильно озлобился, когда узнал, что смута в Якутске произошла в день его рождения.

Заглушив на время обиды, Дмитрий Францбеков обнял Хабарова. Он узнал от верного человека из Сибирского приказа о царской милости Хабарову, о назначении его управителем приленских земель от Усть-Кута до Чечуйского волока и решил, что добытчик и прибыльщик еще может ему пригодиться.

— Одна у нас беда, одно горе,— сказал Францбеков.— Я теперь опальный, дюже избидел меня дворянин Зиновьев. Все кабалы отобрал, царю наядбедничал, будто я его государеву делу не радел, а радел своим пожиткам, будто-де яз нарушил указ и сверх указного числа самовольно приверстал в служилые сотню охочих. Попала государю и твоя кабала.

Дмитрий Францбеков давал понять, что дело еще не кончилось. Он напоминал о долгах, которые числились по кабальным записям. Но чтобы не спугнуть землепроходца, пригласил его в гости, в дом своего брата Ивана. Иван Францбеков жил в Зарядье, возле китай-



городской стены. Иван приютил Дмитрия, надеясь, что его звезда еще не погасла, что она еще засияет.

Небольшой дом, увитый хмелем, соседствовал с храмом зачатия Анны. Этот храм, похожий на резную шкатулку, хорошо вписывался в ансамбль построек Зарядья и как бы украшал собой угол стены. У входа в храм толпились нищие и юродивые.

Угадав знатных людей, богомольная братия кинулась к ним и стала канючить. Дмитрий Францбеков строго глянул на нищих и поднял кулак. Нищие метнулись к храму.

Они прошли расписные сенцы и вошли в просторную комнату. Сквозь слюду, вправленную в свинцовый переплет, скупно пробивался свет. Вглядевшись, Хабаров увидел на полу две медвежьи шкуры, несколько рогов сохатых и северных оленей на стенах.

Иван Францбеков жил в своем подмосковном имении. Дмитрий жил в московском доме один, за ним ухаживала якутка Варварка, привезенная с берегов далекой Лены. Из-за якутки Францбекову пришлось пережить немало горечи. Купец Агапитов и дьяк Стеншин обвиняли его в нарушении христианских обычаев, в сожительстве с некрещеной девкой. В том была правда. Чтобы обезоружить злоязычников, Францбеков окрестил якутку христианским именем и взял с собой.

Варварка знала, вернее чутьем своим женским угадывала, что нравится мужчинам. Она подчеркивала это походкой, взглядом, улыбкой. Варварка и впрямь была красива: слегка раскосые глаза, свежий румянец на смуглых щеках, ослепительной белизны зубы и мягкая, чарующая улыбка.

«У воеводы губа не дура», — подумал Хабаров, следя за тем, как Варварка ловко и быстро накрывала стол. На столе вино, две чарки, хлеб, вареное мясо и мало-сольные огурцы.

— Угощайся, Ярофей Павлович, чем бог послал. Не густо у нас, да и не пусто. Живем!

— Было бы вино, еда будет! — поддержал хозяина Хабаров.

Поговорили о том о сем, посетовали сообща на трудные времена, осудили алчность Зиновьева. Когда вино разгорячило головы, беседа стала острее, начали спорить.

— Не сдержал ты, Ярошка, своего слова,— упрекнул гостя Францбеков.— Зря на тебя понадеялся.

— Я слово сдержал. Я новые землицы приискал...

— Приискал, а не удержал... Надо было долги возвращать, а не самому корытоваться. Я из-за тебя грех на душу принял, со всеми знатными якутянами повздорил.

Хабаров слышал о якутской смуте, но не знал подробностей. И вот только теперь раскрылась ему правда событий в Якутске, резко изменившая судьбу Францбекова. Да, и он, Хабаров, повинен в его падении. Купцы и промышленники, писавшие царю челобитные, были по-своему правы: они защищали свои интересы. Высоко взлетел Хабаров, но за их счет и за счет казны. Такое не прощается. Однако чем более думал Хабаров, тем более понимал он и свою правоту.

— Я удержал бы приисканные землицы и кабалы с лихвой вернул, коли б послушались моего совета и прислали стрельцов,— упрямо стоял землепроходец на своем.

— Если бы да кабы... Государь дуже осерчал, повелел все долги с меня взыскать. А мне, опальному, откуда деньги взять? Придется на тебя начислить.

— Как начислить? Какой долг? Государь меня помиловал и званием сына боярского пожаловал.

— Чул об этом, потому и встречи с тобой искал.

— Меня искать не надо, я не прячусь. Меня все знают.

— Одно другому не помеха. Звание званием, а долги долгами. Слышал от верного человека, есть на тебя наказная память у Федора Пушина, велено ему провожать тебя на Лену.

Ерофей Хабаров слушал и дивовался. Его уверенность в себе постепенно таяла. Он растерянно смотрел на воеводу, все еще не веря его беспощадным словам. Но не верить было нельзя, Францбеков говорил правду. Хабарову стало трудно дышать, кровь кинулась в голову и там будто молотом застучало. «Ну и ну! Да что же это за напасть такая? Где правда? За что?»

Слова Дмитрия Францбекова словно ножами полосовали сердце. Он говорил, что Никифор Хабаров посажен Зиновьевым в тюрьму, пока не уплатит долг окольничему Соковнину, а деньги те взяты на даурское дело.

Еще более удивила Хабарова весть о том, что Никифор дважды продавал тунгуску Даманзю. «Час от часу не легче,— думал Хабаров.— Зря я ему тунгускую женку подарил... Неплохая женка».

Мысли его теснились и бунтовали. Он не хотел мириться с тем, что произошло.

А Дмитрий Францбеков рассказывал и рассказывал, тираня его черными вестями. Получалось, что во всех бедах повинен он, Хабаров, а не воевода, тогда как Францбеков, потеряв меру своей алчности и корысти, сам разгневал царя.

— Мой счет, стало быть, таков: вернешь мне долг по твоим кабалам, возместишь малую толику того, что я государю заплатил.

Хабаров зябко шевельнул плечами, губы его посинели, навалилось озлобление.

— Государь мой, Дмитрий Андреевич! Я твоим добром и царским не корыстовался... Я платил за то добро своею кровью... Я новую землю открыл!

— Ерофей Павлович, зря лютуешь! Москва слезам не верит, царская казна долгов не прощает. А за землю государь тебя пожаловал.

Хабаров знал, что Францбеков, будучи воеводой, широко раздавал деньги в рост, кредитуя служилых и промышленных людей, ему нравился человек, смело пускавший в оборот свои и казенные деньги, правитель Якутска с проницательностью угадывал выгоду, не останавливался перед риском. Дальновидность и широкий размах были по душе Хабарову. Там, где не хватало личных средств, воевода открывал кредит из казны и ловко умел сочетать свою выгоду с выгодой государства. Трудно было понять, где кончался воевода, радующий о государевом деле, а где начинался умный и корыстный ростовщик, ищущий своей пользы. Дмитрий Францбеков и пил вначале, чтобы его приняли не за того, кто он есть — предприимчивый и жадный делец. Хабаров сразу признал в нем человека особой породы, близкого ему по духу. С таким можно рисковать. Хабаров и рискнул. Не случись беды, все бы обошлось как нельзя лучше. И Францбеков не повинен в той беде. Он честно выполнял уговор, разделил беду.

— Чего нам, опальным, попрекать прошлым,— дружелюбно сказал Хабаров.— Я, как и ты, государь мой,

ратным людям на корм, и на одежду, и на обувь на три года всем деньги свои давал, которые хранил для меня Никифорка, за то мое борошно ничем не пожалован. Я не себе радел, а государю.

Добытчик и прибыльщик, как человек дела, рассчитывал на справедливую часть добычи. Дмитрий Францбеков угадал мысли гостя и не преминул вставить свое слово:

— Писали твои согласники, что шли на своих подъяемах, будто они служили своими головами с воды и с травы, а ты их службу к себе прихвалил в подъяемы и мне писал о том ложно.

Да, несколько богатых людей пристали к его отряду в Даурии со своими покрученниками. Дмитрий Францбеков лично выдал Дружинке Попову шестьсот рублей, и на те деньги промышленник снарядил девять покрученников.

Вернувшись из Москвы, куда был послан с мягкой рухлядью, Попов писал Францбекову.

«Ходил я, холоп твой, на твою государеву службу в новую Даурскую землю с приказным человеком с Ярофеем Хабаровым своими девятью человеки, на своих проторах, должаячись великими долгами, хлебными запасами и оружием, и порохом, и свинцом, и всякими служилыми заводы... И, будучи на тех твоих государевых службах, я, холоп твой, на боях в кукле и в шишаке и в наручнях бился не раз...

Хабаров хорошо знал Дружинку Попова. Этот был отважный промышленник, с ним воевал обруч, делил хлеб-соль. Именно его, как самого надежного человека, Хабаров послал в Москву с мягкой рухлядью. И хотя Попов не обвинял приказного человека Амурской земли, но в его челобитной скрывались намек и обида.

Дмитрий Францбеков умело использовал отписку Попова. Возражать не имело смысла. «Настанет время, спущу и я когти,— утешил себя Хабаров.— Я свое взыщу».

— Вот и выходит, через тебя, Ярофей Павлович, в опале хожу, бедностью маюсь. Как был уговор, так и посчитаться надобно.

— Я верну мои долги и с прибылью,— жестко ответил Хабаров.

— Не прибыль дорога, а слово!

— Мне можешь верить, государь мой. Я своему слову хозяин, но придется повременить. У меня денег нет.

— И то знаю. Долги внесешь, когда правителем ленской землицы станешь. Подожду, как и прежде. Я тебе верю, взлетишь, Ерофей Павлович!

— Хотелось бы, да крылья обрезаны. Попробую!

Но взлететь добытчику и прибыльщику больше не удалось.

## 11

Илейка Жук очнулся, когда Степан Поляков вынимал меч из его онемевшей руки. Илейка долго смотрел на Степана серьезным, затуманенным взглядом, пытался восстановить в памяти все, что было, но память была туга и неподатлива. По телу пробежала дрожь. Он неловко ворохнулся, почуял огневую боль в плече и застонал. С усилием приподнял руку, дотянул ее до лба, пощупал свалевшийся в загустелой крови чуб.

Степан Поляков обрадованно ахнул и впился в мертвенно-бледное, слегка синеватое лицо.

— Илько, жив ли?

— Будто жив.

— Думали — отходил, поминать хотели.

— Поспешили... А Чеботка?

— Поминай как звали.

— Ох, жжет...

Кырса оставил весло, радостно засуетился, замигал часто веками, зацокал языком. Кровь струйкой сочилась по его лицу, но он будто не замечал ее.

— Илько, ты хороший... Крепкий... Все теперь ладно.

Илейку подняли. На плече, возле шеи, сочилась кровью рубленая рана.

— Кырса, утри кровь с лица! Степанка, что там у меня?

— Счастье твое: наосклизь взяло, а то не ходить бы тебе, — сказал Поляков.

— Голова цела?

— Будто цела, только чуб кровью подтек.

— Ну не беда — зарастет!

Женьшенщик сузил свои раскосые глаза и закивал обрадованно головой. Илейка остановил на нем горячий взгляд, облизал зачерствелые губы.

— Ну, колдун, сгодился и ты... Прежде бахвалился, теперь залечивай.

— Я верну тебе силы. Я могу!

Женьшенщик достал из-под фартука берестяную коробочку, набрал на палец золотистой мази, плотно замазал кровоточащую рану и придавил ладонью. Степан Поляков оторвал подол своей рубахи, помог перевязать. Боль сразу же пошла на убыль. Илейка повеселел.

— Спасибо, колдун!

— Два солнца пройдет — будешь здоров.

— Не гнись, соколы, впереди еще много дела! — ободрял Илейка.

— Чуем! Мы делу рады.

Мимо скользила земля, и над ней синело далекое ясное и холодное небо.

Вдоль Амура горбатились горы, темнела тайга, в осеннем цвету розовели в падах травы.

Казачи всматривались в голубую даль. Два огромных кряжа, как два заклятых врага, встали друг против друга и выпятили груди, готовые броситься в смертельную схватку. У их подножия бежал, извиваясь, Амур, суетливо метался от одного кряжа-богатыря к другому, лизал каменные откосы, взбивал жемчужную пену, выл, стонал и заливался, будто умоляя кончить вражду. Кряжи стали расходиться в стороны. А он, довольный, журча и плескаясь, быстро катил свои воды в долину, разнося весть о примирении.

Казачи плыли мимо пестрых каменных глыб. На одном из утесов заметили они четыре гранитных камня с красными надписями. Илейка весело оглянул согласников.

— Была печаль, теперь миновала. По приметам видеть — жилые места близко. Заводи песню, Степанка!

Поляков сел, откинул назад голову и звучным голосом запел песню:

Эх, мы не воры, не разбойники,  
Мы удалы́, добры молодцы.

Илейка подхватил, песня ударилась о крутые берега, зазвенела, заплакала.

— Подтягивай, не горюй!

Кырса стоял на корме, взмахивал в лад песне кормовой гребью, счастливо беззвучно смеялся. Плясал на шальной быстрине струг.

— Колдун, чего нос повесил?

Женьшенщик любовно посмотрел в открытые глаза Илейки.

— Я быть знаю. Хотите слушать, послушайте!

— Сказывай, колдун!

— Давно это было. На том месте, где лежат камни, стояла фанза. Жил в ней добрый, ласковый и мудрый Ула Джан. Он хотел сделать всех людей счастливыми, утешал плачущих, лечил больных, помогал бедным. Было ему сто лет, но годы его не старили.

Богач Дзян Лунг позарился на сокровища и славу Ула Джана. Нарядился он в рубище, поранил ноги и нищим явился в фанзу Ула Джана. Тот приветливо встретил его, дал лекарство, накормил и на ночь приютил у себя. Когда Ула Джан заснул, Дзян Лунг поразил его ножом в самое сердце. Открыл Дзян Лунг ящик с сокровищами, но тут же и отскочил от него. В ящике ворошились змеи. Вдруг фанза озарилась ярким светом, явился сам божественный будда. «Ты глупец, Дзян Лунг,— сказал он.— Богатство Ула Джана было в нем самом, в его желаниях. Его богатство — стремление к добрым делам. В наказание за жадность возьми труп Ула Джана, на плечах снеси его в недоступное место и там зарой. Память о нем будет жить, пока не умрет мир. Пока не умрет мир, будет у людей стремление к правде. Как только зароешь тело, распадешься сам на куски, и каждый кусок твой превратится в красного волка, чтобы все видели кровь убитого и боялись тебя.

Когда ушел божественный будда, фанза обратилась в камни, и на них появились кровавые надписи. Они рассказывают о злодеяниях Дзян Лунга, о славных делах Ула Джана. После того как Дзян Лунг взял на спину труп, раскрылась рана, засочилась кровь Ула Джана. Каждая капля входила глубоко в землю, и на том месте вырастал женьшень. Долго бродил Дзян Лунг, ища недоступное место. Много раз садился он отдохнуть, и там, где сидел он, выросла трава ула-цао<sup>1</sup>.

До самой старости Дзян Лунг ходил, пока не нашел недоступное для человека место. Падь, где зарыл он труп Ула Джана, превратилась в сад. Много там выросло

---

<sup>1</sup> Ула-цао — род ситовников. В сухом виде эту траву китайцы кладут зимою в башмаки для мягкости и тепла.

женьшеня! Крыса ли, мышь ли пробежит через тот сад,— они превращаются в соболей. А Дзян Лунг распался на куски, и каждый кусок превратился в красного волка. Много лет люди ищут долину счастья, но не могут найти и не найдут, пока живут в мире жадность и трусость!

Молча слушали казаки рассказ женьшенщика. Илейка сидел, задумчиво глядя рассказчику в лицо, потом встряхнул чубом.

— Ладно сказываешь, да не о том надо. Лучше сказал бы, где то счастливое место.

— Никто о том не знает, не знаю и я. Искать надо!

Горы разошлись и растаяли в дымчатой синеве. Слились с водой низкие берега Амура, закурчавились впереди поросшие пестрым лозняком острова, зажелтели опаленные морозом листья. Потянуло сыростью, соленым запахом. Почуялась близость моря. К ночи навалился туман, сразу стало темно. Ватажка заночевала в камышах.

К утру подул свежий ветер, развеял туманную завесу. Яркое солнце озарило путь. Кырса сшил из звериных шкур парус и приладил к шесту, ветер подхватил струг и вынес в море.

Спустя два дня в румянном свете обозначился остров. На нем белели невиданные палаты. Лучился над ними яркий, искристый свет.

— Гляди, соколы, в оба! — закричал Илейка.— Ох, радость!

— Может, поблазнило?

— Глядите!

Бесновалось море, змеилась на волнах пена. Струг взбегал на седые гребни, вздрагивал, останавливался как бы в раздумье и отчаянно бросался на дно разверзающихся бездн. Над зыбучими просторами носились чайки, поворачивали головы, удивленно глядели черными, в красных ободках, глазами на прыгающий с волны на волну струг, на мокрых, неотрывно глядящих вперед людей, ударялись белыми грудками о воду и с криком снова взлетали ввысь.

Но когда солнце упало в море, палаты растаяли как сон. Казаки протирали глаза, всматривались в надвигающийся остров, и все мрачнее и беспокойнее становились их лица. Сбылось все то, чего они добивались, на что надеялись. Неясные мечты стали явью, а явь была трудна и безрадостна.



Вдоль острова тянулись высокие горы, обрывались круто у самой воды. Скалистые склоны были покрыты еловыми и пихтовыми зарослями, в облака уходили вершины в снеговой парче. Из падей тянулись клочковатые туманы.

Согласники молча глядели друг на друга. Илейка положил руки на костлявые колени, опустил голову и долго сидел в раздумье, будто силясь что-то вспомнить. Пусто сделалось у него на душе, но он подавил печаль, — на лицо, окропленное солеными брызгами моря, набежала вдруг суровая отвага.

— Думайте, соколы, что будем делать?

Закрыв лицо руками, Степан Поляков стонущим голосом сказал:

— Эх, от беды убежали, да в яму попали! Темно у меня на сердце, не стало веры.

Кырса подрулил струг за скалу и, устало бросив весло, вытер набежавшую от ветра слезу.

— Правда твоя, Степанка... Помирать надо! Совсем помирать!

— А может, спробуем?

— Зря пробовать нечего — дичь и глухота кругом.

Женьшенщик сидел молча. Он сморщился, пожелтел, глаза его не блестели радостью и надеждой, как прежде, а выражали только грусть и сожаление.

— Колдун, что надумал? Сказывай!

Женьшенщик втянул голову в плечи и закрыл глаза, потом не торопясь вытащил из-за широкого кожаного пояса трубку, достал из мешочка скляночку с фитилем, янтарный шарик и высек огонь.

— Вот трубка счастья. Кто покурит, тому станет легко, и горе забудется. Во сне придет к нему счастье. А будет счастье, будет и жизнь...

Степан Поляков зло перебил его:

— Зачем обманываешь! Уснешь и проснешься — и снова в беде. Я не хочу твоего счастья.

Илейка Жук молчал. В его жизни наступила пора, когда надо было оглянуться на пройденный путь и проследить неровные его извивы.

Сидя на струге, он вспомнил, как ходил к воеводе хлопотать за Вассушку, вспомнил и ее. Он попытался восстановить в памяти лицо Вассушки таким, каким видел его, явившись после порки. Вассушка — красивая девушка.

Илейка хорошо ее знал, она выросла на его глазах, он любил ее. Но было и другое лицо, победно улыбающееся, отважное. То была Юргала. Зазвучали в памяти ее слова: «Только смелые и сильные найдут счастье».

Силы вернулись к нему. Илейка встал.

— Дедун правду казал, сплеховали мы, да сломанного уж не вернешь. Давайте ломить дальше. Пятить некуда. Ну, полно никнуть! Кто за мной?

Понурия головы сидели его согласники. Степан Поляков очнулся от тяжелых дум и решительно встал.

— Терять больше нечего. Будем жить, пока душа в теле держится. Веди, Илейка!

— Пойду и я,— глубоко вздохнул Кырса.— Все ладно.

Женьшенщик посидел в раздумье, загадочно улыбнулся и выкинул трубку за борт.

— Я старый искатель, я тоже хочу знать, что там за горами. И я пойду.

— Ну, айда! В добрый путь!

Надела ватажка котомки, сошла со струга на неприветливую, каменистую землю и побрела кверху, в горы. Шли молча, взбираясь с крутизны на крутизну, согретые надеждой и единым порывом. Они теперь твердо знали, что назад возврата нет, что это их земля, добытая тяжким трудом. В небе тихо зажигались звезды. Внизу бурлило море, взбивало пышную пену и рассыпалось на мелкие седые гребни в прибрежных бурунах.

## 12

На всем обратном длинном пути тревожные думы не покидали Ерофея Хабарова. И чем больше землепроходец углублялся в Сибирь, тем смутнее становилось у него на душе. Федор Пущин и стрельцы делали вид, что едут по своей надобности, были учтивы, но Хабаров знал, чего стоит учтивость государевых людей, не давал поводов для подозрений. Постепенно между ними наладилась дружественные отношения. Хабаров не раз выручал своих малоопытных в сибирских делах охранителей.

К зиме едва добрались до Тюмени. Здесь надолго задержались. Зимой, когда мороз сковывал реки, а снег густо покрывал безлюдные берега, на которых нельзя

было найти ни лошадей, ни проводников, ни корма, редко кто отваживался пускаться в путь. На сотни верст замирала в это время всякая жизнь, кочевники, обитавшие летом возле рек, снимали юрты и уходили в тайгу, где им легче было найти пропитание и защиту от холода.

Вынужденная задержка тяготила Хабарова. Он думал о своем будущем, о земле на берегах Амура, которая досталась ему такой дорогой ценой. Он сросся с дальним краем, прикипел к нему, хотя память хранила и тяжелые воспоминания. Не так ли бывает и со многими из нас. Все тяжкое забывается, смывается временем, а остается только самое светлое и яркое, что согревало душу, что наполняло жизнь большим смыслом. Нечто подобное переживал и Хабаров, хотя жизнь как будто нарочно напоминала ему о тяготах и неудачах.

В Тюмени, зайдя однажды на гостинный двор, он повстречал человека, олицетворявшего собою все самое печальное и обидное в Даурском походе.

— Удались от зла и сотвори благо! — завопил человек, бросаясь перед Хабаровым на колени.

— Встань и не скоморошничай! Кто таков и какое у тебя дело?

Человек встал: лицо в шрамах, на горле багровый рубец. Редкая рыжая бороденка не могла скрыть его уродства, глаза слезились, человек едва стоял.

— Кажи! Назови обидчика!

— Нет у меня обидчика. Моя жизнь, государь, затейлива. Я по дворам побираюсь, ищущу защиты и милости.

Когда человек назвал себя, Хабаров вспомнил: то был самый смелый и отважный казак Евтюшка Даурский, ходивший с Дружинкой Поповым с соболиной казной в Москву. Это они достоверно рассказали царю о Даурской земле, об Амуре, о богдойцах.

Евтюшка не помнил своей фамилии, а может быть, и нарочно не хотел помнить, был беглым и назвался именем вновь открытой земли. Как и многие казаки, он полюбил Амурскую землю, хотя ему и не удалось туда вернуться.

Скорбная повесть Евтюшки Даурского ошеломила Хабарова. Не у одного Евтюшки горькая судьбина. Его судьба — участь многих согласников. Он вспомнил Илейку Жука, его названного отца Томилу Довбача, Сте-

пана Полякова и Чеботку Базана. Да, это были его соратники, отважные и честные казаки. Великую цену заплатили они за открытую ими землю — подарок родине. И он, занятый своими прибытками, не сумел понять и оценить своих товарищей.

Глядя на изувеченного соотечественника, желая хоть как-то загладить перед ним свою вину и успокоить совесть, Ерофей Павлович принял в судьбе Евтюшки самое близкое и горячее участие.

Гордость Хабарова, как сына отечества, была оскорблена неуважением властей к участникам великого дела, а еще больше он казнил за это неуважение себя.

— Евтюшка, друг, почему же ты царю-батюшке не пожалился? Царь порадел бы твоей беде.

— Всюду хаживал, правды нет.

— Я найду правду, Евтюшка. Идем к воеводе!

— Идем, коли что... Может, с тобой и найду.

В съезжей избе Евтюшка заупрямился: остался ждать в сенях, а Хабаров пошел в комнату воеводы.

Тюменский воевода Андрей Козловский принял даурца учтиво и хлебосольно. Он видел его в горе и в радости. Слух о том, что сам царь пожаловал Хабарову звание сына боярского и доверил управлять приленскими землями, дошел и до Тюмени. В глазах воеводы землепроходец был не только желанным, но и необходимым гостем. Царский человек мог пригодиться в беспоконной воеводской должности. На него можно было при случае опереться.

— Поздорову ли живешь воевода, Ондрей Степанович?

— Живу, знатный человек, как бог велит — по совести и чину. Наслышан о твоих скорбях и радостях. Велик ты нынче!

— Правда свое возьмет, Ондрей Степанович, а добрые дела возвеличат.

— Бог правду видит, да не скоро скажет... О чем твоя забота?

— Не о себе печалуюсь, государь мой. На гостином дворе повстречался мне Евтюшка Даурский, жалобится, будто бы всеми изобижен и кормиться ему нечем. Может, порадеешь сирому и увечному воину?

— Знаю печальника... Евтюшка немощен душою и телом, дже много бражничает.

— Оттого и бражничают, что правды не находят. Государь мой, порадей за него перед царем-батюшкой. Уважь богово дело.

— Ин быть по-твоему, уважу! Где тот Аника-воин?

— В сенцах, томит его оторопь.

Козловский позвал дьяка и повелел ему написать челобитье на имя царя.

Дьяк позвал Евтюшку в свою келейку и заставил рассказать о своей жизни и своей беде. Он еле успевал водить гусиным пером, писал слово в слово. А когда челобитная — жизнеописание Евтюшки Даурского — была окончена, подмигнул жалобщику и пригласил его в комнату воеводы.

— А ну, чтя! — повелел Козловский.

Дьяк, набрав в грудь воздуха, частя, начал читать:

— «В 159 году написал его Евтюшку воевода Дмитрией Андреев сын Францбеков в казачью службу в Якуцком остроге, и послал его в Даурскую землю с приказным человеком с Третьяком Чечегиным, для ясашого сбора, с пожалованными вместе служилыми людми, а он де Евтюшка не пожалован, подымался на своих проторях, подъем ему стал рублей с пятьдесят и болши, а служил де он в Даурской земле, и в Жучерской, и в Гилянской, и в Натцкой, и в розных землях с приказным человеком с Ерофеем Павловым сыном Хабаровым и с иными приказными людми, и на многих де полевых боях и на приступех был, и бился с твоими великого государя неприятели воинскими людми, и в осаде сидели, и из осады на вылазку выходили и голодную томною смертью помирали, и на тех де боях языков хватали, и многих разных земель князцов в аманаты имали, и тебе великому государю ясак с них собирали, и как де он Евтюшка служил тебе великому государю, царю и великому князю Алексею Михайловичю, всея Великие и Малые и Белые Руси самодержцу, и тебе великому государю в Гилянцкой земле, и у него де Евтюшки пробил гилянцкие люди на бою из лука горло навывлет, да правую руку пробил ж, и за те их Евтюшкины с товарищи службы, за кровь и за раны и за голодное терпение и за осадное сидение, послано твое великого государя жалованье, золотыс, с Дмитрием Зиновьевым, и теми золотыми они пожалованы в Жучерской земле, и как де он Дмитрией Зиновьев приехал с твоим великого государя

жалованьем, золотыми, и твою великого государя похвальную грамоту вычитал, и словом он де Дмитрей твою великого государя неизреченную милость сказывал. А служил де он, Евтюшка, с приходу и до отпуску, с пожалованными вместе, а послан он к Москве с твоею великого государя соболиною казною, с тою твоею великого государя соболиною казною, идучи к Москве, заморозу, голод и нужу терпели, с голоду помирали, сосну дерево и обутки с ног съели, и с той нужи померло товарищов его Евтюшкиных сорок три человека, потому де их замороз взял, статченка и животишка свои метали в огонь и в воду, а твою великого государя казну на головах несли, и как де он, Евтюшка, с тою твоею соболиною казною к Москве приехал, бить челом тебе великому государю, за скорбью, не успел, от тех воинских ран обнищал, потому что де он служил тебе великому государю без твоего денежного и хлебного жалованья и толко де бил челом он об отпуске в Сибирские города, и пожалован, даны ему Евтюшке под него и под жену подводы и подорожная, и на тех де указных подводах ехал он Евтюшка до Тюмени, и на Тюмени он, Евтюшка, заскорбел<sup>1</sup> и в прошлом де году бил челом по Тюменскому городу, за свои службы и за раны, чтоб ты, великий государь, повелел пожаловать, что ты, великий государь, укажешь. Царь-государь, смилуйся, пожалуй!»

— А ну подойди поближе! — приказал Козловский Евтюшке. Тот несмело отошел от порога и затоптался, рубцы страшно обнажились на его лице и шее. Вид старого воина растрогал воеводу.

— Востер ты, Евтюшка! Складно рассказал... Коли б знал, что таков...

Ерофей Хабаров, довольный, поспешил ободрить Даурского:

— Спасибо тебе за службу верную... Добрый ты казак, Евтюшка... Буду помнить... Коли что, приезжай на Лену, будем землю пахать.

Евтюшка Даурский скреб свою лохматую голову и чувствовал, как слезы подступают ему на глаза. Он был благодарен дяку, который сумел жалобными словами растопить его сердце. Ему стало жалко себя, свою мно-

<sup>1</sup> Заскорбел — старинное слово «заболел».

готрудную ратную жизнь. Евтюшка отвык от земли, знал, что ему никогда не быть пахарем.

— Спасибо вам, люди добрые! Спасибо!

Образ Евтюшки Даурского крепко запечатлелся в памяти Хабарова, и он не раз вспоминал его на пути из Москвы на Лену. Это был выносливый, доброго нрава русский человек. Он как бы вбирал судьбы тех, кто был в Даурском походе.

Дорога — Тобольск, Нарым, Кетский и Маковский остроги, которой пошел Хабаров и его спутники, когда реки очистились от льда, давала обильную пищу для воспоминаний, связанных с такими людьми, как Евтюшка Даурский.

Берега Иртыша видели казачьи струги Ермака. Здесь, на этой широкой и спокойной реке, проявилась удаль и слава русских землепроходцев. Коварный властитель хан Кучум, мечтавший открыть Сибирь западным иноземцам через северные реки, встретившись с казаками Ермака, вынужден был отказаться от своего мстительного плана. Ермак, погубив себя в схватке с сибирцами, навсегда похоронил замыслы Кучума и тем снискал благодарность потомков. Достойным памятником человеку, отдавшему жизнь ради Руси, стал город Тобольск. Этот город поднял в душе Хабарова бурю чувств, прилив сыновней любви к Сибири, к родине.

Сначала Хабаров увидел белые облака вдалеке и среди них нечто сказочное: белые строения на высоком мысу, над кручей. Потом, по мере того как струг приближался, строения становились предметнее. Можно было видеть белую стену с башнями и бойницами, окружавшую церкви и дома. Город как бы поднимался над землей и плыл навстречу.

Путники глядели на чудо и не могли отвести глаз. Перед ними был самый главный и самый большой город в Сибири, столица всех земель, начинавшихся от Урала и уходивших за Енисейск, за Якутск, до берегов Амура. Это был единственный город в России, принимавший послов наравне с Москвою. Через этот сибирский город ехали на восток послы и купцы. Его не могли миновать путешественники и соглядатаи. Отсюда можно было попасть в Индию и Китай.

Радовали вкусом и фантазией кружевные карнизы, башни и теремки, оконца, украшенные резными налич-

никами. На крышах красовались коньки, сделанные умельцами-плотниками, а над всеми причудливыми строениями как бы парил собор — первое сооружение из камня в Сибири.

Дома прятались в гущине облепихи, черемухи и берез. Пахло пылью и молоком. Кипение жизни захватывало всех, кто попадал в этот сибирский город. Радовался и Хабаров. Здесь каждое строение напоминало ему о величии русского духа. Однако недолго пришлось землепроходцу любоваться городом, переживать счастливые чувства.

Здесь, в сибирской столице, настигли его печальные вести. Они наполнили сердце болью и новыми воспоминаниями.

Онуфрий Степанов, назначенный Зиновьевым вместо Ерофея Хабарова, погиб в неравных боях с маньчжурами. Служилые люди разбежались, а многие сложили свои головы на берегах широкого Амура. От маньчжурской пули в одной из схваток погиб Артемий Петриловский.

Племянник причинил Хабарову немало зла, добиваясь выгоды и выдвигая, однако теперь, после того что довелось ему пережить, зло Петриловского казалось не таким сильным и обидным. Особенно не ладил с племянником Никифор Хабаров, человек доброго сердца и щедрой души. Свары родичей теперь казались Хабарову мелкими и ненужными.

Вторая весть была не менее печальной. Тренька Ермолин, Васка Панфилов, Ивашка Шипунов, Власка Иванов и Томилко Васильев, посланные к Богдойскому царю, были коварно убиты возле устья Шингала маньчжурами, а их вещи поделены убийцами. Казаки Онуфрия Степанова, приплыв к страшному месту, нашли только несколько пряжек от поясов, котел и нож да зипун, принадлежавшие посланнику.

Дючерская женка, свидетельница злодеяния маньчжур, поведала казакам печальную быль. Но горше всего было сознавать, что Амурский край, стоивший невероятных трудов и крови, оказался беззащитным и безлюдным. В этом Хабаров чувствовал и свою вину. Надо было строить крепости и острожки, заселять их охочими людьми, и тогда недруги не посмели бы посягать на амурские земли.



Сознание вины не давало землепроходцу покоя. Он стал мрачным и раздражительным, мало говорил. Федор Пушин не мог понять перемены и боялся за жизнь сына боярского. Он обязан был оберегать жалованного царем человека. Пушин намекнул Хабарову, что скоро конец пути и тогда он волен поступать как пожелает. Однако Хабаров не послушал совета.

В Енисейске он вломился в съезжую избу и потребовал, чтобы воевода Афанасий Пашков отпустил его в Даурию для заведения пашни и городских построек.

Афанасий Пашков, лукавый и медлительный сановник, выслушав озорника, только плечами пожал и посоветовал поменьше пить бражки. Воевода сказал, что не волен отменять указ великого государя и не может принять челобитную на его имя.

...В середине июля Ерофей Хабаров прибыл в Илимск. Здесь его ожидали радостные вести. Якутский воевода Иван Федорович Голенищев-Кутузов, проверявший таможенных голов и целовальников, при встрече сообщил, что проезжий купец из Великого Устюга видел сына Хабарова Андриюшку, едущего на Лену встречаться с отцом. И еще одна весть обрадовала: брат Никифорка сумел заплатить долг окольному Соковнину и поселился возле Киренска.

Как и было велено царем, Голенищев-Кутузов назначил Ерофея Хабарова правителем приленских земель от Усть-Кута до Чечуйского волока. В этом назначении немало лукавства: земли, которыми должен управлять Хабаров, находились в ведении якутского воеводства. Милость царя вскоре обернулась немилостью, и Хабаров почувствовал ее бремя. А сейчас, слушая Голенищева-Кутузова, он был на седьмом небе. Он то плакал, то смеялся, то благодарил, то огорчался за потерянное в пути время. Ему хотелось поскорее попасть в свое родное гнездо к устью Киренги, где теперь жил его брат Никифор. Это был хотя и легкомысленный, но предприимчивый и верный человек. Он, склонный к аферам и к женщинам, выручил его перед Даурским походом, остался верен и тогда, когда Хабаров оказался в опале. На него возлагал даурский атаман много надежд.

Известие о сыне всколыхнуло все чувства, напомнило о днях молодости, о жене, которая не дождалась своего кормильца. Она умерла, подарив ему сына. Она жила

ожиданиями и осталась ему верна до конца своих дней. Острое чувство тоски сжало сердце.

Почему так случилось? Кто виновен? Напрасно Хабаров терзал себя, чтобы успокоить совесть. Он один виноват во всем, но его ли вина, что пришлось переменить орало на меч? Видит бог, что совесть чиста. Если бы не злая воля воеводы Головина, он пахал бы землю и добывал соль. А Даурский поход не бесславная страница в его жизни. Это будущее. Поймет ли, оценит ли Андрюшка его жизнь, его дела? Отец потрудился неплохо, хотя и не завершил начатое дело. Найдет ли он у сына понимание дела, которому отдал лучшие годы жизни, пожертвовал семейным счастьем?

Мысли бушевали в его голове. Он почти не слушал то, что говорил ему Голенищев-Кутузов.

— От меня тебе, сын боярский, ни в чем утеснения не будет. Говорят, ты дюже горяч, любишь свары заводить, на месте сидеть не можешь.

— Государь мой, зря прежде времени сокрушаешься. Поживем — увидим!

— Свой сухарь сытнее чужих пирогов. Сиди, где посажен, а не где хочется.

Воевода, прочитав наказную память царя, намекал на то, что Хабаров хотя и пожалован, но не прощен, что его судьбой он, воевода, волен распорядиться.

Федор Пущин, выполнив поручение, остался со стрельцами в Илимске. Прощаясь, стрельцы плакали. За долгий путь они привыкли к Хабарову. Он не раз выручал их, добывая лошадей, лодки и харчи. Расставаясь с таким человеком, они чувствовали себя беспомощными сиротами. Что ждет их впереди? Каква будет служба?

— Не забывай нас, добрый человек,— просил стрелец с бородавкой на носу.— Не оставь в беде.

— Спасибо и вам, служилые люди, за добро и защиту. Коли что, прошу к моему шалашу, всем места хватит.

— Будем помнить тебя, добрый человек. Дай бог тебе здоровья!

Прослезился и Федор Пущин. Ведь не по своей воле он провожал землепроходца в Сибирь. Теперь ему предстояло жить в далекой стороне, и кто знает, где сведет их судьба. Не они, а он, этот опальный добытчик и при-

большик, привел их в страну, которую любил больше всего на свете. И он оказался прав, этот опальный. Сибирь понравилась Федору Пушину. Здесь он мог расправить свои крылья.

...Через несколько дней небольшой плот причалил возле знакомой усадьбы на берегу Лены у Киренска. Первым Хабарова увидел Андриюшка. Он подбежал к самой воде, когда тот деловито привязывал плот за корягу.

— Никак мой батя?

Ерофей Хабаров разогнулся, и ноги у него задрожали. Перед ним стоял юноша доброго роста, с доверчивыми голубыми глазами и упрямым подбородком. Да, это его сын, его кровиночка. О, как долго он его не видел! Как он вырос, возмужал! В сознании на миг отпечаталась изба на берегу реки, черная изба, дым и Андриюшка на полатах, исходящий криком... И вот теперь его надежда, его помощник в делах стоит возле него. Задыхаясь от волнения, от переполнивших чувств, Хабаров привлек сына к себе.

— Не чаял, что доведетца... Не чаял...— говорил он случайные слова и все еще не верил своему счастью.

— Мы давно тебя ждем, батя... Все лето ждем, все жданки поели.

Никифор Хабаров встретил брата достойно: он усадил его в красный угол, поставил на стол всякую снедь и жбан браги. Никифор любил брата. Ему он казался человеком особой породы и великого ума.

— Я знал, что ты из воды сухим выйдешь,— говорил Никифор, смеясь, когда Ерофей рассказал о своих приключениях в Москве и в пути. Особенно пришелся ему по душе рассказ о встрече с государем, о царской милости.

— Пей-гуляй! — шумел Никифор.— Теперь жить будем и недругов не забудем. Казацкому роду нет переводу.

...Ерофей Хабаров поселился с сыном на берегу Лены, на бывшей своей усадьбе в добротном бревенчатом доме, а Никифор построил себе избу вблизи речки, где стояла мельница.

Ерофей Хабаров отказался от хлебного жалованья

в пользу государя за снаряжение, взятое из казны, а сам занялся хлебопашеством. Это был редкий случай: боярские дети пашней не занимались. Но Хабаров величал себя мужиком и считал, что это звание выше боярского. На гостином дворе купцы потешались над ним и говорили, что боярская шуба оказалась не по плечу заносчивому землепроходцу, мелкий служивый люд недоумевал, удивлялся и осуждал чудачество. Воевода Голенищев-Кутузов довольно потирал руки, ему нужны были хлебные сидячие люди. Таких людей оказалось немного.

Воевода знал, что Хабаров слов на ветер не бросает. Это опытный добытчик и прибыльщик. Землепашца знала вся Лена. Он мог бы и теперь поставить дело на широкую ногу, но его дух был отравлен.

Изба с резным крыльцом стояла на угодливом месте: прямо открывалась Лена, на том берегу густой стеной поднимались леса. Угрюмая гора справа как бы сторожила обширную долину. Сразу же за избой начиналась пашня. На ней хлопотали покрученники, нанятые на деньги Никифорки. Труд пахарей успокаивал, но мысль, что он пленник и должник царя, не давала покоя. Тень царя настигала его всюду, куда бы он ни пришел. И никуда от этой тени ему не уйти.

Дети боярские получали денежный, хлебный и соляной оклад, намного превышающий оклады казаков, десятников, пятидесятников и сотников. Как управитель приленских поселений, он должен был устраивать на пашни гулящих людей, обеспечивать посев и уборку урожая, собирать казенный хлеб и охранять, добиваться, чтобы пашенные люди выполняли натуральные и трудовые повинности. Наблюдать, чтобы мужики пашню пахали против окладу сполна и с пашни никуда не бегали и пашен в пусте не покидали, смотреть, чтобы они зернью и в карты не играли, обеспечить, чтобы они жили между собой в любви и бессорно и друг друга не обижали, не допускать воровских бунтов, кругов, драк и убийств.

Хабаров имел право ловить зачинщиков и участников воровских бунтов и кругов, драк и убийств и, сквав, отправлять в канцелярию воеводы. Он обязан разбирать челобитные, допрашивать тяжущиеся стороны и посылать отписки воеводе на его суд. У держателей и продавщиков вина и табака он мог отбирать запретные

товары в казну, разорять и жечь винокуренные курени, отбирать у нарушителей все имущество. Управитель мог чинить крестьянам наказанье, смотря по их винам, бить батогами нещадно. Его полномочия как представителя государства были обширны. Он имел старост, целовальников, десятских, но его власть могла прерваться в любое время по воле воеводы или царя. Его ли дело, добытчика и прибыльщика, быть управителем?

Хабаров подолгу стоял на крыльце, любовно смотрел на светлую гладь родной реки, но ему и отсюда мерещились иные берега: величавый Амур, обширные и добрые земли, бойкая торговля с Китаем.

Он все еще был красив, несмотря на груз лет и нелегкую жизнь: волевое лицо, обрамленное черной бородой, разбавленной сединами, резкий и упрямый взгляд, излучающий силу, широкая грудь, могучие руки. Властность характера ощущалась в его облике. Он был рожден для великих свершений и смелых предприятий.

О, если бы знали его недруги, сколько чувств пылало в его сердце, сколько замыслов рождал неутомимый ум! Землепроходец не считал себя побежденным, все новые и новые планы рождались в его голове. А между тем судьба как бы нарочно испытывала его волю и силу: над ним изгалялся Петр Головин, Дмитрий Францбеков закабалил долгами. Даурский поход вместо похвал и доходов принес разорение и оскорбление. Тяжелым бременем лежали на нем долги. А откуда ему брать деньги? Стать на нечестный путь, жить за счет своего ближнего он теперь не мог. Образ Евтюшки Даурского тиранил его совесть. А между тем все, кто соприкасался с властью, радели не своей родине, а своим нажиткам. Ему ли продолжать угождать алчбе и жадности, принесшей так много мук и страданий людям, которые шли за ним, верили ему? Такой путь теперь казался ему негодным.

Амур, как первая любовь, жил в его памяти. И дело теперь было не в корыстолюбии, не о шубах собольих думал землепроходец, как это было прежде, а о пользе родной стране. Весть о гибели Онуфрия Степанова терзала его сердце, ощущение собственной вины теперь не покидало его, и он не мог ничем заглушить это ощущение.

Говорили, что маньчжуры, побив русских казаков, заняли все поселения и острожки на Амуре, однако

вскоре Хабаров узнал, что в Албазине поселился бывший правитель устькутских соляных промыслов Никифор Черниговский. Хабаров знал Черниговского и его красавицу жену. Вступившись за честь жены, Черниговский убил местного воеводу.

Это событие произошло незадолго до возвращения Хабарова из Москвы. Спасаясь от наказания, Черниговский собрал гулящих людей, дошел до Албазина и там объявил, что каждый из охочих людей волен жить так, как пожелает. Однако угроза маньчжурского нападения заставила казаков сплотиться. Черниговский, хорошо разбираясь в ратном деле, укрепил Албазин и организовал оборону русской крепости на Амуре так, что в течение нескольких лет маньчжуры не могли ее взять.

Узнав об этом русском поселении на Амуре, гордо держащем флаг родины, Хабаров не мог совладать с желанием не побывать там. Заняв у купцов деньги, он отправился в Якутск к Голенищеву-Кутузову. Выслушав Хабарова, воевода ответил уклончиво. Как и прежде, он сказал, что не волен отменять указ царя, и, чтобы избавиться от дотошного просителя, посоветовал поехать в Тобольск, к воеводе Годунову, приближенному царя, который волен править по своему высмотру.

Голенищев-Кутузов хитрил: зная, что у Хабарова нет денег, что путь до Тобольска упрямец не осилит, он и дал ему такой совет. Но воевода плохо знал просителя. Поблагодарив за добрый совет, Хабаров договорился с Никифором и твердо решил добиться своей цели. Никифор верил брату, он мог часами слушать его рассказы о хождении к Студеному морю, о Даурском походе. Склонный к аферам, он помог брату добыть деньги на поездку в Тобольск.

В Киренске процветал Троицкий монастырь. В этом монастыре нашли приют десятки гулящих людей. У монастыря было много денег: все, кто становился монахом, обязывался внести свои сбережения и работать бесplatно. Игумену монастыря, человеку предприимчивому и оборотистому, очень нравилась заимка Хабарова, и он не раз заявлял об этом ее владельцу. Никифор хорошо знал своего соседа. Он и посоветовал обыграть игумена: взять у него займы деньги, отдав в заклад пашни и строения, а чтобы не предавать сделку огласке, Ерофей

Хабаров просил игумена объявить, что заимка подарена Троицкому монастырю. Игра стоила свеч.

Через несколько недель Хабаров прибыл в Тобольск. Он похудел, здоровье его резко ухудшилось. Поднимаясь по лестнице в кремль, он часто останавливался и тяжело дышал. Сердце давало перебои.

Войдя к воеводе, подавляя одышку, он сказал:

— Намерен моему великому государю порадовать. Хочу Амурские земли досмотреть и острожки поставить. Там надобны поселения и пашни, нашему государю без меня амурское дело не поднять.

Воевода Годунов посмотрел на челобитчика с упрямом и сожалением. Человек на склоне лет, снискавший славу отважного добытчика и прибыльщика, пожалованный царем, просил, как милости, отпустить его на Амур. Хабаров обещал поднять на свои деньги сто человек. Воевода слушал и не верил в добрые намерения землепроходца. Ему известно, что маньчжуры, погубив Онуфрия Степанова, разорили все русские острожки и утвердились на берегах Амура. Беглый Черниговский не внушал доверия. Став правителем Албазина, он принимал к себе людей всяких чинов и званий, которым было уютно и тесно на Руси. И хотя Алексей Михайлович уважил просьбу Никифора Черниговского и принял Албазин под свое начало, но велел бдительно следить за беглым и для его устрашения держал в Нерчинске сотню стрельцов.

Не вняв просьбе Хабарова и боясь подвоха, Годунов отказал челобитчику, сославшись, как и другие воеводы, на то, что не может нарушить волю государя.

Надо было спешить, пока не замерзли реки. Когда Хабаров добрался до Енисейска с попутчиками, мороз уже сковал Ангару. Только у некоторых порогов река еще рвалась в каменных берегах и морозный пар окутывал реку, скрывая опасные полыньи. Однажды подвода, на которой ехал Хабаров, провалилась в воду. Лошадь и сани оказались подо льдом. Ловкий илимец, хозяин лошади, успел прыгнуть на лед и выручил Хабарова, на котором одежда обледенела.

Больной и обессилевший Хабаров вернулся на свою заимку. Теперь это была уже не его заимка, а Троицкого монастыря. Но нет, еще не все потеряно... Он велел Никифору разбудить Андрея.

— Тебе поспать надобно,— участливо посоветовал Никифор.— Огневица тебя недужит... Вишь, какие страшные у тебя глаза.

— Никифорка, слышь! Чего разиюнился? Эх, ты!

— Так ты же в огневице... Гляди, какой сумной стал.

— Ох ты, пес бородатый! Заплывшие твои глаза, завидушая твоя душа. Я не телом, духом томлюсь... Зови Ондрейку!

Войдя, сын, угадав недоброе, упал на колени у ложа отца и растерянно стал гладить его большую узловатую руку. Никифор все еще надеялся на добрый исход, он искал лечебную траву, разводил в печи огонь и кипятил траву в чугушке.

Глядя на сына воспаленными глазами, Хабаров сетовал и жалобился:

— Ондрейка, голубь мой, не сумел я найти правду и порадеть отчизне нашей. Омрачила хворь мою жизнь. Чую смерть за плечами!

— Батя, что ты? Батя, тебе еще жить да жить!

— Нет больше сил, а надо бы... Вишь, годы мои какие. Не сумел...

— Помолчи, батя, помолчи, родимый. Пусть душа твоя не печалится. Я твое дело справлю.

— Добре сын мой, добре. Я ждал тебя, верил в тебя. Моя беда, был один: сам себе холоп, сам — господин. Одного себя в счет принимал, через то и погубил дело.

— Наше дело вечное, не умрет,— вздохнул Никифор, неся чугунок с настойкой из лекарственных трав и кореньев.— Вот выпей-ка чудо-водицы, полегчает.

Ерофей Павлович почти не видел его. Он поднял ослабевшую руку, перекрестил Андрея и уставился немигающими глазами на утренний свет, пробивающийся сквозь слюдяное оконце.

Никифор засуетился, расстегнул брату ворот рубахи и стал растирать ему грудь. Хабаров очнулся, слегка открыл глаза и вздохнул:

— Поселения... Острожки... Амур...

Хабаров не досказал заветную думу, рука безвольно упала с ложа. Солнечный луч заглянул в слюдяное оконце, чтобы поблагодарить человека за его труды и заботы во славу жизни.



## СОДЕРЖАНИЕ

От автора	3
Часть первая . . . . .	7
Часть вторая . . . . .	117
Часть третья . . . . .	241

*Романенко Даниил Иванович*  
ЕРОФЕЙ ХАБАРОВ. Роман.  
М. «Московский рабочий». 1969.  
352 с. Р<sub>2</sub>

Редактор *В. Степанов*  
Художник *Е. Соловьев*  
Художественный редактор *Н. Игнатьев*  
Технический редактор *М. Похлебкина*

Издательство «Московский рабочий».  
Москва, пр. Владимирова, 6.

Л 49253. Подписано к печати 13/V 1969 г.  
Формат бумаги 84 × 108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Бум. л. 5,5. Печ. л. 18,48. Уч.-изд. л. 18,6.  
Тираж 75 000. Тем. план 1968 г. № 239. Цена 74 коп.  
Зак. 1955.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».  
Москва, Краснопролетарская, 16.